

ФАННИ

▲ Delta of Venus
ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ



Джон Клеланд

Фанни Хилл.

Мемуары женщины

для утех

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бесспорно, в основе каждой книги лежат личные воспоминания автора. Немногие могли бы похвастаться таким богатым жизненным опытом, как у Джона Клеланда (1709 – 1789). Кем только он в свое время не перебивал: ученым и дуэлянтом, ловеласом и путешественником, военным и писателем-порнографом; вкусил терпких прелестей Востока и несравненно более пресной кельтской филологии; служил короне на посту английского консула в Смирне и Восточно-Индийской компании в Бомбее; не понаслышке знал условия труда и жизни журналиста с Граб-стрит и терпел еще большие лишения, преподавая в школе. Но главное – он познал высшее, доступное для смертного, блаженство, став автором бестселлера «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех», увидевшего свет в 1749 году и имевшего фантастический успех. Этот шедевр сентиментальной эротики, который и через двести с лишним лет остается предметом яростных споров между свободомыслящими и пуританами, стал первой попыткой Клеланда воссоздать в литературной форме радости плоти. Редкая откровенность и заразительность романа обеспечили ему мировую славу.

Второй роман Джона Клеланда – «Мемуары сластолюбца» – и по сегодняшний день остается практически неизвестным для знатоков эротической литературы. Он написан рукой зрелого мастера и характеризуется еще большей непринужденностью и отточенностью стиля. Его герой, молодой дворянин Уильям Деламор, сгорает на том же неугасимом огне, что и блудница Фанни, но являет собой более выпуклый и

законченный персонаж. Будучи образованным человеком с развитым вкусом, Клеланд стремился совершенствовать композицию и стиль своих произведений. Это, без сомнения, явилось одним из побудительных мотивов для написания «Мемуаров сластолюбца», которые он создавал, располагая свободным временем и финансовыми ресурсами – благодаря пенсии, пожалованной ему Тайным Советом.

Эта пенсия являлась прямым следствием феноменального успеха «Фанни...». Впервые Британское правительство столь щедро наградило автора откровенно эротического произведения, в то время как издатель и книготорговец Ральф Гриффит, первым осмелившийся выпустить роман, был приговорен за это к позорному столбу.

В высших кругах сомневались относительно того, как поступить с писателем. Бесспорно, джентльмен, получивший образование и воспитание в Вестминстере, сын полковника, не мог быть подвергнут такому же наказанию, как простой издатель. С другой стороны, попустительство могло привести к тому, что Клеланд продолжал бы сочинять подобные произведения, что грозило скандалом при дворе и гневом Церкви. Пришлось Клеланду предстать перед Тайным Советом, где ему задали вопрос: что он хотел сказать своим романом? Можно с уверенностью предположить, что он достойно защищался, объяснив появление книги материальными затруднениями. Члены Тайного Совета усмотрели вопиющую несправедливость в том, что блестящий джентльмен не имеет источника средств к существованию. Приговор явился образчиком редкого по двусмысленности компромисса: Клеланду назначили

приличную пенсию при условии, что он не допустит впредь ничего подобного.

На протяжении многих лет Клеланд исправно соблюдал договор, не позволяя себе братья за что-либо, кроме пьес, поэзии и политических памфлетов. Однако вскоре ему вновь ударило в голову хмельное вино общенациональной славы. Новому роману «Мемуары сластолюбца» предстояло вобрать в себя достоинства «Фанни Хилл» и одновременно явить более высокий художественный уровень, став изящной, исполненной шарма и остроумия, квинтэссенцией порока, в чем легко убедится любой непредубежденный читатель.

Питер Лингэм, доктор философии

Письмо первое

Мадам!

Я берусь за перо и тем даю Вам неопровержимое доказательство того, что Ваши пожелания, как приказы, я принимаю к неукоснительному исполнению. Как бы ни была неблагоприятна задача, я извлеку из памяти и представлю на обозрение ту мою скандальную жизнь, пройдя по ступенькам которой я в конце концов обрела все благодарности, какие только в силах даровать нам любовь, здоровье и счастье; пока еще не увяли цветы моей молодости, пока еще не слишком поздно предаваться неге праздности, которую дают мне свобода и немалое богатство, я хочу добиться понимания, естественно, не презрительного, ибо, будучи брошена жизнью в круговерть фривольных удовольствий, я узнала и поняла людей, их привычки и нравы больше, чем те в несчастном нашем ремесле, кто любое размышление или воспоминание считает своим злейшим врагом, гонит от себя подальше, а то и уничтожает безо всякой жалости.

Я до смерти не люблю долгие предисловия и Вас пощажу, не стану более понапрасну тратить слова на извинения за то, что взору Вашему предстанет безнравственная жизнь моя, о которой я пишу с такой же свободой, с какой некогда жила ею.

Правда! Полнейшая и голая правда – вот что в слове моем, и я не собираюсь изыскивать ухищрения и прикрывать наготу ее кисейным флером, нет, происходившее со мной я буду писать теми же красками, какие в те времена отбирала сама природа, не заботясь о соблюдении так называемых законов приличия, которые никогда не предназначались для проникновения в такую

глубину интимности, как наша. В Вас достаточно здравого смысла, и Вы слишком хорошо знакомы с подлинниками, чтобы позволить себе наперекор собственной натуре жеманно фыркать при виде их отображения. Самые великие из людей, обладатели высочайшего и превосходного вкуса, без стеснения украшают свои апартаменты изображениями обнаженного тела, хотя, поддаваясь обыденным предрассудкам, могут полагать, что такие изображения неприлично вывешивать по стенам лестниц или в гостиных.

Оговорив – раз и навсегда – это, я перехожу сразу к истории своей жизни.

В девичестве меня звали Френсис Хилл. Родилась я в небольшой деревушке близ Ливерпуля, в Ланкшире. Родители мои были чрезвычайно бедны и, верю я благочестиво, чрезвычайно честны.

У батюшки моего тело было изувечено, и он не мог тянуть обычную для жителей наших мест лямку тяжелого труда, – средства к пропитанию, весьма скудные, он добывал плетением сетей. Не намного увеличивали доходы семьи и деньги матушки, которая содержала маленькую дневную школу для девочек нашей округи. У родителей моих было несколько детей, но все они, кроме меня, умерли в младенчестве, мне же природа даровала превосходное здоровье.

К четырнадцати годам я получила обычное для простонародья образование: все оно сводилось к умению читать, точнее – разбирать по складам, царапанию неразборчивых каракулей и немногим навыкам самых обиходных занятий; что до основы моих представлений о добродетели, то ею стала почти полная

неосведомленность о грехе и зле, а также застенчивая робость, свойственная нашему полу в нежную пору жизни, когда необычное больше тревожит и пугает своей новизной, нежели чем бы то ни было еще. Надо сказать, от такого рода страхов часто излечиваются за счет чистоты и целомудрия по мере того, как девушка понемногу перестает видеть в мужчине хищного ловца, готового ее пожрать.

Бедная моя матушка все свое время без остатка делила между заботами об ученицах и немногими домашними хлопотами, заниматься моим воспитанием ей было почти вовсе некогда, к тому же, сама защищенная от всяческого зла ей присущим целомудрием, она и помыслить не могла, что я нуждаюсь в предостережении или защите от чего-либо недоброго.

Мне шел пятнадцатый год, когда на меня обрушилась худшая из бед: я потеряла нежно любимых родителей, их обоих в несколько дней унесла оспа; батюшка умер первым и тем ускорил смерть матушки. В одночасье я стала горемычной сиротой, лишенной друзей и участия. Надо Вам сказать, батюшка мой появился и осел в тех краях недавно и случайно, сам-то он был родом из Кента. Жестокое поветрие, унесшее в могилу родителей, и меня задело своим страшным крылом, но моя болезнь была столь слабой, что я оказалась невредимой и даже – цены чему я в то время не осознавала – нисколько не помеченной оспинами. Не стану описывать состояние горя и скорби, в которое я само собой впала в столь безрадостных обстоятельствах. Малый возраст и присущее ему легкомыслие скоро развеяли мои мысли о невозполнимой утрате. Скажу, что ничто так не помогло мне преодолеть горькую безысходность, как намерение – сразу пришедшее мне на

ум – уехать в Лондон и поступить там в услужение, в чем мне были обещаны всемерное содействие и советы некоей Эстер Дэвис, молодой женщины, приехавшей повидать друзей и собиравшейся, погостив несколько дней, возвращаться в столицу.

По всей деревне не было живой души, кого хоть сколько-нибудь беспокоила моя судьба или мое будущее, так что отговаривать меня от моей затеи было некому; женщина же, которой после смерти моих родителей пришлось приютить меня, не только не отговаривала, а скорее даже подталкивала меня к тому, чтобы затеянное осуществилось. Надо ли удивляться, что вскоре я твердо решила познать обширный мир, отправившись в Лондон, с тем чтобы ОТЫСКАТЬ СВОЕ СЧАСТЬЕ. Между прочим, эта фраза поломала судьбу куда большему числу деревенских искателей приключений, чем помогла кому-нибудь из них устроиться в жизни или преуспеть в ней.

А тут еще меня слегка успокаивала и вдохновляла на совместную поездку Эстер Дэвис, она прямо-таки распаляла мое детское любопытство описаниями всяческого великолепия, которое можно увидеть в Лондоне: гробницы, львы, король, королевское семейство, прекрасные спектакли и оперы, – короче, все те развлечения, к которым получают доступ люди ее круга и любая мелочь в которых могла вскружить мою юную головку.

И еще прибавьте – до сих пор не могу без смеха вспоминать об этом – то невинное восхищение, чуть-чуть приправленное горчинкой зависти, с которым мы, бедные девочки, чье представление о выходных, для церкви, нарядах не поднималось выше прямого платья из грубого

полотна да шерстяной мантильи, созерцали модные атласные платья Эстер, ее чепцы, аляповато украшенные кружевами и цветными лентами, ее шитые серебром туфельки. Такие роскошества, казалось нам, в Лондоне росли прямо на деревьях и вызывали упрямое желание попасть туда и сорвать свою долю.

Путешествие в компании с горожанкой по тем временам было явлением обычным, и Эстер, чтобы решиться взять на себя попечение обо мне во время поездки, хватало уже того, что она сможет всю дорогу в столицу рассказывать мне, как, по ее собственному выражению, «служанки некоторые из деревни и себя и всю родню свою на всю жизнь обеспечили: ЦЕЛОМУДРИЕ блюли и так с хозяевами дела повели, что те на них женились, – стали в каретах ездить, зажили счастливо в свое удовольствие, а иные, говорят, и в герцогини вышли; все от удачи зависит, так почему бы ей и мне, как любой другой какой, не улыбнуться?». Были и другие рассказы, заставлявшие меня всей душой стремиться навстречу многообещающему путешествию, не оглядываясь на место, даром что родное, где меня все больше угнетал переход от тепла заботы к холодной атмосфере благотворительности в доме приютившей меня из жалости женщины, от которой я меньше всего ожидала заботы и участия. Она, однако, была столь добросовестна, что сумела обратить в деньги разную мелочь, оставшуюся у меня после уплаты долгов и расходов на похороны, так что перед отъездом она вручила мне все мое состояние: немного платья и белья в удобном для переноса сундучке, а также восемь гиней и семнадцать шиллингов серебром, уложенных в кошелек с защелкой, – богатство, никогда мною не виданное, я и помыслить не могла, что его можно будет когда-нибудь

растратить. Меня обуяла такая радость при виде столь несметной суммы, что я едва краем уха слушала уйму добрых советов, которые давали мне вместе с деньгами.

Для Эстер и для меня были куплены места в лондонском экипаже. Я опускаю незначительную сцену отъезда, когда я обронила несколько слезинок, в которых смешаны были и печаль и радость. По той же причине незначительности пропускаю все, что случилось со мной в пути, скажем, похотливые взгляды возничего или намерения в отношении меня некоторых пассажиров, которые были пресечены благодаря бдительности моей охранительницы Эстер. Она, надо отдать ей должное, пеклась обо мне по-матерински, переложив в уплату за покровительство на меня все дорожные расходы, которые я несла с величайшей радостью и даже ощущением того, что остаюсь в большом долгу. Она и в самом деле бдительно следила, чтобы с нас не брали лишнего или не обсчитали, вообще все дела вела крайне экономно – порок расточительности был ей чужд.

Летним вечером, довольно поздно, мы добрались-таки до Лондона на своем неспешном, хотя и запряженном шестеркой цугом, экипаже. Пока мы проезжали по огромнейшим улицам к нашему постоялому двору, шум карет, спешка, толпы пешеходов, короче, никогда прежде не виданная картина столичной улицы с ее магазинами и домами сразу же поразила и очаровала меня.

Представьте, однако, весь мой ужас и удивление от удара – абсолютно неожиданного, – который обрушился на меня, едва мы прибыли в гостиницу и получили свой багаж. Кто бы, Вы думаете, нанес его? Эстер Дэвис, моя компаньонка и защитница, которая так трогательно

пеклась обо мне во время путешествия; моя, помню, единственная опора и подруга в этом совершенно незнакомом месте, вдруг стала обращаться со мной с такой холодностью, будто я стала для нее тягостнейшим бременем.

Вместо того чтобы помочь мне продолжением своей опеки и добрыми советами, на что я рассчитывала и в чем как никогда нуждалась, она, очевидно, решила считать себя свободной от всех обязательств в отношении меня, доставив меня в целости и сохранности до конечного пункта нашего путешествия. И, представьте себе, она, полагая свое поведение совершенно естественным и нормальным, принялась обнимать меня на прощание, я же была настолько потрясена, настолько поражена, что слова не могла вымолвить о том, как надеялась или рассчитывала на ее опыт и знание места, куда она меня завезла.

Я стояла застыв, будто громом пораженная и лишившаяся дара речи, что она, несомненно, приписала всего лишь огорчению от расставания, пока немного не пришла в себя под выплеснувшимся из ее уст, как ушат холодной воды, целым потоком советов: дескать, теперь, когда мы благополучно добрались до Лондона и когда ей нужно возвращаться к себе на место, она советует как можно скорее найти такое же место и мне; что особо беспокоиться и волноваться нечего, поскольку мест в столице больше, чем приходских церквей; что она советует обратиться в контору по найму; что если она прослышит про что-то подходящее, то меня отыщет и даст знать; что мне тем временем нужно снять где-нибудь уголок и сообщить ей свой адрес; что она от души желает мне удачи и надеется, что я всегда буду вести себя достойно и не посрамлю памяти моих

родителей. За сим она удалилась, предоставив меня моему собственному попечению с такой же легкостью, с какой в свое время я была передана под ее покровительство.

Оставшись, таким образом, одинешенька, совершенно потерянная и без единого друга, я вдруг осознала горькую жестокость и реальность того, что могло со стороны показаться сценой расставания в маленькой комнатке постоянного двора, и, едва Эстер, уходя, повернулась ко мне спиной, как охваченная беспросветным горем в чужом и неприветливом месте я разразилась бурным половодьем слез, которые омыли от великой печали мое сердце, хотя я по-прежнему чувствовала себя не в своей тарелке и совершенно не могла представить, что мне делать и как поступить.

В довершение всех бед ко мне пришел слуга и резковато спросил, не нужно ли мне чего? На что я простодушно ответила: «Нет». При этом спросила, не мог бы он сказать, где можно остановиться на ночлег. Слуга ответил, что пойдет и спросит у хозяйки, которая не замедлила явиться и сухо уведомила меня, не находя нужным поинтересоваться о причинах, вызвавших столь явное мое огорчение, что на эту ночь я могу получить постель за шиллинг, тут же, впрочем, она выразила надежду, что у меня, конечно же, имеются в столице друзья (я при этом издала глубокий и безнадежный вздох!) и поутру я смогу сама побеспокоиться о себе.

Уму непостижимо, какими мелочами утешается в самом величайшем огорчении человеческое существо. Стоило мне всего-навсего узнать, что найдется постель, в которой можно будет переночевать, как горести во мне улеглись; сочтя постыдным признаваться хозяйке

постоялого двора в том, что мне совершенно не на кого положиться в городе, я решила с самого утра отправиться в контору по найму, месторасположение которой было обозначено на обороте какой-то баллады, врученной мне Эстер. В конторе я рассчитывала узнать о любом месте, на какое подходила бы такая деревенская девушка, как я, и о том, где на первых порах, пока хватит моих сбережений, можно было бы перебиться с жильем; что до рекомендации, то Эстер частенько уверяла, что я могу в этом всегда на нее положиться, рекомендацию она достать поможет. Как видите, несмотря ни на что, я продолжала надеяться на ее помощь, более того, поразмыслив спокойно, я решила, что в поведении ее не было ничего необычного, что только из-за своего незнания жизни и неопытности я поначалу увидела все в неприглядном свете.

Так что наутро я оделась чисто и опрятно, насколько позволял мне более чем скромный гардероб, оставила свой сундучок, поручив его заботам хозяйки, и, уже не испытывая затруднений и страхов, какие, казалось бы, должны обуревать деревенскую девчонку, которой едва минуло пятнадцать лет и для которой любая магазинная вывеска была притягательной ловушкой, я храбро отправилась на поиски желанной конторы по найму.

Содержала контору пожилая женщина, которая сидела за стойкой, положив перед собой большую книгу для записей, ведшихся в идеальном порядке, и несколько свитков, где были указаны адреса работодателей, являвшихся клиентами конторы.

Я приблизилась к этой важной особе, не подымая глаз и не замечая вокруг себя людей, пришедших сюда с

той же целью, что и я, сделала глубокий реверанс и, запинаясь, изложила ей свое дело.

Выслушав меня и с одного взгляда поняв по моей фигуре, что я из себя представляю, мадам с важностью и надменностью какого-нибудь министра, не удостоивая ответом, потребовала уплатить ей предварительно шиллинг, получив каковой сообщила, что места для женщин нынче чрезвычайно редки, а мне будет еще труднее устроиться, так как, судя по хрупкости, для тяжелых работ я не гожусь; тут же, однако, она соизволила прибавить, что поищет в своей книге кое-что для меня, так что мне лучше не уходить, а подождать в сторонке, пока она уладит дела с несколькими клиентами.

Я отошла и встала чуть поодаль, буквально обмерев от ее слов, в которых с убийственной определенностью была обозначена самая безрадостная для меня перспектива.

Немного оттаяв и осмелев, желая хоть как-то отвлечься от тяжких дум своих, я приподняла голову и стала оглядывать помещение, как вдруг встретилась глазами с леди (ибо так нарекло ее совершеннейшее мое простодушие), которая сидела в углу; на ней была бархатная мантилья (заметьте: в разгар лета), капор свой она сняла, пухлая, как перина, краснолицая дама лет, по крайней мере, пятидесяти.

Смотрела она так, будто собиралась сожрать меня глазами, ощупывая меня взглядом с головы до пят, нимало не беспокоясь о том, что столь пристальное рассматривание конфузит меня до того, что я стала краснеть; для нее же это явилось наилучшей рекомендацией, свидетельством того, что я подхожу для

ее целей. Некоторое время мой облик подвергался строгому обследованию, которое я, со своей стороны, старалась обратить себе на пользу, пытаясь придать гордую посадку голове, вытягивая шею, придавая лицу своему самые приятные выражения. Наконец дама подошла и заговорила со мной тоном величайшей учтивости.

– Ты ищешь работу, милочка?

– Да, благодарю вас (с реверансом до самого пола).

Тут она поведала мне, что решила сама побыть в конторе и подобрать себе служанку; что, по ее мнению, я могу подойти ей при небольшом обучении, которое она мне устроит; что для нее сам облик мой – достаточная рекомендация; что Лондон очень опасное и злонравное место; что, надеется она, я стану послушна и не свяжусь с дурной компанией – короче, высказала все, что полагалось высказать старой опытной городской сводне и что было совершенно излишне в случае со мной, безыскусной неоперившейся селяночкой, которую к тому же в трепет повергала перспектива оказаться уличной бродяжкой и которая с ликованием готова была принять любое предложение, обещавшее пристанище, тем более что предложение исходило от такой солидной, благородного вида леди, ибо такой рисовалась в моем льстивом воображении моя новая хозяйка. Так я была нанята на работу под самым носом у доброй женщины, державшей контору. Понимающие улыбки и гримасы ее я не могла не заметить, но по наивности решила, что ими она выражает удовлетворение тем, что я так скоро нашла место (лишь позже узнала я, что обе эти СТАРЫЕ КАРГИ понимали друг друга очень хорошо, что контора на деле была рынком, куда *миссис Браун*, моя хозяйка,

частенько наведывалась в поисках свеженького товара, который потом она могла бы предложить своим клиентам, разумеется, к немалой для себя выгоде).

Мадам, однако, была так обрадована своим приобретением, что, опасаясь, как бы ненароком добыча не ускользнула из рук, с помпой доставила меня на извозчике к постоялому двору, сама распорядилась вынести мой сундучок, который был доставлен незамедлительно, без каких бы то ни было расспросов, куда и с кем я уезжаю.

Управившись с этим, мадам велела извозчику везти нас к магазину на подворье собора св. Павла, где купила мне пару перчаток, а затем дала вознице иное направление, назвав свой адрес на ***-стрит, куда тот нас и доставил прямо до дверей. По пути я веселилась, выслушивая самые правдоподобные враки, ни один слог из которых не сказал мне ничего, кроме как о громаднейшей удаче, благодаря которой я попала в руки хозяйки, если не сказать друга, добрее которой в целом свете не сыскать; так что порог ее дома я переступила с полнейшей доверчивостью, взволнованно обещая себе, немного обжившись, связаться с Эстер Дэвис и рассказать ей, как мне замечательно повезло.

Можете быть уверены, что благоприятное впечатление от дома не уменьшилось после того, как я попала в симпатичный салон, который мне показался великолепно обставленным (до той поры мне в жизни не приходилось видеть комнат лучше, чем обыкновенные номера на постоялых дворах по дороге в столицу). Там стояли два раззолоченных трюмо и горка, где были выставлены несколько тарелок для украшения, что

удивило меня и укрепило во мнении, что попала я, должно быть, в весьма достойную семью.

Тут хозяйка моя первой исполнила свою партию, сказав, что мне следует приободриться и научиться вести себя с ней свободно, что она взяла меня не в обычные прислуги, которые ломаются на нудной домашней работе, а в некотором роде себе в компаньонки, что, если я буду вести себя, как хорошая девочка, она сделает для меня больше, чем сделали бы двадцать матерей; на все это я лишь глубоко и неуклюже приседала да односложно причитала: «Да!», «Нет!», «Конечно же!».

Затем хозяйка тронула шнурок, и на звонок явилась горничная в передничке с лямками крест-накрест, та самая, что открывала нам входную дверь. «Вот, Марта, – сказала миссис Браун, – я только что наняла эту молодую особу присматривать за бельем, будь добра, проводи ее наверх, покажи ей комнату. И предупреждаю: обращаться с ней нужно с таким же уважением, как со мной, поскольку деточка мне сразу по сердцу пришлась, и я не знаю, чего только я для нее не сделаю».

Марта, эта старая боевая кляча, давно привыкшая к подобным заявлениям, сразу смекнула, что к чему. Обратившись ко мне, она сделала нечто, что можно было принять за полукниксен, и попросила следовать за ней; проведя по галерее по двум лестницам в глубь дома, она показала мне чистенькую комнатку с прелестной кроватью, в которой, как пояснила Марта, я буду спать вместе с молодой дамой, кухней моей хозяйки, которая, без всякого сомнения, будет очень добра ко мне. С каким же пылом она тут же принялась нахваливать свою хозяйку! ах, какая ласковая ее хозяйка! и как же мне

повезло встретиться с ней! и лучшего я просто пожелать не могла бы! Уже эти, как и остальные, словоизвержения слащавой чепухи могли насторожить кого угодно, только не такую жизни не ведавшую простушку, как я, принимавшую за чистую монету все, что говорилось, и именно в том смысле, какой для меня предназначался; Марта, замечу, скоренько разобралась, с кем имеет дело, потому не очень усердствовала, заливаясь соловьем, когда поняла, что птичка уже и без того довольна своей клеткой и вовсе не замечает ни прутьиков, ни решетки.

Где-то посредине фальшивых описаний всех прелестей предстоящего мне услужения прозвенел звонок, призывавший нас сойти вниз. Я снова оказалась в том же салоне, где теперь был накрыт стол на три персоны, а вместе с хозяйкой была одна из ее фавориток, досточтимая управительница дома, в чьи обязанности входила подготовка и объездка таких юных жеребят, как я; она превращала их в готовых под упряжь и под седло лошадок; именно с ней, с расчетом на обучение, и было предназначено мне спать в одной постели, для придания же большей значимости на нее был возложен титул кузины самой почтенной мадам – президентом этой школы верховой езды на людях.

Здесь я прошла второе обследование, завершившееся к полному удовлетворению *миссис Фоби Айрес*, ибо таково было имя назначенной мне менторши, чьим заботам и наставлениям я отныне предоставлялась.

Стол был уже накрыт к обеду, и, продолжая играть в обращении со мной, как с компаньонкой, миссис Браун тоном, не допускавшим никаких возражений, пригласила меня отобедать с ними, быстро преодолев слабенькое и застенчивое сопротивление с моей стороны, ибо я, как ни

бедно было мое воспитание, сочла обед за одним столом с ЕЕ МИЛОСТЬЮ чем-то неподобающим, из ряда вон выходящим.

Разговор за столом поддерживался, главным образом, двумя мадамами, речь их была полна двусмысленностей и только им понятных выражений, время от времени они прерывались для того, чтобы мило ободрить меня, изо всех сил старались укрепить во мне ощущение довольства нынешним своим положением, тут они мало что могли прибавить, столь послушным и неопытным стригунком я была в те времена.

Было условлено, что несколько дней я поживу у себя наверху вдали от чужих глаз, пока не будет готова одежда, подобающая мне как хозяйской компаньонке; при этом мне постарались объяснить, как много зависит от первого впечатления, которое произведут облик мой и вся фигура. Как они и рассчитывали, я с легкостью заглотнула наживку, каковой стала перспектива сменить деревенское одеяние на лондонский наряд, а потому причина моего затворничества никаких вопросов у меня не вызвала. Правда, тем не менее, состояла в том, что миссис Браун вовсе не желала, чтобы я встречалась с кем-нибудь, ни с ее клиентами, ни с ее САМОЧКАМИ (так звались девушки, предоставляемые этим клиентам) до тех пор, пока она не отыщет на рынке утех хорошего покупателя на мою девственность, которой я – во всяком случае, по всем внешним признакам – обладала и которую поставила на службу ЕЕ МИЛОСТИ.

В своем повествовании я опускаю разные к делу не относящиеся мелочи, а потому от обеда сразу перехожу ко времени, когда настала пора укладываться в постель и я еще больше уверилась в своем везении, меня просто

распирало от довольства необременительностью службы у этих добрых людей. После ужина, оказавшись в комнате со мной и заметив, что мне не очень-то хочется раздеваться прилюдно, миссис Фоби отослала служанку и, подойдя ко мне, начала с того, что развязала шейный платок на мне и расстегнула платье, предоставив довершить начатое мне самой, так что в конце концов, краснея от стыда я, раздетая до рубашки, поспешила укрыться под простыню. Фоби рассмеялась и не замедлила расположиться рядом со мной.

Ей было, по ее собственному, весьма, впрочем, сомнительному, счету, около двадцати пяти. Судя по внешности, она убавила себе лет эдак десять, хотя стоит сделать скидку и на то разорение для ее облика, которое было следствием длительных упражнений в верховой езде и горячечных омовений и которое уже поставило ее на грань, за которой маячил до затхлости потасканный период, когда жрицы ее профессии уже думают не о том, чтобы ПОКАЗЫВАТЬСЯ в компании, а о том, чтобы НАСМОТРЕТЬСЯ в ней.

Не успела эта достойная замена драгоценной моей хозяйки, которая никогда не упускала случая потешить свою похоть, улечься, как сразу же повернулась, обняла и поцеловала меня весьма энергично. Это было ново. Это было странно. Однако я и представить себе не могла, что за этим кроется что-нибудь, кроме чистой доброты. Возможно, думала я, именно так она и выражается в Лондоне; тут же решив не отставать от доброй моей напарницы, я ответила ей поцелуем и объятием со всем трепетом, который доступен лишь совершеннейшей невинности. Ободренная этим, Фоби сразу же распустила руки и прошлась ими по всем частям моего тела, где касаясь, где сжимая, где поглаживая, что скорее

распаляло и удивляло меня новизной и необычностью ощущений, чем отвращало или пугало.

Все ласки свои Фоби сопровождала изъявлениями полного восхищения, что сыграло далеко не последнюю роль в моем пассивном отношении к ее притязаниям; не имея никакого понятия о грехе, я никакого греха и не опасалась, особенно со стороны той, которая не оставила никаких сомнений в своей женственности, водрузив мои руки на пару своих обвислых грудей, что и размерами и формой с полной определенностью указывали на пол их владелицы, по крайней мере, для меня, кому никогда в жизни не приходилось ни с чем другим и ничего такого сравнивать.

Так что лежала я расслабленная и безропотная до той поры, пока развязность поведения Фоби не вызывала во мне никаких чувств, кроме странного и до той поры неизведанного удовольствия. Все тело мое было обнажено и открыто для фривольных упражнений ее рук, которые, подобно играющему пламени, разбегались по всем частям тела, растопляя жаром своим все островки и овражки, где еще держался белоснежный холод.

Мои груди, если только позволительно столь громко величать два твердых, плотных, вздувшихся бугорка, едва-едва показавшихся и совершенно неотзывчивых на ласку, ненадолго задержали ее руки, которые скользнули по гладкой поверхности вниз, туда, где уже чувствовалась приятная шелковистость волосков, всего лишь несколько месяцев назад покрывших эти места и обещавших со временем разрастись и скрыть под своим покровом вместилище чувствительнейшего из возбуждений, какое было – в тот момент – вместилищем бесчувственнейшей невинности. Пальцы Фоби,

играючись, старались скрутить, сплести молодые завиточки этих порослей, которые природа создала сразу для пользы и для украшения.

Не удовлетворившись, однако, этими внешними угождениями, она теперь сосредоточилась на основном месте, принялась пощипывать полегоньку, незаметно просовывать палец и, наконец, засунула его прямо в самое сокровенное, причем, не будь в опытных движениях ее нечувствительной постепенности, какая воспламеняла меня до такой степени, что всех сил скромности не доставало противиться огню, я бы выскочила из постели и криком позвала бы на помощь в испуге от такого странного вторжения.

Этого не произошло, и ее сладострастные ласки раздули новое пламя, которое жарко разлилось по всем моим жилам, весь пыл его, однако, сосредоточился в сердцевине, к тому предназначенной природой, где теперь первые чужие руки ощупывали, поглаживали, сжимали, смыкая губы, затем вновь их разводили, просовывая палец до тех пор, пока «О-ой!» не послужило сигналом, что она причинила мне боль, где узость неторенного прохода не давала продвинуться хоть сколь-нибудь дальше. В то же время, по напряженности всех моих членов, по слабым конвульсиям, придыханию, коротким толчкам эта опытная распутница превосходно видела, что меня скорее услаждают, чем обижают ее действия, которые она сопровождала нескончаемыми поцелуями и восклицаниями. «О, какое же ты прелестное создание!.. Счастлив будет тот мужчина, кто первым сделает тебя женщиной!.. О-о, как бы я хотела оказаться этим мужчиной!..» Эти и подобные им выражения произносились прерывистым от страсти шепотом и сопровождались поцелуями столь жгучими и

лихорадочными, каких я никогда не получала от лица иного пола.

Что до меня, то я была сама не своя: словно плыла куда-то в полубессознательности, все во мне перемещалось, испытываемые ощущения были так новы, что это было чересчур для меня. Разгоряченные и растревоженные чувства были такими беспорядочными, что лишали меня возможности свободно поразмыслить, слезы наслаждения брызнули из моих глаз и хоть немного остудили жар, охвативший меня всю без остатка.

Фоби же, эта хорошо объезженная чистокровка Фоби, кому были известны и близко знакомы все виды и способы утех, своим искусством объездки молоденьких девушек доставляла себе наслаждение, потрафляя одному из тех капризов вкуса, о которых не спорят. Не то чтобы мужчины были ей ненавистны или чтобы она им предпочитала представительниц собственного пола, нет; но когда предоставлялся такой случай, как нынешний, пресыщенность удовольствиями обычными, всеобщими и, наверное, тайная предрасположенность склоняли ее к тому, что из возможного нужно получать максимум удовольствий, невзирая на то, с каким полом имеешь дело. Следуя такому правилу и уверившись теперь полностью, что ее ласки порядком разожгли меня для того, что ей было нужно, Фоби мягко стащила вниз простыню, и я увидела, что лежу совсем голая, что рубашку мою она закатывает мне под горло, но противиться этому у меня не было ни сил, ни, признаюсь, желания. Даже краска, разгоревшаяся на моих щеках, свидетельствовала скорее о страсти, чем о непорочной стыдливости, когда свеча, оставленная (будьте уверены,

отнюдь не без намерения) горячей, заливала полным светом все мое тело.

«Нет! – слышалось бормотание Фоби, – нет, миленькая моя девочка, ты не прячь, не прячь от меня свои сокровища все! И глаза мне надо насытить так же, как насытились пальцы и руки мои... О, как сладостно глазам вкушать эту грудочку-весняночку!.. Дай я ее поцелую... Не могу наглядеться на нее... Дай я поцелую ее еще разок... Какая же она тверденькая, какая же гладенькая, какая беленькая!.. А какая нежная у нее форма!.. И тут, внизу, что за прелесть! О-о, дай я полюбуюсь на эту маленькую, хорошенькую, мягонькую щелку!.. О-о-о, я уже не могу, это невыносимо!.. Мне надо... Я должна...» Тут она схватила мою руку и направила ее... куда, Вы легко можете догадаться. Какая же разница между, казалось бы, одним и тем же!.. Обширные густые заросли волос отличали полностью созревшую женщину, а тот провал, куда она заталкивала мою руку, легко вместил ее; как только Фоби почувствовала, что рука моя там, она стала двигаться назад и вперед с такой быстротой и сноровкой, что я опомнилась и вытащила руку, влажную и липкую, лишь после того, как Фоби уже подобралась и, издав два-три судорожных вдоха, словно из глубины сердца исторгла страстное: «О-о! О-о-о!» – и прижалась к моим губам поцелуем, в котором, казалось, с губ исходила душа ее, а затем снова укрыла нас простынью.

Что за удовольствие испытала она, про то не ведаю; но знаю, что первые искры полового возбуждения, первые представления об оргазме появились у меня той ночью, и я понимаю, что знакомство и связь с тем дурным, что есть среди нашей сестры, часто оказываются

столь же губительными для невинности, как и любые обольщения и совращения со стороны мужчин.

Однако продолжу. Когда Фоби успокоилась, чего мне сделать не удалось ни в малой степени, она искусно повела разговор и прошлась со мной по всем пунктам, какие только требовались для внесения поправок и уточнений в планы нашей добродетельной хозяйки в отношении меня; по моим ответам, исторгнутым из природы чистой и цельной, она поняла, что сумеет добиться любого мыслимого успеха, если только примет во внимание, что это зависит от моей неосведомленности, доверчивости и зажигательной чувствительности организма.

После довольно продолжительного диалога напарница оставила меня в покое, и я уснула – просто от усталости и чрезмерности бурных чувств, до которых была доведена: так сама природа (сильно возбужденная и растревоженная во мне без какого бы то ни было успокоения или разрядки) облегчала, ниспослав один из сладких снов своих, целительная сила которых ничуть не уступает воздействию происходящего наяву.

Утром я пробудилась около десяти часов совершенно отдохнувшей и жизнерадостной. Фоби встала раньше, она ласково спросила, как я себя чувствую, как отдохнула и не хочу ли я позавтракать – все это осторожно, боясь еще больше усугубить смущение, какое я, как она заметила, испытывала, встречаясь с ней взглядом, каким-нибудь намеком на ночную сцену в постели. Я сказала, что, если она не возражает, я сейчас же встану и займусь любой работой, какую она соблаговолит мне поручить. Фоби улыбнулась. В этот момент служанка принесла поднос со всем, что нужно

для чая, и едва я успела накинуть на себя одежду, как в комнату вошла сама хозяйка. Я настолько была уверена, что она, по крайней мере, выговорит мне, если не отчитает хорошенько за столь позднее пробуждение, что едва ли не расстроилась, услышав от нее лишь похвалы чистоте и свежести моего обличия. Я была «бутончиком красоты» (таков ее стиль), «и как же сильно все приличные люди будут восхищаться мною!». На все на это я отвечала, смею Вас уверить, в соответствии с образованием: ответы мои звучали так безыскусно и так глупо, как того и ожидали мои матроны, глупость, без сомнения, радовала их больше, чем любые доказательства моей просвещенности и знания.

Мы позавтракали. Чайные принадлежности были тотчас же убраны, и в комнату внесли две кипы полотна и нарядное одеяние, в общем, все необходимое, чтобы обрядить меня, как они выражались, полностью.

Вы только представьте себе, Мадам, как запрыгало от радости мое маленькое сердечко, когда я увидела белый люстрин, расшитый серебряными цветами (побывавший в чистке, конечно, но для меня сходявший за безусловно новехонький), чепец из брюссельских кружев, туфельки со шнурочками и лентами и все остальное, все эти ношенные наряды, в один миг добытые по случаю стараниями и предприимчивостью доброй миссис Браун, в чьем доме уже находился покупатель на меня, которому предстояло оценить мои прелести, так как он не только настоял на предварительном осмотре, но также и на немедленном его ублажении в случае, если товар ему подойдет, ибо, рассудил он не без здравости, нелепо надеяться, что в таком злочном месте, куда я

попала, мог надежно сохраняться столь скоропортящийся товар, как непорочность и девственность.

Заботы по одеванию и выманиванию меня на рынок легли на Фоби, которая справилась с ними, если не превосходно, то, во всяком случае, удовлетворив все, кроме моего нетерпения увидеть себя наряженной. Когда с этим было покончено и я увидела себя в зеркало, то, будучи, без сомнения, слишком непосредственной, слишком неискушенной, даже не пыталась скрыть детскую радость от перемены, перемены, если быть до конца искренней, к худшему, поскольку мне куда больше были к лицу аккуратность, легкость и простота деревенского одеяния, чем вычурный, неудобный, кричащий наряд, который – и утаить этого я не могла – выглядел на мне чужим.

Комплименты Фоби, однако, в которых не были забыты и ее услуги в церемонии одевания, ни в малейшей степени не укрепляли меня в первом убеждении, которое я всегда исповедовала по отношению к себе самой, что, скажу Вам безо всякого тщеславия, хоть немного свидетельствовало о наличии у меня вкуса, который может пригодиться и сейчас для того, чтобы нарисовать для Вас весьма нелестный мой портрет.

Я была высока, и все же не слишком высока для моего возраста (я уже упоминала раньше, что мне едва минуло пятнадцать), фигура моя была стройной, талия тонкой, все во мне было легким, дышало свободой и не нуждалось ни в каких подпорках или затяжках; блестящие золотисто-рыжеватые волосы, мягкие, как шелк, ниспадали на шею естественными завитками, ничто не омрачало чистоту и белизну гладкой кожи; лицо

у меня было чересчур румяным, хотя черты его достаточно тонки, а округлость нарушалась лишь ямочкой на подбородке, что отнюдь не портило впечатления; глаза, настолько черные, насколько это можно представить, скорее были подернуты поволокой истомы и печали, чем сияли, хотя, уверяли меня, бывали случаи, когда они весьма скоро зажигались огнем; за зубами я тщательно ухаживала, и они, мелкие, ровные, белые, были в полном порядке; на высоко поднятой груди можно было разглядеть скорее обещания, чем уже отлитую форму круглых тугих полушарий, которые сдержать обещанное готовы были в самое ближайшее время. Короче, все признаки красоты, которые ценятся повсеместно, у меня были. Тщеславие мое противится обращению за подтверждением этих слов к суверенным судьям – нашим мужчинам, только все они, по крайней мере, из тех, кого я знала, давали высокие оценки в мою пользу (даже среди женщин находились такие, кто был выше отрицания справедливой для меня оценки, в то же время были и такие, что превозносили меня довольно своеобразно: пытаюсь умалить какие-то качества личности моей или фигуры как раз там, где я была явно превосходна). Готова признать, что подобное самовосхваление звучит слишком сильно. Только не было бы ли с моей стороны неблагодарностью по отношению к природе, наделившей меня всем, чему я обязана редчайшим блаженством радости и жизни, вздумай я – в чрезмерном порыве скромности – даже словом не обмолвиться о столь щедрых ее дарах?

Ну, так вот, я вырядилась, и не пришло мне тогда в голову, что радостное это великолепие одежды есть не более чем убранство жертвы перед заклинанием, я же в душевной простоте относилась все на счет дружелюбия и

добросердечия милой и доброй миссис Браун, которая, я все время забываю упомянуть, под предлогом лучшей сохранности моих денег отобрала у меня ничтоже сумняшеся, эти крохи (иначе ныне такую сумму я назвать не могу), оставшиеся после всех расходов на мой переезд.

После того, как я недолго полюбовалась на себя в зеркало (больше всего меня к нему привлекало все же новое платье), меня пригласили в салон, где старая леди приветствовала меня и пожелала носить свой новый наряд да радоваться, поскольку, безо всякого стеснения уверяла она, платье шло мне так, будто я всю жизнь только и ходила что во всем нарядном и благородном; неужели она могла такое сказать, лишь надеясь, что в безмерной глупости своей я все проглочу? В то же время она представила меня еще одному своему кузену (ею самой избранному), пожилому джентльмену, который поднялся, когда я вошла в комнату, а когда я присела в поклоне, приветствовал меня и, казалось, огорчился, увидев, что для поцелуя я подставляю всего лишь щечку, – ошибка, которую он немедленно поправил, прилепившись своими губами к моим с пылкостью, которая, как и все его обличье, отнюдь не располагали меня к благодарности, ибо, скажу я Вам, с видом его ничто не могло тягаться по отвратительности и безвкусице – такие понятия, как «безобразный», «противный», слишком слабы, чтобы описать его хотя бы приблизительно.

Представьте себе человечка, кому далеко за шестьдесят, коротенького и тщедушного, с кожей желтоватой, как у мертвеца, и огромными навывкате глазами, которые он тарасил, словно его душили; не зубы, а, правильнее сказать, клыки делали его рот

огромным, и несло из него, окруженного какими-то лиловыми губами, как из горшка ночного; нечто крайне неприятное таилось в ухмылке, обращавшей его в совершенное страшилище, если не в чудище, опасное для женщины с ребенком. И эдакое создание, эта издевательская карикатура на человека, этот монстр был настолько слеп к собственному уродству, что считал, будто он рожден дарить усладу, верил, что нет женщины, способной устоять перед его чарами. Из-за таких представлений он тратил немалые деньги на тех несчастных, кто были способны совладать с собой и притвориться влюбленными в него, с теми же, кому не хватало искусства или терпения скрывать отвращение, им вызываемое, он вел себя бесцеремонно и весьма грубо. Бессилие скорее, чем необходимость естества, заставляло его искать возбуждения в разнообразии, извращенными путями пытался он подняться на вершины блаженства, однако чаще всего обнаруживал, что препятствием служит нехватка сил, необходимых для подъема. В этих случаях на него всегда находил приступ ярости, которой он давал волю, вымещая ее на ни в чем не повинных объектах своих вспышек недолговечного желания.

Такому вот чудищу моя честная благодетельница, давно уже служившая ему поставщиком, и обрекла меня на утеху. Она специально вызвала меня в салон, чтобы дать ему хорошенько рассмотреть товар. Она поставила перед ним, заставила повернуться, сняла с меня шейный платок и обратила его вниманием на возвышенности и углубления, форму и белизну груди, едва начавшей наполняться плотью; потом велела мне пройти и, дабы оживить реестр моих прелестей, позволила себе обратить внимание на деревенскую неотесанность

походки. Короче, она не обошла внимания ни одного пункта по лошадиной своей классификации, на что джентльмен отвечал лишь милостивыми кивками одобрения, в то же время вперяя в меня взоры, в которых было что-то козлиное или обезьянье; изредка – уголком глаза – я посматривала на него и всякий раз натыкалась на горящий, жадный, вытаращенный взгляд, сущую ипостась чистого страха и ужаса, заставлявший меня тут же отворачиваться, что он, без сомнения, в душе своей приписывал ни много ни мало как непорочной скромности или, по крайней мере, проявлению ее.

Вскоро, однако, я была отпущена и отведена в комнату под присмотр Фоби, не отходившей от меня ни на шаг и не оставлявшей одну ни на минуту. Порой она с ленцой пускалась в рассуждения, смысл которых уловил бы любой, кто не идиот, по поводу сцены, в какой я только что участвовала; однако, признаюсь Вам, к стыду своему я была так непроходимо глупа или, точнее, так необыкновенно простодушна, что все еще не понимала замыслов миссис Браун и ничего такого страшного не видела в ее кузине-менторше: пусть та и вела себя постыдно и ужасно, но меня-то ведь это никак не касается, разве что чувство признательности моей благодетельнице заставляло меня распространять мое уважение на всех ее кузенов и кузин.

Фоби, между тем, решила до конца разобраться с тем, что таилось у меня на сердце в отношении чудища-джентльмена, и спросила, не хотела бы я заполучить такого прекрасного джентльмена в мужья? («Прекрасным джентльменом» она звала его, мне кажется, потому, что тот прямо-таки тонул в кружевах). Я ей совершенно искренне ответила, что вообще о муже не

думала, но, доведись выбирать, поискала бы кого-нибудь себе под стать, это уж точно! Чувствовалось, что отвращение к мерзостной трухлявой образине настраивает меня против всех «прекрасных джентльменов» вообще, что в сознании моем утверждается представление, будто все люди его круга и положения сделаны из того же теста, что и этот монстр! Фоби не так-то легко отступала, она и не подумала прекратить свои попытки хоть как-нибудь успокоить и смягчить меня с точки зрения необходимости того, чтобы я ужилась в этом гостеприимном доме, и, когда она вела речь о сексе вообще, у нее не было никаких причин отчаиваться из-за недостатка уступчивости с моей стороны, ибо хватало причин для уверенности в том, что она способна без особых трудов добиться от меня требуемой покладистости; впрочем, она была слишком опытна, чтобы не понять: отвращение, испытываемое мною конкретно к страшиле-кузену, может стать препятствием, которое не так-то легко устранить, для доведения до конца их сделки и моей продажи.

В это время мамаша Браун уже сговорилась со старым похотливым козлом. Как я узнала позже, условия были такие: пятьдесят гиней сразу, только за возможность вольно испытать на мне свои чары, и еще сто при полном удовлетворении желаний после одоления моей девственности; что до меня, то все оставлялось на его усмотрение, в зависимости от расположения и щедрости. Нечестивый контракт, таким образом, был заключен, и джентльмен так рвался вступить во владение, что уговорил пригласить его в тот же день выпить чаю со мной и оставить во время этой церемонии нас одних. Он и слушать не хотел никаких предостережений и отговорок: мол, я еще недостаточно

подготовлена и не созрела для подобного нападения, слишком я еще зелена и необузданна, ведь и в доме-то я провела едва двадцать четыре часа – все напрасно. Похоть всегда нетерпелива, а тщеславие мешало старику предвидеть нечто большее, чем обычное для таких случаев девичье сопротивление, он отверг все предложения об отсрочке, и роковое испытание, таким образом, было назначено – без моего ведома – на тот же самый вечер.

За обедом миссис Браун и Фоби старались перещеголять друг друга в восхвалениях чудесного кузена и в расписании того счастья, какое достанется женщине, обратившей на себя его внимание, обе мои наушницы весь пыл красноречия тратили, дабы убедить меня: «этот джентльмен жутко втюрился в меня с первого же взгляда... он меня на всю жизнь осчастливит, если я буду разумной девушкой и не стану рубить сук, на который могу присесть... я должна вверить себя его чести... обеспечена буду навек и в карете за границу поеду», – такой вот чепухой кружили они голову несмышленной глупышке, которой в ту пору была я. К счастью, однако, на сей раз отвращение так глубоко укоренилось во мне и душа моя всеми фибрами своими так решительно восставала против него, что, не будучи искушена в искусстве скрывать собственные чувства, я не оставила дамам никакой надежды на то, что их протезе добьется, по крайней мере, очень легко, успеха со мной. Замечу мимоходом, что и бокал мой наполнялся очень быстро и очень часто: надеялись, что с его дружеской помощью я хорошенько разогреюсь ко времени неминуемого нападения.

Так что довольно долго держали они меня за столом, а около шести вечера, после того, как я

удалилась в свои покои и был накрыт чайный столик, вошла моя почтенная хозяйка, а следом за ней пожаловал и этот сатир, по своему обыкновению гримасничая. Его гнетущее присутствие пробудило во мне все чувства отвращения и омерзения, какие зародились еще при первом его появлении.

Усевшись напротив меня, он все время, пока пили чай, не переставал строить мне глазки, да так, что игра его отзывалась во мне жуткой болью и смятением, приметы которых он по-прежнему относил на счет моей застенчивости, робости и непривычки к компаниям.

Напились чаю. Хлопотунья пожилая леди сослалась на срочное дело (это было правдой), что заставляет ее оставить нас, и выразила искреннее пожелание, чтобы я развлекла кузена до ее возвращения ради моей и ее пользы. Затем со словами: «А вас, сэ, прошу, будьте очень добры и очень бережны с нашей милой крошкой», – она вышла из комнаты, оставив меня с открытым от изумления ртом, уход ее был так поспешен, что я даже не успела хоть как-то ему воспротивиться.

Мы остались наедине, и при этой мысли меня внезапно охватила дрожь. Я настолько перепугалась, плохо сама понимая, почему и чего должна я опасаться, что сидела на канапе у камина недвижимая, словно окаменела, казалось, вся жизнь из меня ушла, и я не знала, как посмотреть, как пошевелиться.

Долго мучиться в одиночестве, однако, мне не пришлось: чудовище уселось рядом со мной на канапе и безо всяких церемоний или приготовлений облапило мою шею. Старик с силой прижал меня к себе и, невзирая на все мои попытки от него отодвинуться, покрывал меня несносными вонючими поцелуями, которые прямо-таки

убивали меня. Заметив, что я почти без чувств и о сопротивлении не помышляю, он сорвал с моей шеи платок, открыв своим глазищам и рукам доступ к плечам и груди, которые платок скрывал: все это я выносила безропотно до тех пор, пока, ободренный моей пассивностью и молчанием (а у меня просто сил не было ни слова сказать, ни криком крикнуть), он не попытался повалить меня на канапе и я не почувствовала его руку на своих обнаженных бедрах, которые были сомкнуты и которые он старался развести... Как бы не так! Я мигом очнулась от вялого забытья, вырвалась от него с силой, какой он от меня не ожидал, и, бросившись на колени перед ним, стала самым жалобным голоском умолять не делать мне больно. «Делать больно тебе? – переспросил этот негодяй. – У меня и в мыслях не было тебя обижать... разве пожилая леди не говорила, что я полюбил тебя?.. что я чудесненько все для тебя устрою?» – «Конечно, сэр, она про это говорила, – отвечала я, – но, сэр, я не могу вас полюбить, в самом деле не могу!.. смилуйтесь, оставьте меня... да! я всей душой вас люблю, если только вы оставите меня в покое и уйдете отсюда...» Впрочем, я лишь бросала слова на ветер, поскольку то ли слезы и поза мои, беспорядок ли в моей одежде вызвали у него прилив свежих сил, то ли он уже не мог совладать с охватившим его желанием, только, хрипя и брызжа пеной похоти и ярости, он возобновил свое нападение, обхватил меня и снова попытался разложить на канапе.

И кое в чем преуспел: повалил меня на диванчик и даже задрал нижние юбки поверх головы, обнажив мои ноги до самых бедер. Ноги я упорно держала сомкнутыми, и как ни пытался он – даже колена в ход пустил – разжать их, ничего у него не получилось.

Основное поле сражения оказалось для него недоступно. У него и жилет, и брюки были расстегнуты, только я лишь вес его тела на себе ощущала, когда отчаянно боролась, едва не умирая от ужаса и отвращения, – и вдруг все кончилось. Он сполз, задыхаясь, сопя, бранясь и повторяя «старый и гадкий!» – ибо именно так, естественно, называла я его в пылу борьбы.

Как после я поняла, это грубое животное, кажется, в суете и борении само вызвало кульминацию собственной похотливой горячки, не достало у него сил на то, чтобы испытать полное удовлетворение, о чем свидетельствовали липкие пятна выделений у меня на ногах и на белье.

Когда с этим было покончено, он встал и недовольным тоном объявил мне, что не удостоит меня даже мыслью своею... что старая сука пусть поищет себе другого простачка... что больше его так не одурачить притворной деревенской скромностью в Англии... что наверняка я оставила свою невинность какому-нибудь мужлану-деревенщине и теперь меня притащили в город торговать снятым молоком – прямо град таких оскорблений. Я их выслушала с удовольствием, редким для женщины (какой из нас понравится, если любовник станет отвергать любовь!), ибо, будучи не в состоянии хоть сколько-нибудь добавить к своей ненависти и отвращению к этому монстру, я взирала на его брань как на гарантию собственной безопасности, полагая, что неприязнь его убережет меня от возобновления омерзительных ласк.

И все же, как ни очевидны стали теперь замыслы миссис Браун, у меня по-прежнему не хватало духу взглянуть на них открытыми глазами, я все еще не

утратила чувство зависимости от этой старой карги, настолько считала себя принадлежащей ей душой и телом или, скорее, пыталась самое себя обмануть, продолжая хорошо думать о ней, что предпочитала дожидаться самого гадкого с ее стороны, чем оказаться голодной на улице без единого пенни или друга, к которому можно было бы обратиться за помощью – страхи эти были и безрассудством моим и моим грехом.

Вся эта путаница вертелась у меня в голове, когда я печально сидела у камина с глазами, полными слез. Шея и плечи все еще были обнажены, чепец во время возни соскочил, так что можете себе представить, в каком беспорядке были у меня волосы. Вид мой злодею, разумеется, не был безразличен, взирая на цвет юности, такой доступный и еще не усладивший его, он, наверное, вновь ощутил похотливый позыв.

Выдержав паузу, он спросил – и тон его речи сильно смягчился – не поладим ли мы с ним к общему удовлетворению, пока пожилая леди не вернулась; за это, обещал монстр, он вернет мне свое расположение, в то же время он снова стал целовать меня и ощупывать мою грудь. Только на сей раз и крайнее отвращение, и страхи, и гнев – все было на моей стороне, все вселяло в меня дух мне не свойственный, так что я вырвалась от него, подбежала к звонку и, прежде чем он успел опомниться, зазвонила с таким остервенением, что объявилась служанка узнать, в чем дело и не желает ли чего джентльмен. Она влетела в комнату до того, как он сумел дойти до самых крайностей; увидев же, как распростерлась я на полу с разлохмаченными волосами, как из носа у меня течет кровь (вряд ли это преуменьшало трагизм сцены), как мерзкий преследователь мой все еще намеревается до конца

довести свое черное дело, нимало не трогаясь моими мольбами и воплями, служанка была сбита с толку и сама не знала, что сказать.

Марта, конечно, прошла в этом доме огонь и воду и к такого рода происшествиям привыкла, но нужно было бы вытравить из ее сердца все женское до капельки, чтобы она осталась безучастной. Кроме того, вообразив по чисто внешним признакам, что дела зашли значительно дальше, чем то случилось на самом деле, а потому можно не церемониться, раз я стала обычной принадлежностью этого дома и попала в то положение, в котором она меня и обнаружила, Марта, блюдя верность дому, тут же приняла мою сторону. Она попросила джентльмена сойти вниз и позволить мне оправиться, сказав, «что все у меня пройдет скоро... что, когда миссис Браун и Фоби, которые в отъезде, вернутся, они все устроят как нельзя лучше к удовольствию джентльмена... что он ничего не потеряет, немного потерпев с этой милашкой-бедняшкой... что она сама жуть как перепугалась... она и не знает, что сказать на такие дела... но что она останется со мной, пока хозяйка не вернется домой». Говорила Марта, эта девка-солдат в передничке, решительным тоном, да и сам монстр уже начал понимать, что его присутствие ничего не поправит и ничего не даст, поэтому, взяв шляпу, он вышел из комнаты, что-то бормоча себе под нос и дергая бровями, как старая обезьяна, так что я была избавлена от ужаса его мерзкого присутствия.

Как только он удалился, Марта очень сердечно предложила мне свои услуги и помощь: она и каких-то капель успокоительных мне дала, и в постель меня уложила, чему я поначалу решительно противилась от страха, что монстр вернется и воспользуется таким

преимуществом. Однако многочисленными увещеваниями и обещаниями, что этой ночью никто мой покой не нарушит, Марта убедила меня улечься, я же и в самом деле так ослабела в борьбе с чудищем, так удручена была ужасными опасениями, так перепугана, что у меня вовсе не стало сил ни сидеть, ни отвечать на вопросы, которыми любопытная Марта засыпала и запутывала меня.

И вот Вам жестокость судьбы моей! Я страшилась вида миссис Браун так, будто я была преступницей, а она – потерпевшей и обиженной, – ошибка, которая Вам не покажется странной, если Вы примете во внимание, что сопротивлением моим ни в малой степени не руководили ни добродетель, ни принципы, его вызывало лишь конкретное отвращение, появившееся у меня к первому и грубому посягателю на мою трепетную невинность.

Как можно о том догадаться, пока миссис Браун не вернулась домой, я все время провела, охваченная страхом и отчаянием.

Около одиннадцати вечера возвратились обе леди и получили довольно благожелательный доклад от Марты, которая поспешила встретить их, ибо *мистер Крофтс* (так звали эту скотину), прождавши возвращения миссис Браун, пока у него терпение не лопнуло, уже покинул дом. Громко топая, леди поднялись наверх, где увидели меня бледную, с лицом в крови и всяческими иными следами крайне подавленного состояния и принялись больше успокаивать и подбадривать меня, чем ругать, чего я в слабости своей так боялась, – я, у кого было куда больше прав и оснований наговорить им кучу резкостей.

Миссис Браун удалилась, Фоби присела ко мне на кровать и с помощью своего метода самоудовлетворения через *прощупывание* вовлекла меня в разговор, из которого поняла, что я натерпелась куда больше страха, чем боли. Узнав, что нужно, она, полагаю, сама хотевшая спать, отложила до утра лекции и инструкции и оставила меня, если выразиться точно, наедине с моим беспокойством, ибо большую часть ночи я прометалась, изводя себя самыми превратными представлениями и дурными предчувствиями; вконец обессиленная и измотанная, я впала в какое-то горячее забытие, от которого очнулась поутру в жуткой лихорадке – обстоятельство, самым решительным образом оградившее, по крайней мере на время, меня от нападения негодяя, для меня куда более ужасного, чем сама смерть.

Забота, которой я была окружена во время болезни, диктовалась интересом: надо было восстановить мою пригодность для своднических свиданий или выносливость в последующих испытаниях. Она, однако, так повлияла на мое благодарное расположение, что я даже сочла себя обязанной моим обманщицам за их внимание, способствовавшее быстрому выздоровлению, а больше всего за то, что они не позволяли попадаться мне на глаза этому грубому насильнику, виновнику моих бед, убедившись, что я становлюсь невменяемой при одном только упоминании его имени.

Юность сама по себе целительна, нескольких дней хватило мне, чтобы справиться с лихорадкой. И все же больше всего моему выздоровлению и возвращению к жизни способствовало своевременное известие о том, что мистер Крофтс, бывший крупным купцом-воротилой, арестован и оштрафован по королевскому указу почти на

сорок тысяч фунтов за организацию контрабандной торговли, что дела его настолько плохи, что будь у него даже такое намерение, он не в силах был бы возобновить свои притязания на меня, поскольку был немедленно брошен в тюрьму, из которой вряд ли ему удастся выбраться очень скоро.

Миссис Браун, урвав пятьдесят гиней, ставших платой за сущую малость, и утратив всякую надежду получить остальные сто, стала с большим пониманием и сочувствием относиться к моей неприязни к этому уродцу. Все больше и больше убеждаясь, что нрав мой прекрасно поддается дрессировке и вполне способен отвечать их намерениям, миссис Браун позволила всем девушкам, составляющим ее табун, навестить меня и своими разговорами расположить к совершенному послушанию и покорности.

Они приходили ко мне, и шаловливое, бездумное веселье, с каким проводили эти легкомысленные создания свободное время, пробуждало во мне зависть к их жизни, лишь светлую сторону которой мне дано было видеть, и так я завидовала, что стать одной из них превратилось в навязчивое желание – к чему все они осторожненько меня и подталкивали, – ничего больше я уже не хотела, только бы восстановить здоровье и пройти обряд посвящения.

Разговоры, примеры, короче, все в этом доме служило тому, чтобы лишить меня природной чистоты, увы, никак не подкрепленной образованием; теперь уже огнеопасный принцип наслаждения, так легко воспламеняемый в моем возрасте, творил во мне свою странночудную работу, все целомудрие, в каком я была возвращена – по привычке, а не по обучению, испарялось,

как роса под солнечными лучами. Я уж не говорю о том, что сама себя зажала в тиски необходимости постоянными страхами быть выгнанной вон на голод и холод.

Вскоре я вполне поправилась, и в определенные часы мне разрешалось бродить по дому, хотя все делалось для того, чтобы я не попала ни в какую компанию до прибытия лорда Б. из *Бата*, которому миссис Браун в благодарность за многократно проявленную щедрость в подобных ситуациях намеревалась предложить внимательно ознакомиться с этой моей безделицей, воображаемая цена которой так невероятно высока. Ожидалось, что его милость прибудет в столицу недели через две, так что, рассудила миссис Браун, к тому времени я полностью верну себе красоту и свежесть, стало быть, можно будет заключить сделку получше, чем с мистером Крофтсом.

Между тем меня так старательно, как они выражаются, переубеждали, так объезжали на послушание, что случись дверце моей клетки оказаться незапертой, мне бы и в голову не пришло упорхнуть куда-нибудь, скорее, я бы предпочла остаться на месте. Не было у меня ни малейшего позова жалеть о своем положении, я лишь ждала тихонечко, когда миссис Браун распорядится мною; со своей стороны, она и ее помощницы предприняли предосторожностей больше, чем того требовалось, дабы убаюкать и усыпить любые правдивые представления о том, что меня ожидает.

Моральные проповеди – через левое плечо. Жизнь рисуется в буйном веселии красок. Ласки, обещания, снисходительность и потакание во всем. Можно ли было найти узы крепче, чтобы привязать меня к дому и не дать

уйти туда, где я могла бы получить совет получше? Увы! Сама я ни о чем таком и думать не думала.

Лишь чувствовала себя в долгу у девушек дома за избавление меня от пут целомудрия: их ласкающие слух разговоры, где скромность да невинность были далеко не в чести, их описания утех с мужчинами рисовали мне приемлемую картину смысла и таинства их профессии; в то же время беседы их разжигали в крови сильный пожар, пламя которого проникло в каждую жилочку. Больше всего тут я обязана, конечно, своей напарнице по постели: Фоби, в чьем непосредственном ведении я пребывала, не жалела своих талантов, преподавая мне первые навыки утех и удовольствий. Они были заодно, природа и Фоби: разгоряченная и разбуженная во мне природа с каждым открытием, столь интересным и чудным, разжигала во мне любопытство, а Фоби, искусно ведя меня на поводке своем от вопроса к вопросу, объясняла все тайны Венеры. Однако было невозможно долго оставаться в этом доме и не стать при этом свидетельницей куда большего, чем узнавала я из ее рассказов и описаний.

Однажды, уже избавившись от лихорадки, я оказалась около полудня в темной гардеробной миссис Браун, где прилегла отдохнуть на диванчик служанки; получаса не прошло как я услышала шорохи и шуршанья в спальней, отделенной от гардеробной только двумя застекленными дверями. Стекла были затянуты желтыми занавесками из дамасского шелка, но не настолько плотно, чтобы не позволить находящемуся в гардеробной видеть все, что происходит в комнате.

Тут же я притаилась и устроилась так, чтобы ничего не упустить и самой остаться невидимой. Кто, как Вы

думаете, там был? Сама почтенная мать-настоятельница наша! – об руку с высоченным дюжим молодцом-конногренадером, сложенным как *Геркулес*, образчик, *в общем*, отборный, можно довериться вкусу самой опытной в таких *делах* дамы во всем Лондоне.

О! как же тихо-тихо, словно мышка, сидела я, наблюдая, чтобы никакой шум не помешал мне насытить свое любопытство и не привел бы мадам в гардеробную.

Впрочем, особо беспокоиться было нечего: мадам была так поглощена своим занятием, что ни частицы из своих чувств не могла тратить на что-то еще.

Забавно было видеть, как эта рыхлая толстуха шлепнулась на край кровати – напротив двери в гардеробную, так что я могла созерцать ее прелести во всей их красе.

Ухажер присел рядом, он, по-видимому, был из тех мужчин, кто слов понапрасну не тратит и у кого крепкий желудок, ибо он тут же приступил к тому, за чем пришел: смачно поцеловал мадам несколько раз, запустил руки в закрома ее платья и извлек оттуда на белый свет пару грудей, которые свесились едва ли не ниже пупка. Груды таких чудовищных размеров мне видеть не приходилось, цвет же их был еще страшнее, эта пара болтающихся желе в высшей степени прелестно сливалась в единое целое. Впрочем, пожирателя тухлятины это не остановило: он с неожиданным пылом облапил их, напрасно пытаюсь обхватить или хотя бы прикрыть одну из них своей ручкой, что была не меньше бараньей лопатки. Поиграв, будто они того стоили, грудями некоторое время, он резко повалил мадам, задрал ей юбки и, словно маску, натянул их на ее широкое и красное от выпитого бренди лицо.

Пока он стоял, расстегивая жилет и штаны, я хорошо рассмотрела ее жирные и обвислые ляжки и весь сальный пейзаж – широко распахнутую брешь, затененную седоватыми зарослями и напоминавшую разверстый кошель нищего, просящего подачку.

Впрочем, я быстро перевела взгляд на более потрясающий объект, который полностью овладел моим вниманием.

Расстегнувшись и обнажившись, ее здоровяк-жеребец явил такой чудесный механизм, крепкий и взметнувшийся, какой я никогда прежде не видела. Я смотрела во все глаза, чувствуя, как в собственном моем вместилище утех разжигался интерес, чувства мои были слишком возбуждены, слишком заняты своим, уже пылающим, вместилищем, чтобы я успела как следует разглядеть строение и форму того механизма, о котором естество больше, чем все до той поры услышанное, поведало мне, что наивысшего наслаждения следует ждать от природой predetermined встречи этих органов, так замечательно подходящих друг другу.

Молодой красавец, однако, не помышляя прохлаждаться, взмахнул, словно примериваясь, пару раз своим мечом и набросился на мадам. Теперь была видна только его спина, лишь по его движениям могла я догадаться, что его затащило в ту пучину, миновать которую было просто невозможно. Кровать ходила ходуном, занавески так шуршали и трещали, что до меня едва доносились вздохи и причитания, стоны и тяжелое дыхание, сопровождавшие действие от начала до конца. И звуки и зрелище потрясли меня до глубины души, казалось, в каждой жилке моей бьется жидкое пламя, и

ощущение это становится таким всежигающим, что у меня даже дыхание перехватило.

Стоит ли удивляться, что при той подготовке и направлении в мыслях, полученных мною от девушек и объяснений – подробных и тщательных – Фоби, увиденное нанесло последний, смертельный, удар моему природному целомудрию.

Пока парочка в спальне пребывала в пылу любви, я рукой, направляемой единственно естеством, проникла под юбки и горящими пальцами схватила – чем еще больше разожгла – это средоточие всех моих чувств; сердце мое билось с такой силой, будто рвалось из груди, мне даже дышать стало больно. Я сжимала ноги, бедрами сдавливала и сжимала губы моей девственной щели и, механически следуя, насколько умела, урокам Фоби в действиях руками, довела себя до предела экстаза, до потока умиротворения, в котором все естество, использованное с избытком наслаждения, растворилось и угасло.

Когда чувства мои достаточно остудились, я могла снова созерцать любовную сцену в исполнении счастливой парочки.

Едва молодой человек успел встать, как пожилая леди вскочила с прямо-таки молодой прытью, приданной ей, без сомнения, недавними возлияниями, усадила его и принялась, в свою очередь, целовать его, потрепывать и пощипывать ему щеки, играть с его волосами. Он все принимал равнодушно и с прохладцей, что показало мне, насколько он успел измениться с тех пор, как ринулся в атаку на брешь.

Благочестивая же моя домоправительница, не видя греха в том, чтобы попросить добавки, отперла

небольшой погребок с горячительными напитками, стоящий у кровати, и уговорила молодца выпить – добрый глоточек! – за ее здоровье, после чего (и недолгих любовных переговоров) уселась на то же самое место с краю кровати. Гренадер встал рядом, а она с величайшим бесстыдством, какое только вообразить можно, расстегнула ему штаны и, убрав рубашку, извлекла его плоть, такую съезжившуюся и уменьшившуюся, что меня не могла не поразить разница между тем и этим, уныло опавшим членом, едва шевелящим своей головкой. Однако многоопытная матрона, растирая руками, привела механизм в рабочее состояние, и я вновь увидела его раздавшимся до былых размеров.

Теперь, любуясь, я могла получше изучить эту важнейшую часть мужского тела: пылающую красным головку, белизну ствола и окруживший его основание кустарник вьющихся волос, округлый мешочек, свисающий оттуда, – все это снова обострило мое внимание и снова раздуло улегшееся было пламя. Но как только плоть дошла до состояния, ради которого мастеровитая хозяйка изрядно потрудилась и отнюдь не шутя теперь рассчитывала на покрытие своих тягот, она сама улеглась и его к себе аккуратно притянула, таким образом, как и прежде, они завершили древний – и всякий раз последний – акт.

По завершении его, прежде чем удалиться, мило воркуя вдвоем, пожилая леди вручила кавалеру подарок, насколько я успела заметить, из трех или четырех частей: он был не только ее личным фаворитом, благодаря своим способностям, но и вассалом дома, от кого она весьма бдительно до сего времени скрывала меня, а то он мог бы не утерпеть и, не дожидаясь

прибытия моего лорда, потребовать для себя право прислужника, пробующего любое блюдо перед господином, каковое право пожилая леди осмеливалась оспаривать у него, ибо и без того всякая девушка дома рано или поздно доставалась конногренадеру (свою же долю пожилая леди урывала время от времени), что свидетельствовало о его способностях, а также о далеко не бескорыстных отношениях с хозяйкой.

Как только я услышала, как они спустились вниз, тут же тихонечко пробралась в свою комнату, отсутствия моего в которой, к счастью, никто не заметил; здесь я вздохнула свободнее и дала волю тем распаленным чувствам, что овладели мною при виде любовного турнира. Охваченная пылкими желаниями, я улеглась в постель, остро нуждаясь в любом средстве, которое отвлекло бы или облегчило вновь разгоревшееся буйство моих страстей, тянувшихся, словно магнитные стрелки, к одному полюсу – мужчине. Я ощупывала постель, шарила по ней, будто искала на ней нечто привидевшееся мне то ли во сне, то ли наяву, не находила ничего и едва не плакала от томления: все во мне пылало возбуждающим огнем. В конце концов я прибегла к единственному известному мне лекарству, добралась пальцами туда, где малость театра действий не позволяла развернуться как следует и где попытки забраться поглубже хоть и доставляли мне слабое облегчение, но вызывали сильную боль. Это пробудило во мне нехорошие предчувствия, от которых я не могла избавиться, не обратившись к Фоби и не услышав ее объяснений по этому поводу.

Возможность такая представилась лишь на следующее утро, ибо Фоби заявила много позже того, как я уже уснула. Когда же обе мы пробудились, я завела

ставшую привычной болтовню в постели на тему, меня беспокоившую; вступлением же к ней послужил рассказ о любовной сцене, свидетельницей которой я случайно оказалась. Не в силах дослушать до конца, Фоби несколько раз обрывала повествование взрывами смеха, причем немалую долю веселья доставляла ей та бесхитрость, с какою я вела рассказ о подобных вещах.

Но когда она поинтересовалась, как подействовало на меня увиденное, я, не жеманясь и не скрывая, поведала ей, что в общем чувства, вызванные этой сценой, мне были приятны, но одна вещь поразила меня – и очень. «Ну-ну! – воскликнула Фоби. – И что же это за вещь?» – «Я внимательно сравнила размеры того огромного механизма, который, так, во всяком случае, мне в испуге показалось, был не тоньше моего запястья да в длину не меньше трех моих ладоней, с размерами той нежной малости у меня, что для его приема предназначена. И я не могу постичь, как это можно впустить эдакую махину и при этом не умереть от, наверное, ужаснейшей боли, ведь вы же знаете, что даже палец, просунутый туда, вызывает у меня боль нестерпимую... Скажем, у хозяйки или у вас – другое дело, тут разницу между вами и мной я различаю ясно и наощупь и по виду; короче говоря, удовольствие, может, будет немалое, только я страшно боюсь, что при первом испытании мне станет очень и очень больно».

Фоби при этих словах чуть не пополам сложилась от смеха, хотя я-то ждала от нее серьезного ответа на свои опасения и дурные предчувствия. Всего и смогла она мне сказать, что лично ей не приходилось слышать, чтобы в то самое место когда-нибудь была бы нанесена смертельная рана оружием, так меня испугавшим; что

она знавала девиц и помладше и сложением поменьше, чем я, которые пережили эту операцию. Самое худшее, добавила она, что может случиться, это боль и немало убийственной тягости, что до размеров, то сама природа позаботилась об огромном разнообразии, а тут еще беременности да частые растяжения безжалостными ихними механизмами... однако в определенном возрасте и при определенном сложении тела даже самые искушенные в таких делах не могут точно отличить девушку от женщины, даже если не применяются никакие хитрости и все обстоит естественным путем. Тут Фоби сказала, что, раз уж случаю было угодно представить мне один вид, она познакомит меня и с другим, который порадует мой взор своей утонченностью и во многом избавит от страхов перед воображаемыми несоответствиями.

Знаю ли я *Полли Филипс*, спросила она. «Разумеется, – ответила я, – такая беленькая, она была очень заботлива ко мне, когда я болела, вы еще говорили, что она в доме всего два месяца». – «Она самая, – подтвердила Фоби. – Знай же, что ее содержит один молодой торговец из Генуи, которого дядя, жутко богатый и любящий племянника, как сына, отправил вместе со своим приятелем, английским торговцем, под предлогом, что надо навести порядок в некоторых расчетах, а на самом-то деле просто, чтобы ублажить страсть молодого человека к путешествиям, дать ему на мир поглядеть. Раз в компании он встретил эту Полли, она ему приглянулась, и он убедил ее, что будет лучше, если она станет принадлежать ему всецело. Он приходит сюда к ней два-три раза в неделю, она принимает его на маленькой веранде, где он предается наслаждениям по своему, весьма своеобразному вкусу, а может, и в

соответствии с причудами его родной страны. Больше я ничего не скажу: завтра его день, и ты увидишь, что происходит между ними, там есть рядом одно местечко, о котором знают только твоя хозяйка да я».

Можете не сомневаться: при том направлении, в каком работало мое сознание, у меня и мысли не возникло отвергнуть ее предложение, напротив, я из всех Сил радовалась предстоящему развлечению.

На следующий день в пять часов вечера Фоби, верная своему слову, зашла в комнату, где я сидела одна, и велела следовать за ней.

Очень тихо пробрались мы на черный ход и спустились в чулан, где хранилась старая мебель и ящики с вином. Фоби втощила меня туда и закрыла за нами двери. В чулане было темно, свет пробивался лишь через щель в перегородке между ним и верандой, где должно было развернуться действие. Сидя на низких ящиках, мы могли свободно и отчетливо видеть все действующие лица (сами оставаясь невидными) – стоило лишь припасть глазами к щели в перегородке.

Первым я увидела молодого джентльмена, который сидел ко мне спиной и рассматривал какую-то картину. Полли еще не было, но не прошло и минуты, как дверь отворилась и вошла она. Звук открывшейся двери заставил джентльмена обернуться, и он тут же бросился навстречу девушке, не скрывая своей радости и удовольствия.

Поприветствовав, он отвел ее к кушетке (стоящей прямо против нас), где они и расположились, молодой генуэзец подал ей на подносе бокал вина с неаполитанским печеньем. Он задал несколько вопросов на ломаном английском языке, они обменялись

поцелуями, после чего он расстегнулся и разделся до сорочки.

Это словно бы послужило для обоих сигналом сбросить с себя всю одежду, чему летняя жара весьма способствовала. Полли занялась булавками и заколками, а поскольку корсета на ней не было и нечего было расшнуровывать (она была в подвязках), то с дружеской помощью кавалера она быстро разделась, оставив на себе лишь рубашку. Не желая отставать, он тут же развязал пояс бриджей и ленты под коленками, отчего штаны сразу спали с его ног, отстегнул он и воротник у сорочки. Затем, с воодушевлением поцеловав Полли, он снял с нее рубашку, к чему девушка, я думаю, была приучена и привычна, если она и вспыхнула, то куда меньше, чем я при виде ее оставшейся теперь совершенно голой, как раз такой, какой она вышла из рук чистой природы; черные волосы ее рассыпались по ослепительно белой шее и плечам, щеки заалели, как маков цвет, румянец постепенно сходил на нет и становился подобен сверкающему снегу – таково было смешение красок на блестящей ее коже.

Девушке было не больше восемнадцати лет. Черты лица у нее были правильными и приятными, фигура – превосходная, и уж, конечно же, я не могла не позавидовать ее созревшей обворожительной груди, полушария которой так прелестно были наполнены плотью, вдобавок так округлы и так туги, что держались сами по себе безо всякой поддержки; сосцы смотрели в разные стороны, обозначая приятное разделение грудей, ниже которых раскинулось изумительное пространство живота, завершавшееся прожилкой или расселиной едва различимой, которую целомудрие, казалось, упрятывало внизу, в убежище между двумя полноватыми бедрами,

вьющиеся волосы покрывали это место очаровательным черным собольим мехом, роскошнее которого не было во всем свете; говоря коротко, девушка явно принадлежала к тем грациям, по ком мечтают художники, разыскивающие образцы женской красоты во всей ее естественной гордости и великолепии наготы.

Молодой итальянец (все еще в сорочке) стоял, очарованный видом прелестей, которые способны были воспламенить и умирающего отшельника, взор его жадно впитывал всю эту красоту, которую она выставляла в разных позах, по его усмотрению. Руки его тоже не миновали высоких радостей своих, они рыскали, охотясь за наслаждением, по всему телу, ни единого его дюйма не пропуская, столь умелые в способах утонченного удовлетворения.

Между тем стало заметно, как выпуклость впереди его сорочки резко вздулась, давая представление о том, что творилось за опущенным занавесом; вскоре он был поднят – вместе со снятой через голову сорочкой. Теперь, если иметь в виду степень наготы, у любовников не могло быть претензий друг к другу.

Молодому джентльмену, считала Фоби, было года двадцать два. Высок и крепок. Тело его было ладно скроено и мощно сшито – широкие плечи, обширная грудь. Лицо ничем особым не отличалось, если бы не *римский* нос, глаза, большие, черные и блестящие, и румянец на щеках, тем более привлекательный, что кожа у генуэзца была смуглой, однако вовсе не того мышино-коричневого цвета, какой убивает самое представление о свежести, а того ясного оливкового оттенка, блеск которого светится жизнью, который ослепляет, возможно, меньше, чем бледность, зато, уж

если радуется, то радуется куда больше. Волосы его, слишком короткие, чтобы их перевязывать, спадали не ниже шеи крупными легкими кольцами, побеги их видны были и вокруг сосков – украшение груди, свидетельствующее о силе и мужественности. Мужская прелесть, казалось, вырывалась из густых зарослей вьющихся волос, которые покрыли самое основание, разошлись по бедрам и поднялись по животу до самого пупка; вид у нее был крепкий и прямой, но размеры меня прямо-таки испугали, до того я прониклась сочувствием к той нежной малости, что уже открылась моему взору, ибо, стянув с себя сорочку, молодой человек мягко уложил девушку на кушетку, которая благодарно приняла на себя желанное падение. Ноги девушки были разведены на всю ширину и открывали приметку ее пола, рубец плоти ярко-красный по центру, губы которого, изнутри пунцовые, обозначали на сладостной миниатюре маленькую рубиновую линию; даже *Гвидо* с его чувством колорита не смог бы выразить в красках подобную ей жизнь и утонченную мягкость.

Тут Фоби легонько подтолкнула меня и шепотом спросила, не думаю ли я, что моя девственная малость намного меньше? Только внимание мое было слишком поглощено, слишком занято тем, что происходило перед глазами моими, чтобы я способна была дать хоть какой-нибудь ответ.

К этому времени молодой джентльмен изменил положение Полли, теперь она лежала не поперек, а вдоль кушетки, но ноги ее по-прежнему были так же широко разведены и цель все так же ясно различима. Он опустился на колени между ее ног, и нам сбоку был виден его неистово напряженный механизм, грозивший прямо-таки рассечь, не меньше, нежную свою жертву,

которая лежала улыбаясь занесенному над ней удару, и не думала от него уклоняться. Сам генуэзец удовлетворенно оглядел свое оружие и (после предварительных выпадов, которым Полли как могла помогла) твердой рукой направил его в распахнутую полость, погрузив почти наполовину. Тут случилась заминка, как я полагаю, из-за непомерной толщины тарана, юноша вытащил его, смочил слюной, после чего вновь ввел, с легкостью продвинув до самого основания, вызвав у Полли судорожный вздох, только не от боли, а от чего-то иного. Она поднималась навстречу его выпадам – вначале осторожным и неторопливым, но вскоре темп стал таким стремительным, что выдерживать какой бы то ни было порядок или меру стало невозможно: движения стали слишком быстры, жгучие поцелуи сочлились страстью, никакому естеству не под силу выдерживать такой пыл, любовники наши казались не в себе, очи их метали огонь. «О!.. О-о!.. Мне не вынести... Это слишком... Погибель моя... Нет больше сил...» – такими словами выражала Полли свой экстаз. Его восторги были более сдержанны, но вот и у него дыхание стало перебиваться невнятным бормотанием и вздохами, от которых заходило сердце; наконец завершающий удар, будто сила неведомая подняла его тело над ней – и впало оно в томную неподвижность каждым членом своим. Все говорило о том, что момент конца для него настал, видно было, что и она делит его с ним: раскинув скованные страстью руки, закрыв глаза и бурно дыша, Полли, казалось, уносилась в небытие в агонии блаженства.

Закончив, он оставил ее, она же по-прежнему лежала – покойная, недвижимая, бездыханная и, судя по всему, удовлетворенная. Ей не доставало сил сидеть, и он

вновь положил ее поперек кушетки, меж раздвинутыми ногами девушки я заметила что-то белое, похожее на пену, свисающую над краями недавно отверстой раны, горевшей теперь темно-красным огнем. Через некоторое время Полли поднялась, обвила возлюбленного руками: по виду ее никак нельзя было сказать, что испытание, им устроенное, не доставило ей восторга, во всяком случае, о том красноречиво свидетельствовала нежность, с какой она смотрела на него и приникла к нему.

Что до меня... Не стану притворяться, будто смогу поведать о том, что всем телом своим чувствовала во время этой сцены. Только с той минуты – прощайте всяческие страхи перед тем, что уготовано мне мужчиной, страхи неведомого обратились теперь в такие жгучие желания, такие неодолимые стремления, что я готова была первого попавшегося из иного пола схватить за рукав и предложить ему безделицу, потеря которой, как я отныне понимала, обернется обретением для меня и которую сама я долго уберечь не смогу.

Для Фоби с ее опытом видеть подобное было не в новинку, но и она была тронута пылкостью сцены. Осторожно, чтобы не услышали, она сделала мне знак подняться и поставила меня, покорную любому ее сигналу, вплотную к двери. Ни присесть, ни прилечь тут места не было, так что поставив меня так, что я спиной упиралась в дверь, Фоби подняла мне юбки и проворными пальцами своими прошлась по местам, где ныне жар и зуд стали столь нестерпимо жгучими, что мне плохо делалось и я едва не умирала от желания; простое касание ее пальца к этому средоточию пылкой страсти произвело то же действие, что и вспышка огня в топке двигателя; опытной и чуткой рукой своей Фоби мгновенно почувствовала, до какой степени я распалена

и размягчена тем, что я – с ее помощью – увидела. Удовлетворенная своим успехом и тем, что ей все же удалось несколько сбить жар, который иначе не позволил бы мне полюбоваться на продолжение свидания нашей любовной парочки, она вновь подвела меня к щели, столь благосклонной к нашему любопытству.

Лишь несколько мгновений мы были оторваны от нее, и все же к нашему возвращению все было готово к тому, чтобы любовники возобновили свой поединок.

Молодой чужестранец сидел на кушетке лицом к нам, Полли пристроилась у него на коленях, обняв руками за шею; завораживающая белизна ее кожи прелестно оттеняла гладкой оливковой смуглостью возлюбленного.

Кто сумел бы вести счет бесчисленным жгучим поцелуям, которыми они обменивались? И даже не обменивались: я часто замечала, как уста их становились единым целым, как заполнялись они бархатными касаниями двух языков, как радовались они такому взаимопроникновению, доставлявшему величайшее удовольствие и наслаждение.

Между тем красношлемый воитель его, что, казалось, сбежал с поля сражения, расслабленный и сконфуженный, уже оправился, вновь предстал во всеоружии, вскинулся и вознесся у Полли между ног. Да и она не просто дожидалась, а приводила его в хорошее настроение своими поглаживаниями, вот даже, склонив голову, прихватила его бархатистый кончик губами совсем не того рта, какому он предназначался природой: не знаю, делала она это для собственного какого-то особенного удовольствия или для того, чтобы придать ему побольше бойкости и облегчить проникновение,

только, судя по заблестевшим глазам молодого джентльмена и воспламененному страстью выражению его лица, такая ласка доставила ему огромное наслаждение. Он поднялся, держа Полли на руках, и, обнимая, что-то тихо сказал ей, так тихо, что я не расслышала, затем поднес ее к краю кушетки, доставляя себе удовольствие тем, что шлепал ее по бедрам и ягодицам тугой своей плотью с размаху, что не причиняло никакой боли, видно было, что ей по нутру такие шалости, как и ему.

Вообразите, однако, мое удивление, когда этот молодой ленивец улегся на спину и бережно потянул на себя Полли, которая, поддаваясь его настроению, уселась, как в седло, и, руками направляя незрячего любимца своего куда надо, двинулась прямо на пламенеющий кончик этого оружия утех, каковое сама себе вонзила и всей тяжестью тела заскользила по нему до самого поросшего волосами основания. Замерев на несколько мгновений в сладостном положении наездницы, она позволила ему поиграть своей распалюющей страстью грудью, а затем наклонилась, чтобы осыпать поцелуями лицо и шею начавшего бег иноходца. Очень скоро наслаждение чувственной скачки пришло к ним дикие движения – и поднялась настоящая буря, когда подъем наездницы словно вызывался идущей снизу силой. Он обнял ее руками и всем телом помогал этим перевернутым выпадам, когда наковальня наносила удары по молоту, стремясь к кульминации, которой – по всем признакам – они достигли одновременно, мы всякий раз ясно различали, в какой точке слитного блаженства они находятся.

Видеть это я была больше не в силах, второй акт пьесы так воспламенил меня и так расслабил, что,

изнывая от невыносимого безумия, я обхватила Фоби, вцепилась в нее, как будто от нее могло исходить мое облегчение. Та была довольна состоянием, в какое (она это чувствовала) я впала, и все же сострадательно жалела меня, а потому подвела к двери и тихонечко ее открыла. Обе мы незамеченными проскользнули в мою комнату, где, не в силах более от возбуждения держаться на ногах, я тут же рухнула на кровать и замерла, словно убаюканная на каких-то волнах и – одновременно – стыдясь того, что чувствовала.

Фоби прилегла рядом и игриво спросила, как теперь, когда я повидала врага своего и полностью его оценила, все ли я боюсь его или, быть может, рискнула бы поближе сойтись с ним в поединке? На все на это от меня – ни словечка: задохнувшись, я едва дышала. Она же овладела моей рукой и, подвернув свои юбки, силой повлекла ее к тем местам, где – это я уже успела узнать! – не сыскать мне было собственных вождений, даже тени того, что я желала, не найти там, где ничего, кроме плоскостей или впадин, нет. В ужасной досаде своей я было убрала руку, но испугалась разочаровать Фоби.

Безвольно отданная в полное ее распоряжение, рука моя использовалась так, как Фоби находила нужным, вызывая в себе скорее призрак, чем какое бы то ни было удовольствие во плоти. Что до меня, то я уже изнывала по более плотной пище и сама себе давала слово, что не стану долго играть в эти благоглупости между женщиной и женщиной, даже если миссис Браун вскорости не утолит меня тем, чего отныне требовал мой аппетит. Короче, все во мне истомилось без моего лорда Б., приезд которого ожидался со дня на день. Не его я

ждала, помимо естественного интереса или сильного вожеления, очевидно, сама любовь овладела мною.

Два дня спустя после сцены, подсмотренной из чулана, я поднялась около шести утра и, оставив напарницу свою крепко спящей, тихо сошла вниз с единственной целью немного подышать свежим воздухом в маленьком садике, куда имелся выход из салона, от которого меня всегда держали подальше, когда в дом наезжали веселые компании. Теперь же все было охвачено сном и тишиной.

Открыв дверь салона, я удивилась, увидев у почти погасшего камина в кресле самой хозяйки молодого джентльмена – вытянув скрещенные ноги, он крепко спал, брошенный своими беззаботными собутыльниками, которые упоили его и – каждый со своей любовницей – разъехались, товарища же оставили на милость нашей матроны, зная, что та не посмеет побеспокоить его или выпроводить в таком состоянии в час ночи; кроватей же свободных в доме, скорее всего, не было ни одной. Стол все еще украшали посуда с пуншем и стаканы, разбросанные в обычном беспорядке, какой случается после хорошей попойки.

Я подошла поближе взглянуть на спящего и тут – отец небесный! что это был за вид! Нет – ни годы прошедшие, ни извивы судьбы не смогли изгладить из памяти то мгновенное, будто молнией меня пронзившее, впечатление от увиденного мною... Да! Драгоценный предмет самой первой страсти моей, я вовеки храню воспоминание о первом твоём появлении перед очарованными глазами моими... и сейчас вот я обращаюсь к тебе, ты – рядом, я и сейчас вижу тебя!

Представьте себе, Мадам, светлого юношу лет восемнадцати-девятнадцати, голова которого склонилась набок, а взлохмаченные волосы отбрасывали неровные тени на лицо, весь цвет юности и все мужские добродетели которого словно сговорились приковать мой взор и сердце мое. Даже некоторая вялость и бледность этого лица, на котором после излишеств ночи лилия временно одолела розу, придавали невыразимую прелесть чертам, краше каких не сыскать; глаза его, смеженные сном, красиво осеняли длинные ресницы, а над ними... никаким карандашом не навести две эти дуги, украшающие его лоб – благородный, высокий, совершенно белый и гладкий. А вот и пара пунцовых губ, пухлых и вздувшихся, словно их только что пчела ужалила, – они будили искушение сразу же и всерьез взяться за прелестного этого соню, однако скромность и уважение, у обоих полов неотделимые от настоящего чувства, сдерживали мои порывы.

Все же, разглядывая в вырезе его расстегнутого воротника белоснежную грудь, не могла я не поддаться прелести головокружительных мечтаний, и тут же, однако, прервала их, предвидев опасность для его здоровья, которое уже становилось заботой моей жизни. Любовь, сделавшая меня застенчивой, научила быть и заботливой. Трепеща, коснувшись я своей рукой его руки и, стараясь сделать это как можно бережнее, разбудила его. Он вздрогнул, глянул поначалу несколько диковато и произнес голосом, звучная гармония которого проникла мне в самое сердце: «Дитя мое, скажи, будь добра, который теперь час?». Я ответила, прибавив, что ему грозит простуда, если он и дальше станет спать с открытой грудью на утренней прохладе. Он поблагодарил меня в ответ с изяществом, какое во всем

подходило к его чертам и глазам, уже широко открытым и не без охоты рассматривавшим меня; искры сверкавшего в его взоре огня падали мне прямо на сердце.

Наверное, выпив слишком много еще до того, как отправиться со своими приятелями, он был неспособен участвовать в сражениях до конца и увенчать ночь добычей-любовницей, поэтому, увидев меня, полуодетую, он тут же решил, что я одна из прелестниц дома, которую послали, чтобы он смог наверстать упущенное. Только, хотя как раз это он себе и вообразил, чего и не думал скрывать, не колеблясь скажу: фигура ли моя показалась ему не совсем обычной, в крови ли у него была вежливость, но обращение его ко мне было весьма далеко от грубого, правда, поддавшись нраву, обычному для завсегдатаев дома, он поцеловал меня – первый в моей жизни поцелуй, которым усладил меня мужчина, – и спросил, не окажу ли я ему честь своею компанией, уверив, что все сделает, лишь бы я о том не пожалела. Но даже если бы любовь, этот мастер обращать вожделение в изящество, и не противилась бы такой поспешности, одного страха вызвать недовольство в доме вполне достало бы, чтобы воспрепятствовать моей уступчивости.

Тогда я ответила ему тоном, избранным самой любовью, что по причине, объяснить которую у меня нет времени, я не могу с ним остаться, что вообще, возможно, больше никогда его не увижу – печальный вздох вырвался при этих словах из самой глубины души моей. Покровитель мой позже признался, что был поражен моей внешностью, что я понравилась ему настолько, насколько только могла понравиться девушка того образа жизни, какой он во мне предполагал,

поэтому он тут же спросил, не соглашусь ли я перейти к нему, если он освободит меня от обязательств, какие, по его мнению, у меня были перед домом. Поспешное, внезапное, необдуманное и даже опасное предложение! да еще исходившее от незнакомца, а незнакомец – совершенное дитя... только любовь, меня поразившая, окрасила его голос таким очарованием, что не стало сил противиться, не нашлось слов возразить. В тот момент я могла бы умереть за него – сами посудите, могла ли я отвергнуть предложение жить с ним! И сердце мое, бешено заколотившееся в ответ предложению, продиктовало мой ответ, лишь на минуту замешкавшись: я принимаю предложение юного джентльмена и убегу к нему, как только он того захочет, я отдаю себя в полное его распоряжение, будь оно хорошо, будь оно плохо. С тех пор я часто думала: такая величайшая легкость не покорила и не отвратила его, не обесценила меня в его глазах; судьбе было так угодно, что, страшась всяких напастей столичных, он уже некоторое время подыскивал себе содержанку, когда моя персона затронула его воображение. Одно из чудес, творимых любовью: мы мгновенно пришли к согласию и скрепили его поцелуями, которыми – в надежде на большее – ему и пришлось довольствоваться.

Никогда, наверное, чудесная юность не воплощала себя в облике более подходящем для того, чтобы вскружить девушке голову и заставить ее, забыв про все и всяческие последствия, следовать за кавалером. Ведь помимо всех совершенств мужской красоты были в его облике опрятность, благородство, какое-то изящество в посадке и повороте головы, еще больше выделявшие его в толпе; живые глаза его были полны мысли и понимания, взор был приятен и в то же время

повелителен; цвет лица превосходил распустившуюся бутоном любви розу, а неизбывный румянец спасал от примет разгульной жизни или от рыхловатости и желтизны, обычных у таких слишком светлых, как он.

Наш маленький план был таков: на следующее утро, часов в семь, я должна выйти из дома (это я могла обещать с уверенностью, поскольку знала, где найти ключ от входной двери), а он будет ждать меня в конце улицы в карете, чтобы сразу умчаться; после этого он пошлет выплатить все долги за мое пребывание в доме миссис Браун, которая, насколько ему представлялось, может и не проявить желания расставаться с той, кто, на его взгляд, способна была привлекать клиентуру в дом.

Тогда я только попросила его не упоминать, что в доме ему на глаза попала такая персона, как я, причины этого обещала объяснить позже, в более подходящей и спокойной обстановке. Тут же, боясь нахлобучки из-за того, что нас могут увидеть вместе, с болью в сердце оторвала себя от него и тихонечко прокралась в свою комнату, где Фоби все еще крепко спала. Торопливо сбросив то немногое, что было на мне надето, я легла с нею рядом, охваченная смешанным чувством ликования и беспокойства, которое, возможно, легче представить, чем выразить.

Волнения из-за того, что миссис Браун прознает про мой замысел, разочарование, тоска – все исчезло во вновь вспыхнувшем пламени. Видеть его, касаться, быть рядом с ним, хотя бы и одну ночь, но с ним, с кумиром моего любящего девичьего сердца – таким представлялось мне счастье, что дороже свободы или жизни. Он может и надругаться надо мною – пусть! Он хозяин, властелин души моей; счастье, слишком

огромное счастье даже смерть принять от руки столь дорогой.

Таким рассуждениям предавалась я целый день, каждая минута которого казалась мне маленькой вечностью. Как часто обращалась я к часам! Как хотелось мне передвинуть стрелки, будто вместе с ними могла я продвинуть время! Будь обитательницы дома чуточку внимательнее, они без труда заметили бы, что со мной происходит нечто необычное, ибо нетерпение, странности проскальзывали в каждом моем движении, в каждом жесте, особенно когда за обедом был упомянут премиленький юноша, бывший тут и оставшийся завтракать. «Ах, какой красавец!.. Умереть можно, что за прелесть!.. Они за него волосья друг другу повыдергивают!..» – эти и им подобные глупости подливали, однако, масло в огонь, пламя которого сжигало меня.

Все эти рассуждения и буйство воображения за целый день имели одно доброе следствие: из-за переутомления я вполне сносно проспала до пяти часов утра, после чего встала, оделась и, терзаясь двойной пыткой страха и нетерпения, стала дожидаться назначенного часа. Наконец он настал. Драгоценный, решающий, опасный час наступил, и вот уже поддерживаемая только решимостью, взятой взаймы у любви, я сумела спуститься на цыпочках вниз: сундучок свой я оставила в комнате, чтобы не давать повода для лишней тревоги, если вдруг кто-то заметит, что я выхожу с ним из дома. Я подошла к входной двери. Ключ от нее всегда лежал на кресле возле нашей кровати – под присмотром Фоби, у которой не возникло ни малейшего подозрения в отношении моего намерения сбежать (мне и самой такое в голову не приходило всего день тому

назад), а потому она и не предпринимала никаких предосторожностей и не прятала ключ. С величайшей осторожностью и легкостью открыла я дверь: придающая смелость любовь и тут хранила меня. Оказавшись на улице, я сразу увидела своего нового ангела-хранителя, ждавшего у распахнутой двери кареты. Как добралась до него, не помню: мне чудится, будто летела по воздуху, – только в миг единый оказалась я в карете, а он рядом, обвил меня руками и приветствовал поцелуем. Кучеру было сказано, куда править, и он тронул.

Слезами все время переполнялись глаза мои, но слезами сладчайшего восторга: очутилась в объятиях этого прекрасного юноши – вот восторг, в каком купалось мое сердечко. Прошое, будущее равно утратили значение для меня. Настоящее – вот на что лишь доставало у меня жизненных сил выдержать и не лишиться сознания. Были и нежнейшие объятия, трогательнейшие уверения в любви ко мне, в том, что он никогда не позволит себе дать мне повод пожалеть об отчаянном шаге, какой я сделала, доверившись целиком его чести и щедрости. Только – увы! – не было в том никакой моей доблести, ведь всего-то поддалась я напору страсти, слишком вольному, чтобы ему противиться; то, что я сделала, я сделала потому, что не могла этого не сделать.

Мгновение спустя (ибо время для меня теперь перестало существовать) оказались мы в гостинице в Челси, гостеприимном пристанище для ищущих утех парочек, где на завтрак нам был подан шоколад.

Содержавший гостиницу бывалый весельчак, превосходно понимавший, что к чему, в жизни, завтракая с нами, лукаво и плотоядно поглядел на меня. Он

забавлял нас обоих уверениями, какая мы удачная пара – «уж мне-то поверьте!» – гостиницей его пользуются многие джентльмены и леди, но пары приятней ему видеть не доводилось... он уверен, что я розанчик свеженький... вид у меня такой деревенский, такой неиспорченный! Что ж, супруг мой счастливчик!.. Вся эта обычная для хозяев болтовня не только льстила мне, не только успокаивала, но и помогала избавиться от смущения быть рядом с моим новым повелителем, с кем – а миг такой уже приближался – я начинала опасаться оставаться наедине: у подлинной любви застенчивость появляется даже чаще, чем у девственной стыдливости.

Ослепленная любовью, я готова была умереть ради него, но, сама не знаю почему, до жути страшилась того момента, который был предметом самых жгучих моих желаний; сердце мое замирало от страха – и в то же самое время бешено билось от буйных вождлений. Такая борьба страстей, эта стычка между целомудрием и любовным томлением вновь исторгли из меня поток слез, он же принял их, как то и прежде делал, всего лишь за остатки беспокойств и озабоченности, связанных с внезапностью перемены моего положения, с тем, что я полностью отдала себя под его опеку. Думая так, он делал и говорил все соответствующим образом, чтобы лучше всего вселить в меня уверенность и спокойствие.

После завтрака *Чарльз* (драгоценное знакомое имя, которым я отныне осмелюсь называть моего *Адониса*) с многозначительной улыбкой взял меня за руку и сказал: «Пойдем, моя дорогая, я покажу тебе комнату, откуда открывается великолепный вид на парки». И, не дожидаясь ответа (чем доставил мне большое облегчение), он повлек меня в покои, полные воздуха и света, где вопрос любования какими-то там видами

отпадал сам собой, – если не считать вида на постель, которая и создавала требуемую обстановку.

Чарльз, едва задвинув задвижку на двери, подлетел, подхватил меня на руки, прижался губами к моим губам и понес меня, трепещущую, задыхающуюся, обмирающую, полную мелких страхов и нежных желаний, к кровати, где нетерпение помешало ему раздеть меня, он лишь застежки на платье распустил, корсет расшнуровал и шейный платок развязал.

Грудь моя обнажилась, вздымаясь, она позволила ему и видеть, и чувствовать тугую упругость двух возвышений, какие можно представить у девушки, не достигшей шестнадцати лет, только-только из деревни и никем еще не тронутой, даже их великолепие, белизна, форма, приятное сопротивление ласкам не могли надолго привлечь его беспокойные руки: вскоре нижние юбки и рубашка моя были подняты, и пущенные на волю руки устремились к более притягательному центру, открытому для их ласкающего вторжения. Страхи мои, однако, давали себя знать: чисто машинально я сдвинула ноги, но при первом прикосновении руки его, пробиравшейся меж ними, ноги раздвинулись сами собой и открыли путь к главной цели.

Все это время, почти вся открытая для взора его и рук, я лежала тихо и не оказывала никакого сопротивления, что убеждало его во мнении, которое еще раньше сложилось, будто мне эти занятия не в диковинку, ведь взята я была из обычного публичного дома и сама заранее ни словечка не обронила о своей девственности. Да если бы я и сказала такое, то он скорее всего решил бы, что я его за глупца принимаю, который способен проглотить подобную небылицу, чем

поверил бы в то, что я до сей поры обладаю драгоценным сокровищем, потаенной жилкой, какую так истово разыскивают мужчины, а найдя, никогда не разрабатывают, но – рушат и уничтожают.

Разгоряченный, он был уже не в силах терпеть любые задержки, потому быстро расстегнулся и извлек инструмент, эту машину любовных атак и, нимало не беспокоясь, направил ее туда, где, как он полагал, была уже пробита брешь... И вот! вот! впервые ощутила я, как нечто твердое и жесткое, словно рог, кость или хрящ, вторглось в нежные, но неподатливые мои органы. Сами вообразите его удивление, когда после нескольких, вовсе не слабых, движений, вызвавших во мне ужаснейшую боль, он совсем-совсем не продвинулся.

Я пожаловалась – мягко, робко, но пожаловалась, – что не смогу этого вынести... он сделал мне больно, и как больно!.. Но и тут он все-таки прежде всего подумал, что виной всему – мой юный возраст и величина его инструмента (очень немногие из мужчин могли бы потягаться с ним в размерах): возможно, мне просто не попадались такие же смелые, сильные и напористые в этих делах, как он. Мысль о том, что цветок моей невинности еще не сорван, не приходила ему в голову, он и помыслить не мог, что нужно тратить время и слова на выяснение, так это или не так.

Снова он попытался – и снова не получилось: проникнуть не удалось, мне же сделалось больнее прежнего, и лишь беспредельная любовь помогла мне выдержать беспредельную эту боль почти без стона. Наконец после нескольких безуспешных попыток он, тяжело дыша, улегся рядом, поцелуями своими осушил мои слезы и мягко спросил, что случилось, почему

столько страданий и жалоб? Может, с другими у меня получалось лучше, чем с ним? В ответе моем была простота, призванная убедить: он – первый мужчина, который так обращается со мной. Правда могущественна, и не всегда мы не верим тому, чего страстно жаждем.

Чарльз, кого собственные ощущения уже достаточно подготовили, кто не мог посчитать мои претензии на невинность совсем уж несуразными и необычными, успокоил меня поцелуями, умолял – во имя любви – потерпеть немного, уверял в готовности относиться к боли моей так же бережно, как к своей.

Увы! этого было достаточно: я давно готова была доставить ему любое удовольствие, какой бы болью для меня оно не обернулось.

На сей раз он начал все по-иному: прежде всего, подложил одну подушку под меня, теперь высота была более подходящей для попадания в самое яблочко; затем еще одну подушку подсунул мне под голову, так стало удобнее; потом развел мои ноги, встал между ними так, чтобы они легли ему на бока, и направил конец своего тарана в самую щель, открывавшую желанный проход: она была так мала, что с трудом можно было понять, что он попал как раз туда, куда хотел. Он посмотрел, потрогал, удостоверился и – неистово двинулся вперед, загоняя изумительную жесткость свою словно клин, расщепивший соединение нежных частей и позволивший проникнуть внутрь по крайней мере концу рвущего плоть оружия; почувствовав это, он усилил нажим, нанес точный, выверенный прямой удар с силой, давшей возможность проникнуть еще глубже. Меня же в этот момент пронзила невыносимая боль там, где стороны мягкого прохода были раздвинуты жестким и толстым

тараном, от криков меня удерживало лишь опасение взбудоражить всю гостиницу, я закусила конец юбки, завернувшейся к самому лицу, и в агонии терзала ткань зубами. В конце концов мягкие ткани поддались жесткому вторжению, проникновение продолжилось, и тут, возбужденный до крайности, уже не владеющий собой, Чарльз в каком-то естественном бешенстве всю жгучую ярость перегретой своей машины вложил в дикий, безжалостный выпад, и обагренный кровью девственницы меч вошел в меня, все сметая на своем пути, по самую рукоятку... Вот! вот тут и покинула меня вся моя сдержанность: боль была так остра, что я закричала и лишилась чувств. Позже, когда извержение его завершилось и оружие было убрано, он рассказал мне, как струйки крови, вытекавшей из раны разорванного прохода, заливали мне бедра.

Придя в себя, я обнаружила, что лежу раздетая в постели, в объятиях милого неумолимого погубителя моей девственности, а сам он, полный сочувствия, склонился надо мной, держа в руках бокал с подкрепляющим, что, как и все, исходящее от дорогого мне причинителя стольких болей, я отвергнуть не смогла. Глаза мои, однако, наполнились слезами, я обратила к нему свой томный взгляд, где читался немой укор в жестокости и невысказанный вопрос, в том ли состоят блага любви? После полного своего триумфа над невинностью там, где он и не чаял найти ее, Чарльз проникся ко мне глубочайшим чувством и нежностью искупал боль, причиненную мне тогда, когда сам он взмывал к вершинам наслаждения. Мягкостью обхождения, теплотой, лаской убаюкивал и успокаивал он меня в моих слабых жалобах, дышавших больше любовью, чем обидой, ибо не так много времени

понадобилось, чтобы утопить все мои страдания в море удовольствия от того, что я вижу его, что принадлежу ему – ему, ставшему отныне абсолютным властителем моего счастья, если выразить это одним словом, моей судьбы.

Все же боль слишком чувствовалась, а рана слишком кровоточила, чтобы благородный Чарльз решился подвергнуть мое терпение еще одному испытанию. Я ни пошевелиться не могла, ни ходить, тогда он велел подать обед к самому краю кровати, так что мне ничего другого не оставалось, как приняться за крылышко дичи и выпить два-три бокала вина – ведь прислуживал и уговаривал меня выпить и поесть не кто иной, как мой возлюбленный, которому любовь передала непререкаемую власть надо мною.

После обеда, когда все, кроме вина, было убрано, Чарльз весьма бесстыдно испросил позволения – а согласие он мог прочесть во взгляде моем – лечь со мной в постель, тут же принялся раздеваться, на что я не могла не смотреть со странным чувством страха и радости одновременно.

И вот он уже в постели со мной – впервые, в самый разгар дня, – вот он приподнимает свою и мою рубашки, прижимает свое пылающее тело к моему... о! радость непомерная! о! нечеловеческий восторг! Где та боль, что устоит под напором такого наслаждения? Я уже не чувствовала страданий из-за своей раны внизу, я обвилась вокруг него виноградной лозой так, будто боялась, что хоть частичка его тела останется без моих прикосновений, я отвечала на его страстные объятия и поцелуи с трепетом и пылом, свойственным только настоящей любви, с какой не сравниться никакому

вождедению. Да, даже сейчас, когда тирания страстей во мне давно угасла и в жилах моих уже не огонь, а холодное успокоение обычного потока, воспоминания об этих самых волнующих минутах моей юности все еще радуют и ободряют меня. Впрочем, позвольте я продолжу. Очаровавший меня юноша и я слились теперь тело к телу полностью, каждой складочкой, каждым возвышением, каждым углублением; не в силах сдерживать буйство вернувшихся желаний, он двинул свою армию вперед, мягко раздвинул мои ноги своими, запечатал уста мои поцелуями, сочившимися огнем, снова изготовил таран и снова пустил его в ход, толчками прокладывая путь в порванных мягких складках, которые отзывались на новое вторжение страданиями меньшими, чем тогда, когда был сделан первый прорыв. Я сдерживала крик и терпела все с пассивной стойкостью героини. Вскоре движения его убыстрились, щеки запылали пунцовым румянцем, глаза закатились в жарком пароксизме, наконец, прерывистое дыхание и конвульсии засвидетельствовали приближение того наивысшего наслаждения, которое я из-за слишком великой боли разделить с ним пока не могла.

Только несколько раз испытав все это и притупив как следует ощущение страданий, обрела я способность чувствовать щекощущий поток успокоительных сладостей, что вызывал во мне восхитительный отклик и умиротворял разыгравшуюся мою чувственность – к избытку услады пришла от избытка боли. Когда же свидания наши стали следовать одно за другим и я к ним привыкла, то тогда ощутила я воистину несравненное удовольствие, наслаждение из наслаждений, когда горячий стремительный поток проходится по всем зачарованным внутренностям... благодатный поток! какое

упоение! какой восторг! невыносимое, неодолимое наслаждение это даровано природой, без сомнения, для того, чтобы дать облегчение, почувствовать восхитительное мгновение таяния внутри, о приближении которого предупреждают милый бред и сладостный трепет в миг истечения струящейся неги, в которой тонет само наслаждение.

Как часто, когда яростная путаница моих страстей смывалась упоительным потоком, в томных размышлениях задавала я себе спокойный вопрос: дарует ли природа всем своим созданиям такое же счастье, как и мне? Или: чего стоят все эти страхи последствий в сравнении с радостями одной только ночи, проведенной с таким, недоступным пониманию моих глаз и сердца, очаровательным, любящим, несравненным юношей?

В непрестанном круговороте любовных восторгов, поцелуев, воркования, забав и всякого рода услад провели мы целый день до самого ужина. Наконец подали ужин, но прежде Чарльз, не могу понять зачем, накинул на себя одежду, уселся рядом с кроватью, устроил из постели и простыни стол со скатертью, который сам накрыл и сам за ним прислуживал. Ел он с прекрасным аппетитом и, казалось, радовался, видя, как ем я. Судьба моя меня обвораживала, я так увлеченно сравнивала восторги, в которых ныне купалась, со скукой и пресностью всей прежней моей жизни, что считала все это весьма дешевой платой за все свои утраты или риск того, что восторги окажутся недолговечными. Настоящее, сиюминутное полностью заполнило мое сознание, до самых его укромных уголков.

В ту ночь мы легли вместе и после того, как вновь вкусили от благ удовольствия, самой природою, уставшей и удовлетворенной, были преданы в руки сна – руки возлюбленного моего обвивали меня, осознание чего сделало сон еще более сладким.

Поздно утром я пробудилась первой и, едва дыша от опасения нарушить его покой, смотрела, как, бережно высвободив меня из своих рук, возлюбленный мой крепко спал. Мой чепчик, волосы, рубашка – все на мне было в беспорядке от неистовств, мною испытанных, так что я воспользовалась случаем и привела все в надлежащий порядок – почти не отрывая восторженного взгляда от спящего юноши, чувствуя, как уходит вся боль, какую он мне причинил, и безмолвно признавая, что наслаждение с лихвой заплатило за все мои страдания.

День занялся. Я сидела в постели, все белье на которой было скомкано, скручено или было сброшено из-за неистовства наших движений да знойной духоты. Не могла я не поддаться искушению, что влекло меня так неукротимо: в этот светлый миг радовала я взор свой созерцанием всех юношеских красот, которыми уже успела насладиться и которые теперь были почти полностью обнажены передо мной; даже то, что скрывала в жгут свернувшаяся рубашка, рисовалось в моем воображении так же ясно, как и остальное. Влюбленная по уши, я просто парила над ним! Мне мало было двух глаз, какими я впитывала красу всех его обнаженных прелестей, мне нужно было по крайней мере сто глаз, чтобы досыта усладить свой взор.

О! если бы я могла обрисовать его фигуру такой, какой вижу ее даже сейчас – а она до сей поры не

покидает моего воображения! – в полный рост, само совершенство мужское во всей своей красе. Представьте себе лицо без единого изъяна, оттененное первоцветом и весенней свежестью возраста, придающего красоту любому полу, лицо, где лишь над верхней губой пролегла тень от едва начавшего пробиваться первого пушка.

Двойные рубины пухлых губ его разошлись и, казалось, выдыхали воздух приятней и чище, чем тот, что вдыхали. Ах! чего только мне стоило удержаться от такого желанного поцелуя!

Прекрасная, славно выточенная шея, украшенная сзади с обеих сторон кольцами естественно вьющихся волос, соединяла голову с телом совершенной формы и крепко сбитым, сила и мужская мощь его внешне скрывались и смягчались нежностью цвета лица, изяществом черт, гладкостью кожи и округлостью плоти.

На белоснежном пространстве по-мужски широкой груди пунцовые соски казались бутонами роз, готовыми вот-вот лопнуть.

Даже сорочка не могла скрыть от меня соразмеренность и завершенность его форм там, где талия плавно переходила в чресла и уклон сменялся крутым возвышением боков, где холеная, гладкая и ослепительно белая кожа блестела, обтягивая твердые округлости спелой плоти; при легчайшем нажиме она подергивалась рябью, но стоило попытаться нажать посильнее, как пальцы начинали скользить, словно по поверхности тщательно отполированной слоновой кости.

Бедра его, превосходно вылепленные, округлые в наливе молодости и силы, постепенно сужающиеся к коленям, казались двумя столпами, достойными того тела, какое они поддерживали и внизу которого

находился таран, яростно вломившийся и почти сокрушивший те мягкие мои части, что еще не переставали отзываться болью на эту ярость. Но посмотрите на него теперь! Обессиленно упавший, откинувши полуприкрытую пунцовую головку на поверхность бедра, умиротворенный, податливый – ничто в его облике не говорило о способности сотворить зло и жестокость, им причиненные. Роскошная поросль мягких в колечки свившихся волос окружала его основание, оттеняя его белизну; покрытый узором вен податливый ствол, словно ужавшись, съежившись, сплющившись, обратился в истомленного рыхлого толстячка, поддерживаемого меж бедер своим шарообразным придатком, этим волшебным мешочком сокровищ сладострастной природы, который, казалось, вобрал в себя все морщинки и все складки великолепного, молодого, без изъянов тела. Совершенной композиции картина, привлекательнее и трогательнее которой у природы нет. Она, конечно же, бесконечно превосходит все эти обнаженные тела, что изображаются художниками в живописи, в скульптуре и в произведениях любого из искусств, которые покупаются за бешеные деньги; так уж получается, что превосходство и величественность того, что можно увидеть в реальной жизни, мало кем осознается, разве что теми немногими, кого природа наделила пылом воображения и кто в суждениях своих верен той истине, что истоки, первоосновы красоты, непревзойденные творения самой природы превыше всех своих отражений в искусстве и что, как бы ни посягало богатство, оно не в силах заплатить за эти творения сполна.

Всему, впрочем, приходит конец. Одно движение юного ангела в размягченности уже уходящего сна – и

все сокровища были скрыты от моих глаз оправленными рубашкой и простыню.

Тогда я легла, направив руки к той части своего тела, где виды, коими только что я любовалась, уже вызывали мятеж, силой превосходивший и боль и страдания, усмиряя его, пальцы мои сами открыли уже проторенный проход. Однако долго сравнивать там разницу между девственницей и теперь уже законченной женщиной мне не пришлось: проснулся Чарльз и, повернувшись ко мне, спросил, каково мне спалось, и, едва выслушав ответ, запечатлел на моих губах исторгающий восторг и обжигающий поцелуй, пламя которого проникло мне в сердце, а оттуда разошлось по всем-всем жилочкам, по всему телу. Тут же, словно в гордыне своей отплачивая мне за учиненный осмотр нагих его красот, он откинул простыню и поднял как мог высоко на мне рубашку – пришел его черед любоваться дарами, какими осчастливила природа меня; руки его тоже не бездействовали, сразу же прошлись по каждой частичке моего тела. Восхитительная скудность и твердость еще не созревших, но многообещающих грудей, белизна и упругость плоти – все во мне, казалось, вызывало его удовлетворение. Любопытство влекло его взглянуть на разорение, им учиненное, в центре сверхъяростного таранного удара; подложив под меня подушку, он устроил меня так, как то отвечало целям его своенравной проверки и на вид и на ощупь. Кто, скажите, может в словах выразить огонь, сверкавший в его очах и горевший на его дланях! Лишь вздохами радости и милой неразборчивостью восклицаний мог он тогда воздать мне хвалу. К тому времени орудие его вновь было твердо нацелено на меня, я смогла рассмотреть его в момент высочайшего

подъема и возбуждения. Чарльз сам ощупал его и, видимо нашел состояние удовлетворительным, с улыбкой любви и добродетели схватил он мою руку и мягко, но настойчиво поднес ее к гордости своего естества, роскошнейшему шедевру его. Слабо сопротивляясь, я не могла не ощутить то, что сжать было мне не по силам, – столп из белейшей слоновой кости, причудливо испещренный голубыми прожилками и увенчанный – при напорч откинутаю капюшоне – головкой, на котором сама жизнь играла всеми оттенками красного и алого, – никакой рог не мог быть тверже и жестче, зато и никакой бархат не мог быть столь мягок, ласков и отзывчив на прикосновение. Чарльз препроводил мою руку еще ниже, туда, где природа и наслаждение совместно устроили сладострастную свою сокровищницу, столь ловко закрепленную и подвешенную к основанию первичного их орудия и прислужника, что его смело можно было счесть заодно и казначейским распорядителем; там довелось мне через мягкую оболочку хорошо разобраться в содержимом – паре округлых шариков, которые, казалось, были созданы для игры, но упрямо не давались в руки, ускользая от любого, даже очень легкого, давления снаружи.

Появление моей слабой и теплой руки в местах особо чувствительных вызвало такой внезапный пожар страсти, что, отбросив всякие приготовления и пользуясь удобством, с каким я расположилась, Чарльз бурей обрушился туда, где я нетерпеливо ждала его, на сей раз таран свой направил он уверенно и без промаха. Тут же почувствовала я вторжение жесткости меж разведенных краев раны, отныне отверстой для жизни; малость и узость более не доставляли мне невыносимой боли, а любовнику моему создавали лишь те трудности, что

возвышали его наслаждение; ощущение, что орудие его оказалось в плотных объятиях моей нежной и пылающей плоти, словно меч, упокоившийся в ножнах, мягко его облегающих, переполняло меня наслаждением, так что у меня совершенно дух перехватило и дыхание зашло. А эти убийственные выпады! А несметные поцелуи! Каждый из них – радость неопишуемая, но и эта радость затерялась в толпе куда больших блаженств! Возбуждение и сумбур были чересчур сильными, чтобы естество могло выдержать его долго: ключи, столь возмущенные и горячо разогретые, скоро выкипели и, иссякнув, пригасили полыхавший пожар. Утехи любовные и накипь вожделения поглотили все утро и еще столько дня прихватили, что, когда пришло время накрывать на стол, пришлось накрывать его сразу и к завтраку, и к обеду.

Пока мы отдыхали, Чарльз рассказывал о себе, и каждое слово из рассказанного им было правдой. Его отец – а Чарльз был единственным ребенком – имел небольшой доход, но тратил без счета, залезая в долги, потому и сыну смог дать весьма скудное образование: никакому делу тот не был обучен, предполагалось пустить его по военной части, выкупив чин и звание, разумеется, при том условии, что удалось бы достать денег или сберечь их в процентах, однако о выполнении этих двух условий приходилось скорее мечтать, чем на то надеяться. Расточительный и недальновидный родитель обрек юношу на участь далеко не лучшую: способный и многообещающий отрок пребывал в полном ничегонеделании, к тому же папенька палец о палец не ударил, чтобы хоть намеком предостеречь сына от пороков и опасностей, подстерегающих неосведомленных и неосмотрительных в столичной жизни. Чарльз жил

дома под присмотром отца, который сам содержал любовницу. Во всем остальном, если только Чарльз не просил у него денег, отец относился к нему с добротой, в которой было больше лени, чем добра: мальчику все сходило с рук, любое его объяснение или отговорка принимались на веру, и даже когда отец порицал его, это больше походило на потворство проступку, чем на серьезную заботу о воспитании или наказание. Деньги, однако, были нужны, и нужду в них Чарльз, у которого мать умерла, удовлетворял благодаря щедрости бабушки по материнской линии, не чаявшей во внуке души. Она владела солидным годовым доходом и постоянно отдавала ненаглядному своему все сбереженное ею до последнего шиллинга – к великому огорчению его отца: того огорчало не то, что бабушка потакает капризам внука, а то, что она предпочитает Чарльза ему самому. И мы слишком скоро убедились, какой губительный оборот может принять подобная корыстная ревность, клокочущая в отцовской груди.

На щедроты любвеобильной бабушки Чарльз, тем не менее, мог содержать любовницу, столь неприятную, какой делала меня любовь моя: добрая моя судьба – а таковой я вовек и буду ее считать – свела меня с ним, как я уже о том имела случай сказать, как раз тогда, когда он присматривал себе сожительницу.

О характере его могу Вам сразу сказать одно: ровность поведения, очаровательная мягкость и обходительность свидетельствовали о том, что Чарльз рожден был для семейного счастья – заботливый, от природы вежливый и благочестивый; не было случая, чтобы он повинен был в ссоре или злобой взрывал безмятежность и спокойствие общения, его умению

соблюдать выдержку мог позавидовать каждый. Не наделенный качествами великими или блестящими, свойственными гению, теми, благодаря которым можно прогреметь на весь свет, он обладал всеми более скромными свойствами, какие признаются менее громкой, но все же доблестью в обществе: простой здравый смысл в сочетании с добродетельной скромностью и добродушием доставляли ему если не обожание, то всеобщую любовь и уважение, приносящие еще больше счастья. Признаюсь, поначалу лишь красота облика привлекала к нему мое внимание и вызывала во мне страсть, а потому не очень-то я могла тогда судить о внутренних его качествах и достоинствах, какие позже мне представился случай постичь и какие, возможно, в том легкомысленном и ветреном возрасте мало трогали бы мое сердце, не будь они заключены в обличье столь приятное для глаз моих, кто стал кумиром моих чувств. Впрочем, вернемся к нашему рассказу.

После обеда, который мы отведали посреди полного беспорядка в постели, Чарльз встал и, бурно попрощавшись, покинул меня на несколько часов. Он поехал в город, где обсудил все происшедшее с молодым хватким адвокатом, и они вместе отправились к дому благочестивой бывшей хозяйки моей, от кого я сбежала за день до этого и с кем он был намерен заключить сделку, чтобы раз и навсегда избавиться от любых ее притязаний в будущем.

Таково было намерение, однако по дороге его приятель, адвокат и рыцарь-храмовник, еще раз обдумал то, о чем ему рассказал Чарльз, и счел за лучшее придать их визиту несколько иную видимость: вместо

того, чтобы предлагать мировую, потребовать удовлетворения.

Едва успели они войти, как тут же девушки окружили знакомого им Чарльза, времени с моего побега прошло слишком мало, а они и понятия никакого не имели даже о том, что он хотя бы виделся со мной, так что ни малейшего подозрения в его причастности к моему бегству у них не явилось. Они, как умели, подлизывались к нему, спутника Чарльза скорее всего приняли за свеженькую жертву. Только храмовник вскорости поубавил им прыти, потребовав разыскать хозяйку, с которой, прибавил он прямо-таки с судейской суровостью, ему необходимо разрешить одно дело.

За мадам тотчас же послали, и, когда девушки более чем охотно покинули салон, адвокат строго спросил, знает ли она молодую особу, только прибывшую из деревни, по имени ФРЕНСИС или ФАННИ ХИЛЛ? Эта особа под предлогом найма в служанки была обманом вовлечена в ловушку; при этом адвокат описал меня настолько, насколько он мог это сделать по рассказам Чарльза.

Странно, но это так: порок трепещет на допросах у правосудия. Миссис Браун, совесть которой в отношении меня была не совсем чиста, эта всей столице известная кляча, что жилы из себя тянула, лавируя меж всяческих опасностей, какими чревато ее ремесло, не могла не встревожиться, услышав вопрос, особенно когда адвокат повел речь о мировом судье, о Ньюгейтской тюрьме, о судебной палате Олд Бэйли, о привлечении к уголовной ответственности за содержание непотребного дома, о наказании у позорного столба или вывозкой вываленной в грязи и перьях на тачке и о всяком таком прочем. Она,

решивши, вероятно, что я подала жалобу на ее дом, сделалась чрезвычайно бледной и разразилась в ответ потоком из тысячи оправданий и извинений.

Словом, если говорить коротко, джентльмены с триумфом унесли мой сундучок с вещами, который миссис Браун, не нападая на нее страх великий, могла бы и выторговать. Стремясь отвести угрозу от дома и очистить его от всех претензий, хозяйка даже пожертвовала чашу крепчайшего пунша вместе с иными, дому присущими, угощениями, каковые были предложены, но не приняты. Чарльз все это время разыгрывал из себя случайного спутника адвоката, которого он привел сюда просто потому, что знал, где дом находится; внешне он ничем не выдал, что обсуждаемый предмет его хоть сколько-нибудь интересует. И все же он получил дополнительное удовольствие, когда убедился, что все, о чем я ему рассказала, подтвердилось и что охваченная страхами сводня поостережется выведывать и расспрашивать о моей судьбе, ибо, судя по той готовности, с какой она пошла на соглашение, страхи эти были велики чрезвычайно.

Фоби, доброй менторши моей Фоби, в то время дома не было (возможно, она меня разыскивала), иначе, скорее всего, разыгранная джентльменами сценка так гладко не прошла бы.

Переговоры все же потребовали времени, которое показалось бы мне, оставленной в незнакомом доме, куда более долгим, если бы не хозяйка гостиницы, по-матерински заботливая женщина, которой Чарльз совершенно свободно меня представил. Она поднялась ко мне, мы пили чай, и беседа с ней, а точнее ее

рассказы помогли мне вполне сносно скоротать время еще и потому, что темой наших разговоров был он. Все же вечер настал, условленный час его возвращения миновал, и я не могла не впасть в тоску нетерпения и милых страхов, слетавших ко мне; их наш слабый пол ощущает тем сильнее, чем крепче мы любим.

Страдать мне пришлось недолго, и едва он появился, все страхи были забыты и все нежные укоры, что я для него приготовила, растаяли, так и не достигнув моих губ.

Я пока не вставала с постели, так как ногами могла пользоваться не иначе, как весьма уродливо, и Чарльз подлетел ко мне, подхватил на руки, поднял, заключил в свои объятия (сам попав в мои) и рассказал, перебивая свое повествование множеством сладостных поцелуев, об успехе его предприятия.

Я не могла сдержать смех, узнав, в какой страх вогнали они старую пройдоху, я и представить себе не могла в невежестве своем – да и вовсе не утраченная невинность тому способствовала – что подобное возможно. Она, очевидно, уверилась, что я сбежала под защиту какой-нибудь родни, о которой припомнила, отвратившись от того, что со мною проделывали в доме, и что оттуда-то эта жалоба и исходит, ведь, здорово рассудил Чарльз, ни один из ее соседей не видел в столь ранний час, как я убегала в карете, или, во всяком случае, не мог заметить его самого, в доме же ни у кого даже проблеска мысли или подозрения не было, что я разговаривала с ним, еще того меньше, что я была способна столь быстро сговориться с совершенно незнакомым человеком. Так случается, и не всегда мы

должны больше всего не доверять самым невероятным невероятностям.

Мы поужинали с веселостью двух молодых беззаботных созданий, охваченных единым желанием, и, поскольку я с живостью и легкостью целиком вверила Чарльзу свое будущее счастье, то ни о чем другом и помыслить не могла, как о том, чтобы и он принадлежал мне.

Он не заставил ждать себя в постели, и в эту вторую ночь, когда боль уже почти ушла, я в полной мере вкусила все прелести совершенного наслаждения: я плыла, я купалась в благодати до тех пор, пока обоих нас не сморил сон; но стоило нам пробудиться, как тут же снова обратились мы к восторгам утех.

Так, почти все время предаваясь любви и жизни, провели мы в Челси дней десять. Чарльз каждый раз находил благовидные объяснения своему отсутствию дома и не прерывал добрых отношений с любящей бабушкой, от которой постоянно получал достаточно денег, чтобы оплачивать расходы, которые он нес из-за меня; кстати, они были сущими пустяками в сравнении с тем, что он тратил на свои менее постоянные утехы такого рода.

Затем Чарльз снял для меня меблированную квартирку в доме на Д.-стрит, в Сент-Джеймсе. Две комнаты с кладовой на втором этаже обходились в полгиней в неделю и были гораздо удобнее для его частых посещений, чем гостиница, которую я покинула с огромным сожалением: она сделалась для меня бесконечно дорогой как место, где я впервые обрела моего Чарльза и где потеряла драгоценность, какую никак нельзя потерять в жизни дважды. У хозяина

причин жаловаться не было, разве что, учитывая широкую натуру Чарльза, сожалеть о том, что мы съезжаем.

Прибыв в наше новое жилище, я, помнится, нашла его миленьким, хотя и – даже за такую плату – довольно простоватым. Только ведь, даже если бы Чарльз привел меня в темницу подземную, одно его присутствие превратило бы ее в маленький *Версаль*.

Хозяйка дома, *миссис Джонс*, показавшая нам нашу квартиру, не жалела ни красок, ни языка, расписывая ее удобства – и что собственная ее служанка станет о нас заботиться... и что в доме ее квартируют самые приличные люди... и что первый этаж снимает секретарь иностранного посольства... и что я по виду очень добрая леди... При слове «леди» я так и вспыхнула от польщенного тщеславия: звучало это, согласитесь, чересчур сильно для девушки в моем положении, поскольку, хоть Чарльз предусмотрительно и переделал меня в менее кричащий и вызывающий наряд, чем тот, в каком я бежала к нему, хоть он и выдавал меня за свою жену, с кем вступил в брак тайно и кого вынужден был из-за своих друзей (старая история) прятать, я поклясться готова, что женщина эта слушала его сказки, нимало им не веря, так хорошо знала она жизнь и нравы столицы. Бессовестнее ее трудно было отыскать человека, единственная для нее забота – сдать комнаты повыгоднее, так что и полная правда ее никоим образом не смутила бы и сделку не расстроила.

Вот набросок портрета и кое-какие сведения из ее жизни – они могут Вам пригодиться, чтобы понять роль, какую ей еще предстоит сыграть в том, что касается меня.

Было ей лет сорок шесть – высокая, тощая, рыжеволосая, с лицом довольно обыкновенным, ничем не примечательным, такие попадаются повсюду, но не замечаются и о них нечего сказать. В юности была она на содержании у одного джентльмена, который, умирая, оставил ей пожизненно сорок фунтов в год, приняв во внимание дочь, которая родилась у нее от него; дочку эту в семнадцать лет мамаша продала – за цену весьма умеренную – джентльмену, который отправился за границу и забрал свое приобретение с собою, там он обращался с ней с величайшей заботливостью и даже, по слухам, тайно женился на ней, однако все время настаивал, чтобы она прервала всяческие отношения и не поддерживала никаких связей с мамашей, что в низости своей способна, будто торговка, выставить на рынок собственную плоть и кровь. Впрочем, чувства естественные, человеческие были мамаше чужды, единственная ее страсть заключалась в деньгах, потому разрыв с дочерью если и вызвал у нее осложнение, то лишь в виде огорчений из-за невозможности вытянуть из чада родного побольше подарков или иных благ. Равнодушная по самой натуре своей ко всем радостям, кроме как любыми средствами мошну набить потуже, она сделалась эдакой частной сводней – для чего, надо сказать, весьма подходила своей важной, приличной внешностью – и бралась подыскивать пару хорошо знакомым и состоятельным клиентам. Короче, ничто из того, в чем ей виделась выгода и прибыль, не проходило мимо ее рук. В городе она знала все ходы и выходы, не только сама всюду поспевая, но и постоянно собирая сведения обо всем во время своих сделок, ибо помимо сведения широкой практики, вносящей гармонию в отношения двух полов, она брала вещи в заклад, ссужала

деньги под проценты и обдeldывала – очень прибыльно – еще кое-какие тайные дела. Она арендовала дом, в котором жила, и выжимала из него все что можно, сдавая квартиры внаем. Хотя «стоила» она, самое малое, три или четыре тысячи фунтов, но не позволяла себе даже необходимого и жила исключительно на то, что ей удавалось дополнительно выжать из своих жильцов.

Когда она увидела, что за парочка поселилась под ее крышей, то сразу же, без сомнения, принялась прикидывать, как бы получить с нас побольше денег, для чего – тут она рассудила совершенно правильно – наше положение и неопытность вскоре предоставят ей все возможности.

В такое вот удобное и надежное гнездышко, в цепкие когти этой алчной гарпии и было перенесено наше обиталище. Для Вас не так уж и важно, а мне не доставит никакого удовольствия вдаваться в детали всех мелких кровожадных способов и средств, какими она пользовалась, чтобы постоянно обирать нас до нитки; Чарльз предпочитал все это сносить, чем беспокоиться о переезде, к тому же тонкости предъявляемых ею к оплате счетов едва ли могли постичь молодой господин, не ведавший никаких ограничений и понятия не имевший об экономии, и деревенская глупышка, ничего в таких делах не смыслившая.

И все же именно здесь, рядом с великолепным возлюбленным моим, провела я восхитительнейшие часы своей жизни: Чарльз был со мной, а в нем заключено было все, в чем нуждалось и чего жаждало мое любящее сердце. Он возил меня на спектакли, в оперу, на маскарады и иные всякие столичные увеселения, все это, разумеется, радовало меня, только радость умножалась

безмерно тем, что рядом со мною был он, что он мне все объяснял, возможно, находя удовольствие в естественных выражениях удивления и восторга, какие не могли не появляться у бедной селяночки при виде – в первый-то раз! – всего этого великолепия. Правду сказать, для меня всякий раз увеселения становились чувствительным подтверждением того, сколь велика власть полностью завладевшей моим сердцем единственной страсти моей, которой отдалась я душой и телом и которая не оставляла в моей жизни места ни для какого иного наслаждения, кроме любви.

Взять хотя бы мужчин, которых я видела повсюду, не замечая их нигде, – как проигрывали они в моих глазах в сравнении с моим Адонисом, полное совершенство которого ни разу не дало мне ни малейшего повода сетовать на себя за что-либо с ним связанное. Он стал моей вселенной, и все, что не было им, не значило для меня ничего.

В конечном счете любовь моя столь бурно была через край, что отогнала какое бы то ни было предположение, загасила всякую тлеющую искорку ревности: даже случайная мысль, всего лишь пытавшаяся обратиться в эту сторону, вызывала во мне такие мучения, что любовь к самой себе и ужас, что хуже смерти, навсегда оградили и избавили меня от ревности. Впрочем, не было для нее и случая; решишь я рассказать здесь, как Чарльз несколько раз ради меня пожертвовал женщинами куда более важными, чем я осмелилась бы просто на то намекнуть (принимая во внимание его внешность, не такое это уж и диво), то могла бы представить Вам полное доказательство его нерушимой верности мне; только не стали бы Вы сердиться на меня за то, что я снова раззадориваю аппетит собственного

тщеславия, которому полагалось бы уже давным-давно насытиться?

На время, когда мы были свободны от активных удовольствий, Чарльз нашел себе еще одну забаву: он решил просвещать меня – в том и настолько, куда и насколько его собственный свет проникал, – в великом множестве жизненных явлений, о каких я вследствие своей необразованности не имела совершенно никакого понятия. Ни единому слову, слетавшему с губ милого учителя моего, не давала я пропасть понапрасну, каждый слог, им произнесенный, я хранила в памяти, ко всему, что им говорилось, я относилась как к вещаниям оракула; лишь поцелуям, не могу отказать себе в удовольствии признаться, позволяла я прерывать речи, исходившие из уст, дышавших сладостью превыше арабских благовоний.

Немного времени потребовалось, чтобы успехами своими сумела я доказать, как глубоко ценю все, о чем он мне говорит: я повторяла ему почти слово в слово и, не желая, чтобы меня принимали просто за попку-попугая, показывала, как я вникаю, обдумываю, как стараюсь понять, я сопровождала уроки собственными замечаниями и задавала ему вопросы, требующие объяснений.

Я стала заметно избавляться от своего провинциального выговора, от неуклюжести в походке, осанке, манерах, умении себя держать – так велика была моя наблюдательность и так быстро я все схватывала и перенимала, так плодотворно было мое стремление с каждым днем делаться все более и более достойной его сердца.

Что касается денег, то он приносил мне все, что сам получал, только великих трудов ему стоило заставить меня хоть часть из них положить в свое бюро; то же и с одеждой: ему никак не удавалось уговорить меня принять хоть на фут материи больше, чем требовалось на то, чтобы – в угоду его вкусам – одеться поаккуратнее, ничего сверх того мне было не нужно. С превеликим удовольствием я взялась бы за любой, пусть самый тяжкий труд, пальцы себе с радостью извела бы до костей, лишь бы иметь возможность содержать его; сами посудите теперь, могла ли я даже помыслить о том, чтобы стать для него обузой. Непрактичность, отсутствие корысти во мне были так естественны, настолько следовали велениям моего сердца, что Чарльз не мог того не почувствовать: если он и не любил меня так, как я его (постоянный и единственный предмет милых препирательств между нами), все же он, по крайней мере, сумел вселить в меня веру в то, что нет и не может быть мужчины нежнее, честнее и вернее, чем он.

Наша домовладелица, миссис Джонс, частенько поднималась ко мне в квартиру, откуда я без Чарльза не выходила никуда и ни за чем; для нее не составило труда – никакого тут особого искусства не требовалось – быстренько выведать, что мы обошлись без церковной церемонии, а некоторое время спустя она узнала все тайны наших отношений, все это ее отнюдь не огорчило, скорее наоборот, если принять во внимание ее намерения, касающиеся меня, которые – увы! – она слишком скоро получит возможность привести в исполнение. Тогда же собственный жизненный опыт убеждал ее, что любая попытка, пусть самая что ни на есть косвенная или замаскированная, расколоть, разрушить неразрывный союз, единение двух таких

сердец, как наши, привела бы (во всяком случае, в то время) всего-навсего к потере двух жильцов, которыми она умело и прибыльно верховодила, особенно, если любой из нас узнает о том, что ей поручено, а поручено ей было одним из клиентов либо как-нибудь выманить меня из дома одну, либо любой ценой убрать от моего покровителя.

Но тут вскоре варвар-судьба моя избавила ее от необходимости разлучать нас. Уже одиннадцать месяцев моей жизни пронеслись одним сплошным неудержимым потоком счастья и восторга. А даже в природе бурному потоку не дано литься долго. Около трех месяцев я носила его ребенка – тут полагалось бы сказать, что это обстоятельство увеличило его заботу и нежность. И вдруг – смертельный, нежданный удар разлуки обрушился на нас. Умолчу о всех подробностях, о каких до сей поры не могу вспомнить без содрогания, как все еще не могу прийти в себя и постичь, как, за счет чего удалось мне все это пережить.

Два бесконечно долгих, словно целая жизнь, дня продержалась я без вестей от него – я, которая им одним дышала, которая существовала только с ним и в нем и еще ни разу не знала случая, когда даже двадцать четыре часа прошли без того, чтобы я не увидела его или не получила от него весточки. На третий день нетерпение сделалось так велико, а тревога так сильна, что я пришла в совершенное расстройство; не имея больше сил сносить эту пытку, я рухнула в постель и позвонила миссис Джонс, прося ее подняться, хотя как раз она-то вовсе не годилась мне в утешители при таком моем беспокойстве. Я едва дышала и с трудом отыскивала слова, чтобы упросить ее во имя спасения моей жизни какими угодно средствами выяснить – и немедленно, –

что стало с моей единственной в этой жизни опорой и утешением. Она принялась так соболезновать мне, что скорее обострила мою печаль, чем смягчила ее, но тем не менее отправилась выполнять мое поручение.

Далеко ей идти не пришлось: до дома отца Чарльза было рукой подать, жил он на одной из улиц, выходящих к *Ковент-Гарден*. Там она зашла в кабачок и уже из него послала за горничной, имя которой я ей назвала, потому что та лучше других могла о чем угодно поведать.

Горничная с готовностью откликнулась на зов и, когда миссис Джонс спросила, что случилось с Чарльзом, не уехал ли он из города, с такой же готовностью сообщила, что ее господин сына своего услад, что уже на следующий день не было тайной для слуг. Меры столь решительные господин принял, чтоб по всей строгости наказать сына за то, что тому доставалось больше любви и заботы бабушки, чем самому господину. Обставить все под благовидным предлогом он постарался внезапно и скрытно, опасаясь, как бы бабушкина любовь не стала непреодолимым препятствием и не помешала бы Чарльзу покинуть Англию, отправившись в уготованное ему отцом путешествие. Нашелся и повод: необходимо было вступить во владение значительным наследством, которое досталось отцу по смерти богатого торговца (его родного брата) на одной из тихоокеанских факторий в Южных Морях, о чем недавно было получено уведомление вместе с копией завещания.

Решив твердо услад сына подальше, отец в тайне от него сделал необходимые приготовления и снарядил его в путь, договорившись с капитаном судна, от которого добился, пользуясь знакомством с главным хозяином судна и его патроном, беспрекословного

исполнения своих распоряжений. Короче, обделал он все так скрытно и так основательно, что сын, поднимаясь на палубу, был убежден, будто речь идет всего лишь о нескольких часах прогулки вниз по реке; тут его схватили, задержали на борту, не дали ни строчки написать и вообще следили за ним строже, чем за государственным преступником.

Так кумир души моей был отвергнут от меня и силой отправлен в долгое путешествие, оставшись в пути без единого друга, без единой строчки утешения, если не считать сухих объяснений и распоряжений от своего отца, что следует сделать по прибытии в порт назначения, да впридачу нескольких рекомендательных писем к тамошнему фактору – о подробностях этих я узнала не сразу, лишь много времени спустя.

Еще горничная, говоря с миссис Джонс, добавила, что уверена: такое обращение с прелестным ее молодым господином убьет его бабушку. Так оно, к несчастью, и произошло: узнав обо всем, старая леди не прожила и месяца; поскольку же все ее состояние заключалось в годовой ренте, из которой ей ничего не удалось скопить, любимому своему, ставшему жертвой такой роковой зависти, она не смогла оставить ничего существенного, но до самого смертного часа наотрез отказалась видеть его отца.

Когда миссис Джонс вернулась, то вид ее, такой спокойный, если не сказать беспечный, меня едва не обрадовал: я полуобольщалась тем, что она успокоит мое измученное сердце добрыми вестями. Увы, надежда оказалась до жестокости обманчивой: злодейка с невообразимой холодностью вонзила кинжал мне в самое сердце, сказав – безо всяких околичностей и лишних

слов утешения, – что Чарльз отправлен за море по крайней мере на четыре года (тут она срок прибавила не без злого умысла) и что, если рассудить здраво, мне нет смысла ожидать, что когда-нибудь в жизни я снова увижу его – сказано все это было так веско и обоснованно, что я не могла не поверить ее словам, ведь они, в общем-то, были более чем правдивы!

Не успела она закончить свой отчет, как я лишилась чувств, последовали несколько приступов, один другого ужаснее и бесчувственнее, случился у меня выкидыш – потеряла я драгоценный залог любви моего Чарльза. Увы, несчастным не дано умереть, когда смерть для них милость, – и женщины в страданиях больше всех узнают, как верна эта поговорка.

Строгий и небескорыстный уход спас гнусную жизнь, которая вместо счастья и радости, какими была переполнена, неожиданно не давала мне ничего, кроме глубин отвращения, ужаса и острейшей скорби.

Так пролежала я шесть недель, пока молодость и естество вырывали меня из дружеских объятий смерти – о ней я молила все время как о спасении и облегчении, но она осталась глуха к моим мольбам; понемногу я поправилась, хотя и не вышла из состояния оцепенения, горя и отчаяния, грозившего мне полной утратой чувств и сумасшедшим домом.

Все же время, великий сей утешитель в обыденной жизни, понемногу смягчило жестокость моих страданий, притупило чувствительность к ним. Здоровье вернулось, хотя меня по-прежнему одолевали печаль, уныние и слабость, которые, кстати, стерли с лица моего сельский румянец, отчего оно стало более тонким и трогательным.

Обо всем об этом домовладелица заботилась весьма назойливо, следя за тем, чтобы я ни в чем нужды не знала, пока не увидела, что я вполне поправилась для осуществления ее замыслов. Однажды, после того, как мы с ней вместо пообедали, она поздравила меня с выздоровлением – заслугу в том она целиком приписала себе. Начав столь радужно, закончила она ужаснейшим и подлейшим эпилогом: «Теперь вы, мисс Фанни, чувствуете себя вполне сносно, вы можете оставаться в моем доме столько, сколько хотите. Вы видели: я у вас ничего не просила – и достаточно долго. Но правду говоря, с меня требуют некоторую сумму денег, которая должна быть выплачена». С этими словами она вручила мне счета за квартиру, стол, оплату лекарств, услуг сиделки и т. д. и т. п. – всего на двадцать три фунта, семнадцать шиллингов и шесть пенсов. Все, что я могла отдать в покрытие этого долга (и об этом миссис Джонс прекрасно знала), не превышало и семи гиней, случайно оставшихся от наших с дорогим моим Чарльзом совместных сбережений. Тем не менее она пожелала знать, какой вид платежа я выберу! Разразившись потоком слез, я поведала ей о своем положении, а немного оправившись, добавила, что продам то небольшое, что у меня есть из платья, и остальное верну ей, как только смогу. Однако расстройство мое, так отвечавшее ее мыслям, лишь еще больше ожесточило ее.

Ледяным тоном известила она меня, «что на самом-то деле сочувствует моим бедам, только должна же она и о себе подумать, хоть ей до боли в сердце жаль будет отправить такое нежное юное создание в тюрьму...». При словах «в тюрьму!» вся кровь, до последней капельки, застыла у меня в жилах, испуг так сильно на меня подействовал, что, побледнев и ослабев,

словно преступник, впервые увидевший место собственной казни, я едва не упала в обморок. Моя домовладелица, которой хотелось всего-навсего припугнуть меня, не подвергая мое тело опасным для ее планов испытаниям, снова принялась успокаивать меня, сказав голосом, в котором звучало больше жалости и мягкости, что если она и дойдет до такой крайности, то только я буду тому виной; впрочем, по ее мнению, всегда в мире найдется друг, который сумеет устроить все в лучшем виде к обоюдному нашему удовлетворению, кстати, она пригласила этого друга выпить с нами чашку чая, так что уже сегодня мы сможем определенно разобраться во всех наших делах и заботах. На все это в ответ ни словечка: я сидела безмолвная, потерянная и перепуганная.

Миссис Джонс, верно рассудив о необходимости ковать железо, пока чувства мои не остыли, покинула меня, оставив один на один со всеми ужасами, порожденными воображением, смертельно раненным мыслью угодить в тюрьму и из одного только инстинкта самосохранения хватаящимся за любой проблеск освобождения от этого.

В таком вот состоянии, погруженная в печаль и отчаяние, просидела я с полчаса, когда вернулась домовладелица. Увидев на моем лице выражение смертельного уныния и подавленности, все еще преследуя свои цели, она с личиной притворной жалости причитаниями своими призвала меня утешиться. Дела, уверяла она, совсем не так плохи, как это мне представляется, если, разумеется, я не хочу становиться врагом самой себе. Завершила она свою речь сообщением, что пригласила выпить со мной чая весьма distinguished джентльмена, который сможет дать мне

самый лучший совет, как избавиться от всех моих несчастий. Сказав это и не дожидаясь ответа, она вышла и вернулась с этим весьма достойным джентльменом, чьей весьма достойной сводней она была и в этом, и в других случаях.

Войдя в комнату, джентльмен отвесил мне весьма учтивый поклон, на что я едва нашла в себе силы и присутствие духа ответить книксеном. Домовладелица, беря на себя все услуги в первой беседе (ибо я, сколько помню, никогда не видела этого джентльмена прежде), придвинула ему кресло, сама уселась в другое. За все это время никто не проронил ни слова, я на сей странный визит взирала с выражением глуповатого удивления на лице.

Подали чай, и домовладелица, не желая, полагаю, терять время, заговорила вдруг про мое молчание и застенчивость. «Ну же, мисс Фанни, – сказала она грубовато по-свойски, эдаким вальяжно-приказным тоном, – поднимите голову, деточка, и не позволяйте грусти портить ваше прелестное личико. Полноте! Погрустили и будет, ну же, расслабьтесь. Вот сидит достойный джентльмен, который узнал о ваших несчастьях и желает услужить вам. Вам бы следовало получше с ним познакомиться, бросьте вы церемонии и всякое такое, покажите товар лицом, коли можете».

В ответ на эту деликатную и красноречивую болтовню и джентльмен, заметив, как от испуга и удивления я не могу ни слова произнести в ответ, взял миссис Джонс в такой оборот за грубый подход к делу, что скорее потряс меня, чем расположил к признательности за доброе свое заступничество. Потом он обратился ко мне и рассказал, что ему превосходно

известна вся моя история и все обстоятельства моего расстройства; что, по его суждению, жребий слишком жестокий выпал на долю моей юности и красоты; что он давно почувствовал симпатию ко мне и много обо мне расспрашивал миссис Джонс, здесь присутствующую; что, однако, узнав, как всецело я привязана к другому, он потерял было всяческую надежду на успех, как вдруг услышал, что фортуна неожиданно отвернулась от меня; он тут же отдал необходимые распоряжения домовладелице следить, чтобы я ни в чем нужды не знала, и что, не будь он принужден обстоятельствами абсолютно безотлагательными уехать за границу, в Гаагу, он сам бы ухаживал за мной во время моей болезни. Да, он просил домовладелицу представить его мне, но его возмущает ничуть не меньше, чем меня поражает, та бестактность, с какой миссис Джонс взялась обставлять обретенное им счастье; и вот, чтобы убедить меня, как неприятно ему ее поведение, как далек он от того, чтобы недостойным образом воспользоваться моим положением, и от того, чтобы располагать какими-либо гарантиями моей благосклонности, он у меня на глазах, сию же минуту полностью погасит мои долги миссис Джонс и вручит мне ее расписку, после чего предоставит мне самой решать, ответить ему отказом или согласием, сам же он ни в коем случае не может себе позволить силой добиваться моего расположения.

Пока он распинался о своих чувствах ко мне, я заставила себя взглянуть на него, окинув взглядом его фигуру: такая бывает у ладно скроенных, приятных джентльменов лет сорока; одет он был без затей, на одном из пальцев носил бриллиант, который радужно играл у меня перед глазами всякий раз, когда в разговоре джентльмен взмахивал рукой, это укрепляло

меня во мнении, что он очень важный господин. Короче, он вполне мог бы сойти за того, кого обыкновенно называют благонамеренным злодеем, со всеми отличиями, естественными для людей его происхождения и положения.

Ответом на все его речи, однако, были лишь хлынувшие рекой слезы: успокаивая меня, они мешали мне говорить, что было весьма кстати, ибо я не знала, что сказать.

Вид мой растрогал его, как он сам мне позже сказал, невыносимо, и, желая дать мне хоть какой-то повод горевать поменьше, он вытащил кошелек, спросил перо и чернила, которые миссис Джонс держала наготове, и заплатил ей все до последнего фартинга (не считая щедрого вознаграждения, которое должно было последовать, но о котором я знать не должна); затем, держа расписку, как развернутое знамя, он настоял, чтобы я засвидетельствовала ее, водя моей рукой, в какую потом и вложил расписку, заставив меня препроводить ее себе в карман.

Душа моя еще не оправилась от ударов, ею полученных, и я никак не могла выйти из состояния то ли отупения, то ли меланхолической грусти. Заботливая домовладелица покинула комнату, оставив меня один на один с этим незнакомым господином, прежде чем я успела это заметить, а когда заметила, то никакой тревоги уже не испытывала, поскольку была безжизненна и равнодушна ко всему.

Джентльмен, не новичок в делах такого рода, приблизился ко мне и, делая вид, что успокаивает меня, сначала платком утер слезы, сбегавшие по моим щекам, а заодно решился и поцеловать меня. Я не противилась и

не поощряла его, а сидела окаменев, сама себя рассматривая как товар, куплю-продажу которого я же и засвидетельствовала.

Меня нимало не заботило, что станет с моим истерзанным телом, не было во мне уже ни жизни, ни души, ни мужества, дабы противиться даже самому слабому натиску, не было даже присущего моему полу целомудрия: равнодушно сносила я все, что джентльмену было угодно. А тот, в порыве чувств перехода от одной вольности к другой, запустил руку между шейным платком и моей грудью, которую он время от времени потаскивал: не чувствуя сопротивления и видя, что – вопреки ожиданиям – все располагает к полному удовлетворению его желаний, он поднял меня на руки и понес, безжизненную и недвижимую, к постели, где бережно уложил и воспользовался тем, что мог делать все, что заблагорассудится. Какое-то время я просто не могла в толк взять, что ему надобно, пока, выбираясь из дремы бесчувствия, не обнаружила, что он уже погрузился в меня, а я лежу пассивно, не ощущая ни малейшего признака удовольствия – у охладевшего трупа едва ли было бы жизни и чувства меньше, чем у меня. Удовлетворив таким образом страсть, в которой почти вовсе не было сочувствия к состоянию, в каком я пребывала, он встал, оправил на мне одежду и вынужден был с большим трудом сдерживать приступы угрызения совести и бешенства, которые охватили меня (слишком поздно, должна признаться) из-за того, что на этой вот самой постели я терпела объятия совсем чужого человека. Я рвала на себе волосы, заламывала руки, била себя в грудь, как сумасшедшая. И когда мой новый господин (а теперь я так на него смотрела) пытался успокоить меня, то поначалу я-то весь гнев свой против

себя обратила, ничуть не позволяя себе хоть частичку его направить против него; я умоляла его, скорее сдаваясь, чем гневаясь, оставить меня одну, по крайней мере, дать мне возможность наедине с собой спокойно пережить свою печаль. На это он ответил твердым отказом, сделав вид, будто опасается, как бы я не сделала с собою что-нибудь нехорошее.

Бурные страсти редко длятся, а у женщин – и того меньше. Мертвое затишье пришло на смену буре, завершившейся обильным потоком слез.

Всего несколько мгновений назад скажи мне кто-нибудь, что я буду принадлежать какому-то другому мужчине, помимо Чарльза, я бы плюнула тому в лицо; предложи мне кто-нибудь бесконечно большую сумму денег, чем те гроши, за которые у меня на глазах меня купили, я бы с презрением и хладнокровно отвергла такое предложение. Только наши достоинства и наши пороки слишком зависят от обстоятельств. Неожиданно я, как осажденная крепость, оказалась в полном окружении: разум предал меня, долгая и жестокая скорбь ослабила, а ужасы тюрьмы заморозили: я смею надеяться на то, что падение мое более простительно, если учесть, что я в нем никакого участия не принимала и никоим образом ему не способствовала. И все же так уж считается, что первое удовлетворение является решающим: раз этот господин уже преступил черту, то я не вправе, как считала, отказывать в ласках тому, кто однажды успел ими воспользоваться, неважно, каким способом. Утешая самое себя такой мудростью, я полагала себя в такой его власти, что без борьбы или гнета принимала поцелуи и объятия; не то что бы они – пока еще – доставляли мне хоть какое-то удовольствие или чтобы чувствительность брала верх над

отвращением в душе моей, все, что я сносила, я сносила и терпела из своеобразной признательности и, если уж на то пошло, после того, что уже произошло.

Он был, однако, настолько осторожен или внимателен, что не пытался вновь впасть в такие крайности, какие только что довели меня до буйного помешательства, теперь – сберегая приобретенное – он ограничился тем, что принялся постепенно ласками возбуждать меня, терпеливо дожидаясь, пока плоды его щедрости и приятного обхождения вызреют, а не срывать их зелеными, как то случилось прежде, когда, не удержавшись от искушения, он воспользовался моей беспомощностью и, сгорая от вожделения, излил свою страсть в безжизненное, бесчувственное тело, мертвое для любой радости: никакого удовольствия не получая, не было оно способно никакого удовольствия дарить. Впрочем, одно я знала определенно: в душе своей я так до конца и не простила ему те ухищрения, какими он воспользовался, чтобы овладеть мною. Между прочим, коль скоро речь зашла, то не скрою: позже, когда он убедился, что оставить меня ему вовсе не так легко, как было приобрести, я вправе была почувствовать себя польщенной.

Между тем вечер давно наступил, появилась служанка накрывать к ужину, и я с ликованием поняла, что домовладелица, чей один лишь вид отравлял все во мне, нам докучать не станет.

Вскоре подали прихотливый ужин, сопровождаемый бутылкой бургундского и прочими деликатесами.

Служанка вышла, джентльмен настоял – с неожиданно милой горячностью, – чтобы я села в кресло у камина и если не предпочту откусать сама, то стала бы

смотреть, как ест он. Я подчинилась, хотя душа наполнилась скорбью при сравнении тех восхитительных *t #234;te- #226;-t #234;te* с бесконечно дорогим мне юношей и этой вымученной, до безобразия ужасной сценой, в какую ввергла меня жестокая необходимость.

За ужином, потратив великое множество слов, чтобы смирить меня с выпавшей судьбой, он сообщил, что зовут его Г., что он брат графа Л., что, получив возможность – не без помощи моей домовладелицы – увидеть меня, он понял, что я во всем отвечаю его вкусу, и потому поручил миссис Джонс во что бы то ни стало добыть ему меня, что теперь вот наконец он преуспел в этом к огромному его удовольствию, что он от всего сердца желает и мне такого же громадного удовольствия; вдобавок он долго уверял, что у меня нет и не будет причин сожалеть о знакомстве с ним.

Пока он говорил, я едва-едва управилась с половинкой куропатки да выпила бокала три-четыре вина, которое он мне настойчиво предлагал для восстановления сил; не знаю, было ли что-то подмешано в вино или ничего такого уже не требовалось для того, чтобы затеплился во мне естественный пыл моего организма, и пламя разошлось по нему знакомыми путями, но только я больше не чувствовала неприязни, а тем паче отвращения к мистеру Г., как то было до сих пор. Конечно, в этом изменении чувств не было ни грана любви: любой другой мужчина мог бы, окажись он на месте мистера Г., проделать для меня и со мной все то же самое, что и он проделал.

Вечных скорбей – во всяком случае, на земле – не существует; не скажу, что я избавилась от своих, но они словно замерли на время, в сторонку отошли: душа моя,

столь долго переполнявшаяся ужасами и мучениями, стала расправляться и открываться навстречу малейшему проблеску разнообразия или развлечения. Немного поплакала – и слезы облегчили меня; повздыхала – и, кажется, легче стало бремя, навалившееся на меня; выражение лица моего, если и не светилося жизнерадостностью, то, по крайней мере, сделалось более спокойным и живым.

Мистер Г., не сводивший с меня глаз, очевидно, уловил эту перемену и прекрасно понял, как воспользоваться ею: нетерпеливо отодвинул он в сторону стол, разделявший нас, сблизил бок о бок наши кресла и, улестив меня всяческими обещаниями и увещеваниями, скоренько взял меня за руки, принялся целовать, снова вольничать с моей грудью, которая на сей раз легко высвободилась из-под пребывавшего в беспорядке белья и теперь вздымалась и трепетала не столько от возмущения, сколько от страха и стыдливости, вызванных тем, что весьма фривольно обращается с нею человек, в общем-то, незнакомый. Вскоре, однако, для восклицаний у меня повод стал посерьезнее: стремительно нагнувшись, он запустил руку под юбки и устремил ее вверх по ногам, выше подвязок, откуда отправился в путь, который прежде был найден им столь открытым и беззащитным. Только на сей раз ему никак не удавалось развести плотно сдвинутые мною бедра; я запротестовала, довольно робко, умоляла оставить меня в покое, ссылаясь на нездоровье. Ему же в моем сопротивлении виделось больше проформы и манерничанья, чем искренности, а потому поползновения свои он прекратил, но только при обязательном условии, чтобы я тотчас же укладывалась в постель, пока он отдаст кое-какие распоряжения домовладелице, когда же

он вернется через час, то надеется найти меня более отзывчивой к его страсти, чем теперь. Я не соглашалась и не возражала, но то выражение, с каким я выслушивала его требование, подсказало ему, что я уже не чувствую себя хозяйкой настолько, что могла бы отвергнуть его.

С этим он и оставил меня, но не прошло и минуты-другой после его ухода, не успела я еще хоть сколько-нибудь собраться с мыслями, как вошла посланная хозяйкой служанка с маленькой серебряной мисочкой, наполненной так называемым «невестиним напитком», поссетом из горячего молока с сахаром и пряностями, створоженного вином, который мне предстояло отведать, прежде чем ложиться в постель. Так я, в конце-то концов, и сделала, а вкусив напитка, сразу же ощутила жар: огонь побежал по всему моему телу, словно удирающий от собственной совести воришка, орущий «держи вора!», я горела, я пылала, я страдала без – хотя бы малюсенького – желания мужчины, какого угодно мужчины.

Едва я улеглась, служанка забрала свечу и, пожелав мне спокойной ночи, вышла из комнаты, затворив за собой дверь.

Она еще не успела сойти вниз по лестнице, как дверь тихонько приоткрылась и в комнату проскользнул мистер Г., уже одетый в халат и в колпаке, в руках он держал подсвечник с двумя зажженными восковыми свечами. Прихода его я ждала, только все же, когда он притворил дверь, почувствовала неясную тревогу. Он же на цыпочках подошел к кровати и ласковым шепотом произнес: «Дорогая моя, умоляю, не пугайся... Я буду очень осторожен, очень добр к тебе». С этими словами

он быстренько разделся и юркнул в постель. Все же, пока он раздевался, я успела рассмотреть его дюжую, ладную фигуру, крепкие мышцы и даже на вид колючую косматую грудь.

Принявшая на себя новый груз, кровать еще раз всколыхнулась. Мистер Г. улегся с краю, там, где поставил горящие свечи, несомненно, для того, чтобы удовлетворить все свои чувства, ибо, поцеловав меня, он тут же стянул вниз покрывало и простыни. Увидев меня полностью обнаженной, во весь рост, он пришел в такой восторг, что ринулся покрывать множеством поцелуев меня всю, с ног до головы, не пропуская ни единой частички тела. Потом, стоя на коленях между моих ног, он задрал рубашку и обнажил волосатые ляжки, меж которыми торчала твердая дубина, красная с верхушки и основанием уходящая в густейшие заросли вьющихся волос, которыми живот его порос до самого пупка и какие очень походили на мочало; скоро я ощутила, как цепляется оно за мои волосинки, как переплелось с ними, когда вбитый им по самую шляпку гвоздь не оставил между нашими телами никакого зазора, кроме перепутавшихся волос.

Теперь я уже чувствовала, что было во мне, теперь его движения дали моему естеству в излюбленных его местах такие мощные толчки, на какие оно больше не могло не отозваться и не тронуться в тот же путь; все животные чувства мои без какой бы то ни было моей воли, сами по себе устремились в этот центр соблазна, немного времени потребовалось, чтобы, полыхающая внутри и до невыносимейшей муки возбужденная, я отрешилась от всего, что меня сдерживало, всецело отдалась во власть чувств; извержениям удовольствия я предалась, как всякая обычная женщина, и могла лишь

сожалеть – в строгости все еще верной любви, – что никак не в силах их сдержать.

Только, о-о! Какая же невообразимая пропасть между этой чувственностью чисто животного удовлетворения, когда соитие приходится выносить в пассивном сопряжении тел, и тем сладостным буйством, той бурей кипящего восторга, какие венчают утехы взаимной любовной страсти, когда два сердца нежно и неразрывно сливаются в едином порыве радости, дающей душу и вдохновение страсти, стремящейся к завершению и не желающей конца, при котором простые, преходящие желанья исчерпывают себя, когда они умирают от неумеренности удовлетворения!

Мистера Г. различия такого рода, по-видимому, не трогали. Он едва ли дал себе и мне передохнуть хоть немного, как будто сам себе решил доказать, что внешние признаки принадлежности к полу мужескому ему не для украшения даны: всего через несколько минут он смог возобновить наступление, предварив его ураганным огнем поцелуев, и ринуться тем же порядком и тем же путем, что и прежде, причем с не меньшим пылом. В таких вот непрерывных схватках он без устали упражнял меня до самого рассвета; этого времени мне полностью хватило, чтобы оценить все достоинства его крепко сбитого тела, саженных плечей и широкой груди, твердых – буграми – мышц; короче, всех тех примет мужской доблести, что позволили бы ему сойти за неплохой образчик наших древних здоровяков-баронов, рубившихся в сражениях боевыми топорами. В теперешние времена раса эта, изысканно утонченная, как-то измельчала, обрела более хрупкие, но тщательно отделанные формы наших чувственных

слюнтяйчиков-аристократов, которые так же бледны, так же милы и почти так же мускулисты, как и их сестры.

Довольный, что начало дня озарило его триумф, мистер Г. предоставил меня освежающему воздействию отдыха, в котором мы оба нуждались, а потому тотчас же провалились в глубокий сон.

Проснулся он на какое-то время раньше меня, но все же не стал тревожить мой покой, так часто нарушавшийся им до этого; стоило мне, однако, едва-едва отрешиться от сна (а это произошло, когда уже перевалило за десять часов), как я вновь принуждена была испытать на себя его мужскую силу.

Около одиннадцати появилась миссис Джонс с двумя тарелками превосходнейшего, вкуснейшего супа, который она приготовила, зная по опыту, что в таких случаях требуется. Не стану повторять обильных ее комплиментов, этих лицемерных фраз добропорядочной сводни, которыми она нас приветствовала; при виде ее кровь едва не закипела у меня в жилах, но я постаралась унять свои чувства: куда больше занимали меня тревожные мысли о том, каковы же будут последствия того, что уже произошло.

Очевидно, мистер Г. уловил мое беспокойство и не дал мне долго изнывать в нем. Он поведал, что чувство его ко мне так искренне и цельно, что для того, чтобы я представила себе это, он начнет с главного: уберет меня из дома, по многим причинам для меня неприятного и неприемлемого, и перевезет в более подходящее жилище, где сумеет окружить всеми мыслимыми заботами. Не желая, чтобы я за чем бы то ни было обращалась к домовладелице и вообще никаких беспокойств не испытывала, пока он не вернется, он

оставил мне, прежде чем уйти, кошелек с двумястами двадцатью гинеями – все, что было при нем и что, как он выразился, должно наполнить мой карман, пока не подспеют новые вложения.

Стоило ему уйти, как меня охватили чувства, обычные для тех, кому суждено впервые отправиться в плавание по морю порока (моя любовная привязанность к Чарльзу никогда не виделась мне в таком свете): волны его меня подхватили, укачали и унесли в открытое море, возврата на берег откуда уже не было. Ужасающая нищета моя, моя признательность, а больше всего, если сказать сущую правду, избавление, отвлечение, которые стала я находить в новом своем знакомстве, от черных мыслей, разъедавших душу все время, с самого первого дня отсутствия моего дорогого Чарльза, – все это сообщество действовало на мое сознание, заглушая в нем любые иные, благородные и целомудренные, порывы. О Нем, о моем первом, моем единственном и ненаглядном, я по-прежнему думала с умилением и грустью нежнейшей любви, переполняясь горечью от осознания того, что я больше его недостойна. С ним рядом, за ним я могла бы весь белый свет пройти с нищенской сумой, но не было у меня, несчастной в судьбе своей, ни добродетели, ни мужества, какие позволили бы мне пережить разлуку с ним!

Не знаю, возможно, не оказался мое сердце столь переполнено другим, мистер Г. и смог бы стать единственным его господином; только в переполненном сердце места ему не было и лишь волею странных переплетений судеб сделался он моим властелином, постепенно все больше и больше отдаваясь очарованию моих прелестей, они стали единственным предметом его

помыслов и страсти, что, понятно, не могло быть основой для любви очень нежной или очень долгой.

Вернулся он лишь к шести часам вечера, чтобы забрать меня в новую мою обитель. Вещи мои были упакованы и погружены в наемный экипаж; жалеть о расставании с домовладелицей не приходилось, не было, я это чувствовала, у меня причин преисполняться к ней благодарностями, а для нее было безразлично, съеду я или останусь, лишь одно ее интересовало: какой с этого можно получить доход.

Вскоре мы добрались до дома, предназначенного для меня, – обычного купеческого дома, хозяин которого, скажу интереса ради, прямо-таки боготворил мистера Г. и сдал ему второй этаж, довольно изысканно обставленный, за две гинеи в неделю. Этот этаж и был отдан в мое распоряжение вместе с горничной, что прислуживала мне.

В тот вечер он остался со мной. Из ближайшей таверны нам доставили ужин, отдав которому должное и сопроводив его бокалом-другим веселящего вина, я с помощью горничной отправилась в постель.

Вскоре за мною последовал и мистер Г., невзирая на усталость, оставшуюся еще с прошлой ночи, не было мне от него ни пощады, ни снисхождения: как он выразился, держаться на высоте его обязывало проявление почтения к новому моему жилищу.

Утро давно уже было в разгаре, когда мы только приступили к завтраку; лед был сломан, душа моя, не изнывавшая более от любви, почувствовала себя на воле и обретала радость в таких пустяках, как милостивое расположение мистера Г.; ухаживания его отзывались во мне обычным тщеславием, свойственным нашему полу.

Шелка, кружева, сережки, жемчужное ожерелье, золотые часики – короче, дорогие подарки и наряды щедрым потоком хлынули на меня; чувство, всем этим вызываемое, не способно, конечно, сотворить чудо воскрешенной любви, но ему вполне по силам внушить некую благодарную и нежную привязанность, весьма похожую на любовь. Осознание этого различия отравило бы удовольствие девятидесятым собственников-содержателей в столице, поэтому-то, полагаю, имелись очень веские причины, по которым весьма немногие из них вообще вдавались в подобные тонкости.

Итак, я сделалась любовницей на содержании, хорошо устроенной, вполне достаточно оплачиваемой и свободной в выборе любых нарядов.

Мистер Г. был по-прежнему добр и нежен ко мне, но при всем при том я была далека от счастья, не только потому, что тоска по дорогому для меня юноше, пусть частенько и притуплявшаяся или отступавшая, в определенные печальные минуты вспыхивала с удвоенной силой, но и потому, что я нуждалась в большем общении, в большем разнообразии. Сам же мистер Г. настолько превосходил меня во всем и так часто давал мне это почувствовать, что это не могло не отразиться, причем в худшую сторону, на признательности, какую мне полагалось бы к нему испытывать. Он сумел завоевать мое уважение, но ему было не до воспитания во мне тонкого вкуса: я не годилась ему в собеседницы ни в какой беседе, если не считать одного сорта разговора, так что в моей удовлетворенности зияли томительные провалы, если она не наполнялась любовными утехами или иными развлечениями. Такой искушенный сердцеед, много

сведущий в том, что касается женщин, каким был мистер Г., немало их познавший, без сомнения, вскоре почувствовал мою неловкость; вряд ли он это одобрил или из-за этого я больше ему нравилась, но все же он был достаточно любезен, чтобы баловать меня.

В моем доме он устраивал званые ужины, на которые приглашал нескольких своих сотоварищей по утехам вместе с их любовницами. Так попала я в круг знакомств, где вскоре с меня содрали последние остатки стыдливости и целомудрия, какие только могли еще уцелеть от моего деревенского воспитания и какие оставались, на праведный вкус, возможно, величайшими из моих прелестей.

Мы обменивались визитами, церемонно, насколько только могли, подражая всем напастям, безрассудствам, дерзостям и грубостям знатных женщин. Новые мои подруги лишь понапрасну теряли время, увиваясь вокруг благородных дам, в малюсенькие их головки даже не закрадывалась мысль о том, что не сыскать на свете занятия более глупого, более плоского, более безвкусного и бесполезного, чем, говоря обобщенно, тот образ жизни, что они вели: ведь было бы то угодно мужчинам, они стали бы почитать их как собственных тиранов своих, это точно!

Среди любовниц на содержании (а я теперь познакомилась со многими из них, не считая некоторых полезных матрон, живших тем, что посредничали для них) я едва ли знала такую, которая совершенно искренне не ненавидела бы своего содержателя, потому они, разумеется, мало смущались, если вообще смущались, любой изменой, какую скрытно могли себе позволить. У меня же не было намерения обманывать

своего господина: мало того, что любое проявление ревности с его стороны не пробудило бы во мне никакого желания или не дало бы мне повода сыграть с ним такого же рода шутку, к тому же всегдашняя щедрость, обходительность и заботливость принуждали меня уважать его и, не затрагивая моей души и моего сердца, обеспечивали ему мою верность. Ко всему, не находилось пока никого, кто мог бы поколебать или перевесить ставшую привычной привязанность, какую я заставляла себя испытывать к мистеру Г., и я была уже накануне того, чтобы обрести, благодаря нескончаемой его добровольной щедрости, скромные средства, дававшие достаток в жизни, когда произошел случай, после которого все созданное этим джентльменом, что располагало к нему, разлетелось в прах.

Случилось это к концу седьмого месяца моей жизни с мистером Г. Однажды, вернувшись от соседей, где обычно я проводила времени больше, чем в тот раз, я увидела, что входная дверь открыта и в ней, болтая с товарками, стоит наша прислуга, – этим объясняется то, что я прошла в дом без стука, когда же я проходила, горничная сказала мне, что мистер Г. наверху. Я поднялась наверх, зашла в собственную спальню затем только, что бы снять шляпку и т. д., после чего, как то уже стало привычным, подождать его в гостиной, соединявшейся дверью с моей спальней. Пока я занималась шляпными заколками, мне почудилось, будто я слышу голос своей горничной Ханны и какую-то возню. Любопытство мое было возбуждено, и я тихонько подкралась к двери, в одной из досок которой выпал сучок, отчего образовался превосходный глазок, он-то и дал мне возможность увидеть сцену страсти; участвовавшие в ней актеры предавались игре так

истово, что даже не расслышали, как я открывала дверь, ведущую с лестницы в мою спальню.

Прежде всего в увиденном меня поразил сам мистер Г., волоком тащивший это грубое деревенское соломенное чучело к дивану, стоявшему в углу гостиной. Девушка отвечала на это всего лишь подобием ужасно шумливого и ужасно вульгарного сопротивления, стона так громко, что даже я, стоявшая у двери, едва-едва могла расслышать: «Сэр, умоляю, нет... оставьте меня... не про вашу я честь... не вам же, в самом деле, унижаться из-за такого неказистого тела, как у меня... Господи! Сэр, хозяйка же может домой прийти... не должна я... я закричу...». Все эти слова никак не помешали ей позволить дотащить себя до дивана, на который она после не такого уж и сильного толчка с легкостью дала себя повалить. Когда же джентльмен запустил руки в цитадель ее ЦЕЛОМУДРИЯ, она, видимо, решила, что пришло время прекратить причитания и всяческое дальнейшее сопротивление бесполезно. А он, набросив нижние юбки на ее сделавшееся багровым лицо, нашел под ними пару толстых, пухлых, внушительного вида ляжек, впрочем, терпимо белых; их он и водрузил себе на чресла, затем обнажил изготовленное для боя оружие и ударил им в тот провал, который, очевидно, оказался куда менее труднопроходимым, чем он льстил себя надеждой обнаружить (надо сказать, между прочим, эта девушка удрала из своей деревни, обзаведясь внебрачным плодом), все в его движениях говорило о том, что попал он в обитель весьма и весьма просторную. После того, как джентльмен закончил, его ДОРОГУША поднялась, одернула юбки, поправила передник и платок на шее. Мистер Г. выглядел несколько глуповато, вытащив из

кармана деньги, он отдал их ей довольно безразлично и равнодушно, твердя, что нужно быть послушной девочкой да помалкивать.

Если бы я любила этого человека, то, смею Вас уверить, натура моя не позволила бы мне спокойно наблюдать за всей сценой: уж я влетела бы туда и показала бы, какова я в роли взбешенной от ревности принцессы! Но любви не было и в помине: задета была единственно моя гордость, отнюдь не сердце или душа, поэтому мне не нужно было особо себя пересиливать, дабы, оставаясь в полном рассудке, убедиться, как далеко способен джентльмен зайти.

Дождавшись конца этого непристойнейшего из всех подобных делишек, я тихо удалилась в свою уборную, где и стала раздумывать над тем, что мне делать дальше. Первое, что пришло в голову, было, естественно, желание побежать назад и устроить этой парочке скандал, что, если разобраться, отвечало охватившим меня в тот момент чувствам, к тому же и давало им немедленный выход. Поразмыслив, однако, не очень ясно представляя, к каким последствиям приведет мой поступок, я стала склоняться к тому, чтобы приберечь свое открытие до более удобного случая, а пока позволить мистеру Г. пополнить мой достаток. Это условие я вовсе не считала диким, ведь сама-то я, разумеется, с этим управиться никак не могла: зато могла либо ускорить дело, либо его разрушить. С другой стороны, оскорбление казалось слишком велико, слишком возмутительно, чтобы не помыслить о том или ином виде отмщения – даже и помыслы об этом возвращали мне душевный покой. В восхищении от самого путаного плана мести, родившегося у меня в голове, я с легкостью взяла себя в руки, чтобы

выдержать роль полного неведения, какую я себе ранее уготовила. И когда вся это карусель мыслей прокрутилась и встала у меня в сознании, я на цыпочках пробралась к двери, с шумом ее открыла, делая вид, что только-только вернулась домой, и после небольшой паузы (пока я якобы разделась) открыла дверь в гостиную. Войдя, я увидела, как эта неряха раздувает пламя в камине, а мой верный пастырь вышагивает по комнате и насвистывает, холодный и отстраненный, будто ничего и не произошло. Не думаю, однако, что у него появился веский повод похвастаться тем, как ему удалось меня провести: я все же с достоинством поддержала присущую нашему полу предрасположенность к искусству, подойдя к нему с обычной открытостью и откровенностью, с какой постоянно его встречала. Он ненадолго задержался, затем извинился, что не сможет провести со мной вечер, и откланялся.

Что касается этой девки, то для меня она, во всяком случае как прислужница, пропала: и сорока восьми часов не прошло, как ее высокомерность – результат того, что произошло между нею и мистером Г., – дала мне такой очевидный повод в одну минуту уволить ее, что не сделать этого было бы просто чудом. Так что мой джентльмен не смог выразить несогласия по этому поводу, и у него не появилось ни малейшего подозрения относительно истинных моих мотивов. Что стало с нею потом, про то не ведаю, но, памятуя о присущей мистеру Г. щедрости, могу предположить, что без заботы он ее, безусловно, не оставил, но и в связь с ней, надеюсь, больше не вступал. Его снисхождение к такому грубому лакомству объяснялось лишь внезапной вспышкой вожделения при виде пышущей здоровьем, полногрудой и податливой деревенщины и было не более странным,

чем голодание или, напротив, прихотливый аппетит для человека, привыкшего к мясным блюдам из вырезки, но решившего резко изменить диету.

Если бы я рассматривала выходку мистера Г. только в такой гастрономической плоскости или довольствовалась бы тем, что рассчитала прислугу, я рассуждала и поступала бы верно; только я, будучи во власти всяческих надуманных бед и прегрешений, сочла, что мистер Г. чересчур дешево отделается, если я не пойду дальше в отщени своем и не отплачу ему, что в точности отвечало состоянию моей души, тою же монетой.

Сей достойный акт справедливости не заставил себя ждать, слишком уж накопело у меня на сердце.

Недели за две до того мистер Г. взял к себе в услужение сына одного из своих арендаторов, только что приехавшего из деревни очень симпатичного паренька лет девятнадцати, не больше, свеженького, словно роза, с фигурой, ладно скроенной и крепко сшитой. Короче, внешность его послужила бы приличным оправданием любой женщине, какой он пришелся бы по сердцу, даже если бы мысль об отщени и не туманила ей голову: любой женщине, говорю я, у кого нет предрассудков и у кого достаточно сообразительности и присутствия духа, чтобы предпочесть высшее из наслаждений высотам гордости.

Мистер Г. облачил парня в ливрею, и основным делом его стало (после того, как ему показали, где я живу) приносить и относить письмо и записочки от своего господина ко мне и обратно. Положение содержанки, как можно догадаться, не из тех, что вызывают уважение даже в среде презреннейшей части

человечества, того меньше стоило ждать его от людей неотесанных и невежественных. Неудивительно потому, что я не могла не замечать, как этот малый, посвященный в смысл моих отношений с господином его приятелями слугами, бывало, конфузясь, взирал на меня с той стыдливостью, какая для нашего пола выразительнее, трогательнее и желаннее, чем любые иные проявления чувств. Фигура моя его, видимо, очаровывала, но в скромности и невинности своей он, верно, и не подозревал, что наслаждение разглядывать меня дарил ему любовь или вожделение; глаза же его, от природы похотливые, а тут еще и озаренные страстью, говорили куда больше, чем он даже предполагал их способными выразить. Таким образом, сказать по правде, я всего-навсего заметила миловидность юноши, ни в малой степени не кокетничая с ним: уже одна только гордость уберегла бы меня от подобного, если бы мистер Г. не опустился до случки с горничной, к которой он даже вполнину человеческой страсти вспылать не мог, и не подал бы тем самым опасный для меня пример, так что теперь я стала смотреть на этого паренька как на во всех отношениях очаровательный инструмент замысленной мною отплаты мистеру Г. по обязательству, при котором я скорее совесть в себе убила бы, чем осталась у него в долгу.

Рассчитывая добиться исполнения своего замысла, я два-три раза, когда этот молодец приходил с записочками, устраивала так, что он – словно само собой, будто невзначай – оказывался у моей постели, когда я еще не вставала, или в моей уборной, когда я одевалась; я беззаботно показывалась или позволяла себя разглядывать, и тут – будто безо всякого умысла – то грудь порой обнажала чуть больше, чем следовало, то

волосы, делавшие столь прелестной мою головку, распускала, погружая в их естественный водопад расческу, а то с ножки стройненькой вдруг спадала подвязка, которую я позаботилась не завязать перед его приходом, и направляла его мысли в нужное мне русло, что подтверждали вспыхивавшие глаза паренька и румянец на его щеках; довершали дело особенные легкие пожатия руки, когда я забирала у него послания.

Убедившись, что он уже достаточно созрел и распален для моих целей, я поддала жару, задав ему несколько наводящих вопросов, вроде таких: а нет ли у него любовницы?.. она красивее, чем я?.. смог бы он влюбиться в такую, как я?.. ну, и всякое такое. На все на это краснеющий простак отвечал прямо, как мне того хотелось: его охватывала скованность, свойственная подлинному естеству и нетронутой невинности, и в то же время держался он со всей неуклюжестью и простотой деревенского обращения.

Решив, что он уже дошел до отметки, для него предназначенной, я однажды, ожидая его к определенному часу, позаботилась о том, чтобы убрать все преграды с пути, мною замышленного. Все было готово; он подошел к двери гостиной и постучал, я пригласила его войти, что он и сделал, притворив за собой дверь, и я тут же убедила его закрыть двери изнутри на задвижку, делая вид, что без этого ее может распахнуть сквозняком.

Сама же я во весь рост вытянулась на том самом диване, который был свидетелем вежливых утех мистера Г. Я была в том состоянии раздетости, какое достигается тщательной небрежностью, свободой одеяний и их крайне возбуждающим беспорядком: никаких корсетов,

никаких фижм и кринолинов... никаких помех, никаких препятствий и в помине нет. С другой стороны, он стоял несколько в отдалении, и взгляд мой охватывал целиком всю его красиво очерченную, ладную фигуру здорового деревенского парня, от которого исходила сладостная свежесть цветущей молодости; блестящие совершенно черные кудри его, удачно обрамлявшие лицо крупными завитками, были мило подобраны сзади; новые плотно облегающие лосины хорошо очерчивали налитые, словно вылепленные бедра, белые чулки, расшитая позументом ливрея, косая сажень в плечах – все это вместе являло картину, на которой красоты плоти и крови никак не ущемлялись скудостью наряда, более того, им даже шла его щеголеватая аккуратность и простота.

Я велела ему подойти и подать принесенное послание, небрежно отбросив при этом книгу, которую держала в руках. Он зарделся, подошел настолько, чтобы можно было подать письмо, протянул его и довольно неуклюже застыл, дожидаясь, когда я заберу конверт, не в силах глаз оторвать от моей груди, которая, благодаря старательно учиненному беспорядку с шейным платком, была достаточно обнажена и казалась скорее слегка прикрытой, чем упрятанной под одеждой.

Улыбаясь ему прямо в лицо, я приняла письмо и тут же, мягко ухвативши его за рукав рубашки, потянула парня к себе, вспыхнув при этом румянцем и почти трепеща, ибо, несомненно, крайняя его стыдливость и полнейшая неумелость требовали, чтобы, по крайней мере, на первых порах мои позывы придавали ему уверенность. Тело его достаточно склонилось надо мной, так что, потрепав его по гладким, безбородым скулам, я спросила, уж не страшится ли он леди, а потом взяла и утвердила его руку на своей груди, нежно прижав ее.

Грудь моя успела прекрасно оформиться и налиться плотью, сейчас, охваченная желанием, она часто и бурно поднималась и опускалась под его рукой. Вот уже взор юноши загорелся взрослым огнем воспламененного естества, щеки его заалели: онемев от радости и, похоже, стыда тоже, он не в силах был вымолвить ни слова, но его облик, его чувственность достаточно убеждали меня в том, что призыв мой услышан и что мне нечего бояться разочарования.

Губы мои, вдруг оказавшиеся на пути его так, что он не мог избежать поцелуя, заморозили, воспламенили его, придали ему решимости. И вот уже взгляд мой упал на ту часть его одежды, под которой скрывался необходимый для наслаждения предмет; поскольку я слишком далеко продвинулась, чтобы останавливаться на этом волшебном пути и в самом деле не могла больше сдерживать себя или ждать, когда медленно двинет вперед его целомудренная стыдливость (а он, по всему судя, и впрямь оказался младенцем, на мне утратившим свою невинность, я положила свою руку туда, где меж ног его угадывала и ощущала скрытое под лосинами жесткое и твердое тело, конца которого, однако, мои пальцы никак не могли нащупать. Любопытствуя, стремясь раскрыть эту тревожащую тайну, я принялась тереть его застёжки, которые едва не отлетали под напором изнутри, пока наконец перед лосин не распахнулся и не выпросталось оттуда ЭТО. С неожиданным удивлением я увидела, как из-под рубашки высвободилась не мальчишеская игрушечка, не оружие мужчины, но нечто размерами прямо-таки с майский шест, величины такой невероятной, что будь ей все тело соразмерно, оно принадлежало бы юному великану ростом с дерево, если не с гору. Невероятная эта

величина вновь заставила меня сжаться, но я уже не могла устоять перед удовольствием разглядеть его и даже отважилась пощупать эдакой длины, эдакой толщины живую слоновую кость! Выточена и отшлифована она была превосходно, благородная твердость ее умиротворялась кожей, которая гладкостью и бархатистой мягкостью могла бы посоперничать с тончайшей женской кожей и чья изумительная белизна превосходно оттенялась густыми зарослями черных курчавых волос, росших у основания; сквозь тугие их завитки просвечивала светлая кожа – так прелестным вечером можно заметить ясный свет, струящийся сквозь купы отдаленных деревьев, растущих на вершине холма; и еще широкая, отливающая синевой головка – скорее головища! – от которой голубыми змейками расползались, обвивая ствол, вены – все это вместе составляло самое причудливое в природе сочетание объемов и цветов.

Но еще удивительнее было то, что обладатель сей достопримечательности по недостатку возможностей в условиях строгого домашнего воспитания, а также из-за малости времени, проведенного в городе, где его многому могли бы научить, обращался со своим даром мужской мощи как совершенный для него чужак, во всяком случае, в практике утех. Теперь настал мой черед устроить ему первое испытание, если я осмелюсь рискнуть свести вместе эту глыбищу с нежнейшей моей плотью, которую сей чудовищный механизм способен просто разнести в клочья.

Впрочем, рассуждать и гадать было поздно, так как к этому времени до крайности распаленный малый, который все увидел и над которым уже не были властны ни целомудрие, ни благоговение, до сей поры его

сдерживавшие, сумел, благодаря чувствительнейшим подсказкам мгновенно обучающей природы, запустить дрожащие от нетерпеливого вожделения руки мне под юбки и, не увидев на лице моем никаких особых примет гнева или недовольствия, какие могли бы его отвадить и остановить, нащупал и нежно сжал средоточие страстных своих устремлений. О-о-о! прикосновение его пальцев обожгло и воспламенило меня, все и всяческие страхи враз сгорели в невыносимом этом пламени, ноги мои сами собою разошлись, давая руке его полную свободу действий: и вот уже взметнувшиеся юбки полностью открыли ему цель, не попасть в которую было невозможно. Парень был уже на мне; я единым движением расположила тело свое под ним так, чтобы было ему удобнее, чтобы никакие препоны не могли бы помешать его продвижению, ибо таран его, не находя входа, бился и жестко тыкался наугад в самые разные места то выше, то ниже, то в стороне от цели до тех пор, пока, сгорая от нетерпения под этими раздражающими ударами, я не взялась за него рукой и сама не направила сей неистовый движитель страсти туда, где юному новобранцу предстояло получить свой первый урок в искусстве утех. Таким образом отыскал он пленительное, но слишком маленькое для него отверстие, впрочем, созданный таким гигантом, вряд ли он вообще мог бы отыскать отверстие себе под стать, куда мог бы проникнуть без труда; мое же, хоть туда и часто наведывались, и вовсе не было настолько велико, чтобы легко его впустить.

Все же я сама так точно направила головку сего громоздкого механизма, что ощущала ее на самом пороге входа в сокровенные свои глубины, и когда он сделал выпад, я вовремя дополнила его собственным

движением, отчего внешние губы сильно растянулись, уступая наступательной запальчивости, мною поддержанной, и оба мы почувствовали, что прибежище гигантом найдено. Следуя дальше за зовом естества, юноша вскоре жуткими – и для меня очень болезненными – разрывающими ударами вклинился наконец так далеко, что вхождение можно было считать достаточно основательным; тут он застрял, а я испытывала теперь такую смесь наслаждения и боли, какую и описать невозможно. Меня уже одинаково страшило и то, что он станет распарывать меня дальше, и то, что он уберет орудие свое вовсе, для меня равно невыносимо стало и держать его в себе, и расстаться с ним. Ощущение боли, однако, превозмогло, чудовищные размеры и жесткость тарана, который непрерывно быстрыми толчками продолжал прорываться все глубже, вынудили меня вскрикнуть: «О-о! милый мой, мне же больно!» Этого было достаточно, чтобы остановить робкого подбострастного мальчика даже на полпути, и он тут же вытянул сладостную причину моих страданий. В глазах же его красноречиво выражались мольба о прощении за причиненную боль и одновременно нежелание покидать место, обволакивающий жар которого вызвал в нем такой порыв вожделения, какой ему до безумия хотелось удовлетворить до конца, но, еще новичок, он опасался, что я стану мешать этому из-за боли, которую он мне причинил.

Но я-то ведь и сама отнюдь не рада была тому чрезмерному угождению, с каким он встретил мои восклицания; я все больше и больше распалаясь, видя перед собой этот пробойник, все еще взметенный в сильнейшем возбуждении и выставивший вперед свою обнаженную пунцовую головку. Прежде всего я

удостоила юношу ободряющего поцелуя, который он вернул мне с жаром, как бы благодаря, а может быть, и заглушая дальнейшие жалобы; затем я вновь устроилась так, чтобы принять – с любым для себя риском – возобновленное вторжение, с которым на сей раз юноша ни на миг не промедлил: как только он оказался сверху, я снова ощутила, как гладкий и твердый хрящ пробивается ко входу, куда он попал уже легче, чем прежде. Боль пронзала меня при попытках его проникнуть до конца, что он не без заботливости проделывал постепенно, но все же я держалась и не жаловалась. Между тем мягкие ткани прохода расслабились, поддались и растянулись до самого предела под напором твердого, толстенного тарана, вызывая одновременно восхитительное чувственное ощущение и боль от растяжения плоти, и впустили этот механизм примерно наполовину. Тут он и застрял, несмотря на самые судорожные попытки проникнуть глубже, дальше ни на дюйм продвинуться не смог, ибо тут юношу охватила кульминация наслаждения, а плотное давление облегающих жарких складок плоти исторгло из его механизма исступленные струи даже прежде, чем им навстречу устремились мои, задержанные болью, какую я испытала во время нашего соития из-за невероятной величины орудия, пусть и пущенного в ход пока едва не в половину своей длины.

Я ожидала, хотя того и не хотела, что он уйдет, тем радостнее было мне обмануться: малый оказался не из тех, кто так просто уходит. Этот глубоко и славно дышащий, до крайности распаленный юноша, пламенеющий соками естества, готов был показать мне моего наездника во всей своей красе. Самую малость переждав, пробуждаясь от истома наслаждения (в

которой, кажется, на какое-то время растаяли все его чувства, пока он, закрыв глаза и учащенно дыша, салютовал исходящей из него невинности), он по-прежнему оставался на посту, ненасыщенный удовольствием и упоенный этими новыми для себя восторгами, до тех пор, пока оружие его не вернуло свою твердость (внешне она словно бы и не уменьшалась) окончательно, не покидая заботливых ножен. Со свежими силами таран принялся прокладывать себе путь в меня, что в немалой степени облегчалось теперь благодаря целительному впрыскиванию, увлажнившему все внутри прохода. Удвоив, стало быть, силу и мощь таранных ударов, ободряемый пылким аппетитом моих движений, юноша продвигался к успеху: мягкие, хорошо смазанные стражи не способны были уже сдерживать такого деятельного взломщика, они поддались, расступились и открыли перед ним весь проход. И вот не без помощи естества и при моем полном ему содействии понемногу, полегоньку, рывками, толчками, дюйм за дюймом продвигаясь вперед, яростный меч целиком зашел в принявшие его ножны, и еще один мощный толчок всадил его в них по самую рукоятку. О чем я сразу узнала по соприкосновению наших тел (настолько тесному, что завитки и моих и его волос перепутались и переплелись). Глаза охваченного страстью юноши горели огнем восторга, все в облике и движениях его свидетельствовало об избытке наслаждения, какое и я уже стала чувствовать вместе с ним, ибо ощущала его в самых недрах своего существа! У меня голова шла кругом от восхищения! Возбужденная до невыносимости тем, что происходило в лоне моем, насыщенная и переполненная аж до пресыщения, я лежала под ним, судорожно и тяжело дыша, пока его прерывистое дыхание,

неразборчивый лепет, брызжащие живым пламенем глаза, ставшие еще яростнее и еще жестче выпады не подсказали мне приближение второй его кульминации. Она наступила... и милый юноша, целиком во власти экстаза, замер в моих объятиях, словно душу свою растворяя в потоке, извергавшемся плодородным жаром в глубочайшие тайники моего тела, где каждый каналец, каждая трубочка, для наслаждения предназначенные, несли навстречу свой переполнявший их поток. Так мы пережили несколько мгновений – потерянные, бездыханные, нечувствительные ни к чему и ни одним из органов, кроме тех, какие излюблены самой природой, тех, какие вобрали сейчас в себя все самое восхитительное, что есть и в жизни и в ощущениях. Когда совместное наше с ним забытие немного прошло и малый вытащил великолепный свой таран-расширитель, одаривший меня ощущениями такого подлинного наслаждения, в котором утонули всяческие мысли об отмщении, из раздвинувшейся раны-прохода побежал ручеек жемчужной жидкости, стекавший по внутренней стороне моих бедер, смешанный со струйками крови – свидетельствами разрушительных действий чудовищного механизма, восторжествовавшего ныне над какой-то моей вторичной девственностью. Я прикрыла это место своим шарфом и вытерла все, как могла, насухо, пока паренек оправлялся и застегивался.

Я усадила его рядом с собой. Он же, набравшись мужества после такой близости, одарил меня еще одним естественным взрывом утех нежной признательности и радости за новое, доселе не изведенное им блаженство, какое я ему даровала. Для него и впрямь все было внове, никогда прежде не приходилось ему сталкиваться с таинственной отметиной, расщепленным отличительным

признаком женщин, хотя никто не был лучше него вооружен для проникновения в самые глубины их лона и для воздаяния им благороднейших почестей. По некоторым его движениям, по беспокойству его рук, что вовсе не бесцельно шарили по телу, я поняла, как жаждет он удовлетворить свое любопытство, как хочется ему посмотреть, потрогать те сокровенные места, что манят к себе, сосредоточивают весь пыл воображения; радуясь любой возможности удовлетворить его самые дерзкие юношеские желания, я позволила действовать как ему заблагорассудится, без удержу и стеснений.

Легко прочитав в моих глазах, что я всю себя отдаю на волю любых его желаний, он пробрался мне под юбки и рубашку и быстренько убрал эти закрывающие свет преграды, чем доставил мне удовольствие едва ли не большее, чем себе; при том, поднимая мое платье вверх, он сопровождал это тысячью поцелуев, какими, видимо, полагал нужным отвлекать мое внимание от того, что он себе позволял. Все мои занавеси были теперь подняты и закатаны до самого пояса, я откинулась и приняла на диване такую позу, какая являла его взору всю область наслаждений и весь роскошный пейзаж, ее окружающий. Вдохновенный юноша все прямо-таки пожирал глазами и пальцами пытался открыть свету еще больше таинств чувственной темноты и восхитительной глубины: он открывает складки губ, мягкость которых, податливая и впускающая любое твердое тело, тут же обволакивает его и не позволяет проникнуть свету; забираясь дальше, он наталкивается и дивится плотному язычковому наросту, который, податливый и расслабленный после недавнего наслаждения, теперь под прикосновениями и ощупываниями пламенных пальцев все больше и больше твердеет и разрастается, пока пылкое возбуждение этой

очень чувствительной частички не вызывает у меня вздох, словно от боли; парень сразу же убрал любопытные, исследующие пальцы, прося у меня прощения поцелуем, который только раздул пламя, занявшееся там.

Новое всегда воздействует сильнее всего, а в утехах – тем паче, так что не было ничего удивительного в том, что паренек был восхищен предметами, самой природой созданными интересными, а ныне впервые открытыми взору и осязанию. Да и я, со своей стороны, с лихвой была вознаграждена за доставленное ему удовольствие тем проявлением власти, какую имели предметы доселе запретные, а теперь обнаженные для любых прихотей над безыскусным, во всем естественным юношей: глаза его пылали, щеки разгорались алым пламенем, дыхание сделалось порывистым и жарким, руки его судорожно сжимали, открывали, снова сжимали губы и края этой глубокой плотской раны или ласково теребили разросшийся, будто мох, покров волос – потакание всем этим похотливым шалостям его обещало избыток, буйство неземных радостей. И он недолго так испытывал мое терпение, ибо предметы, открытые для него, напомнили малому о собственном замечательном механизме, который тут же был высвобожден, взят на изготовку и, вызывая целую бурю чувств, нацелен прямехонько в трепещущую от предвкушения плоть, славшую ему немой, но хорошо понятный сладостный вызов. Проникнув в жадную эту плоть головкой, понуждаемый обновленной яростью страсти, таран ворвался и прошел весь путь по размягченному каналу утех, снова все бросая в дрожь, снова переворачивая и взрывая все во мне. Ни с чем не сравнимое удовольствие! Не считая, конечно, потока свежих струй

из того же движителя всех пламенных страстей, из тех сокровенных источников, с помощью которых естество заполняет резервуар радости тогда, когда отметка, грозящая наводнением, пройдена.

Я была так помята, так разбита, так истощена этим превосходством силы, что едва могла пошевелиться или приподняться, и дрожь меня била до тех пор, пока мало-помалу возбуждение не стихло, а чувства не улеглись. Настал час, когда мне следовало распротиться с молодым человеком; я как могла ласково сказала ему, что нам необходимо расстаться, чего я не хотела так же, как и он, готовый, казалось, с воодушевлением удерживать поле сражения и вновь пойти в наступление. Но опасность была чересчур велика, и после нескольких сердечных поцелуев, советов держать все в тайне и быть осмотрительным, я заставила себя наконец отправить его, не без уверений, что вскоре мы увидимся снова с той же самой целью. Сунула я ему в руки и гинею, но не больше: появление у него даже малости лишних денег сразу вызвало бы либо подозрение, либо разоблачение; всего стоило опасаться, ведь юноши в таком возрасте так неосмотрительны; если бы нашей сестре не приходилось опасаться этого их недостатка, то, слишком очаровательные, молодые парни были бы слишком неотразимыми.

После столь бурных, пресыщающих порывов утех кружилась голова, и, опьяненная, я навзничь лежала на диване, потягиваясь в изумительной истоме, растекавшейся по всем моим членам, и поздравляла себя за тот способ, каким была отомщена всласть: тем же манером и на том же самом месте, где, как предполагалось, мне была нанесена душевная рана. Никакие мысли, никакие беспокойства из-за последствий

меня не тревожили, ни разу и ни в чем не упрекнула я себя за то, что таким поступком я всецело отдала себя профессии, которую куда больше открыто хулят, чем перестают пользоваться ее услугами. Сожаления о том, что случилось, я сочла бы неблагодарностью по отношению к обретенным наслаждениям; а поскольку грань мною была уже преступлена, то, с головой нырнув в поток, который стремительно меня понес, я надеялась утопить в нем всяческие чувства стыда или порицания.

Я продолжала лежать, предаваясь столь похвальным рассуждениям и нашептывая про себя что-то вроде безмолвного обета невоздержанности, когда вошел мистер Г. Осознание пагубности теперешних моих занятий только добавило краски и без того разгоряченному недавними сражениями лицу, что – наряду с пикантным состоянием моего белья – исторгло из мистера Г. комплимент аппетитному моему виду, искренность своих похвал он вздумал подтвердить действиями столь скорыми, что я задрожала от страха, представив, как он тут же обнаружит, в каком состоянии после недавних битв пребывают те самые органы, до каких он вождедел добраться: отверстие отверсто и воспалено, губы вспухли от необычайного растяжения, завитки волос перепутаны, смяты и распрямились от обильной влаги, что вымочила все вокруг; короче, чувственность и состояние их настолько отличались от обычных, что это едва ли ускользнуло бы от внимания такого педантичного и такого опытного человека, каким был мистер Г., и уж, конечно же, он не преминул бы отнести все эти отличия на счет именно того, что на самом деле случилось. Выручила меня чисто женская уловка: я притворилась, что жуткая головная боль и жар от лихорадки не располагают меня принимать его

объятия. Он тому поверил и милостиво прекратил свои нападки. Немного времени спустя пришла какая-то пожилая дама, став в комнате третьей, что оказалось весьма a-propos для того смятения, в каком я пребывала, и мистер Г., наказав мне поберечь себя и надавав советов, как лучше всего поправиться, оставил меня в покое и душевно облегчил своим уходом.

Под вечер я позаботилась о том, чтобы мне приготовили горячую ванну с ароматическими травами и пряностями, выкупалась в ней и понежилась; из ванны вышла я очищенной и телом и душой во всем блеске сладострастной неги.

Утром следующего дня, проснувшись как никогда рано после спокойной, безмятежной ночи, полной отдыха и сна, не без некоторой опаски и беспокойства задумалась я о том, какие новые изменения могли появиться в мягкой и нежной плоти моей после столкновения с механизмом, размеры которого так годились для разрушения всего во мне.

Обеспокоенная дурными предчувствиями, я едва нашла в себе силы опустить руку и ощупью проверить состояние дел.

Весьма быстро, впрочем, я вполне избавилась от всех своих страхов.

Шелковистые волосы, ограничивавшие заповедные места, снова расправились, вновь обрели привычную для них курчавость и ухоженность; складки плоти, выдержавшие главный удар тарана, не были больше ни вздутыми, ни покрытыми слизью, самый тщательный осмотр не обнаружил бы ни малейших изменений ни в пухлых губах, ни в самом проходе, который они собою

оберегали, ни снаружи, ни внутри, я уж не говорю о том, в какой холе все пребывало после горячей ванны.

Убедившись, что все в должном порядке, я припомнила теперь свои страхи только для того, чтобы посмеяться и над ними, и над самую собой. А затем, ошастливленная двойным успехом – утех и мести, – я всецело предалась восторгам, в каких прямо-таки купалась. Вытянувшись в чистой постели, вся пышущая животворным теплом, я охвачена была испепеляющим нетерпением вновь предаться тем же радостям, греховным, но бесконечно сладостным. Прямо скажу, особо долго терпение мне испытывать не пришлось: часам к десяти, как я и ожидала, Уилл, новый мой бедняга возлюбленный, пришел с посланием от своего господина, мистера Г., пожелавшего узнать, как я себя чувствую. Я заранее позаботилась о том, чтобы отослать горничную в город по делам, которые займут у нее достаточно времени; жильцов же дома мне опасаться не приходилось: эти простые и добрые люди были достаточно сообразительны, чтобы вступать в чужие дела только тогда, когда действительно могли чем-нибудь помочь. Приготовлено и продумано все было заранее: не забыто и то, что я должна лежать в постели, принимая его, и то, что едва он переступит порог моей спальни, как я потяну за проволочку и задвижка надежно закроет дверь изнутри.

Я сразу же убедилась, что юный мой хорошенький сообщник изрядно принарядился, насколько это мог сделать человек его положения. Его желание радовать не оставило меня равнодушной, ведь оно свидетельствовало о том, что я ему удовольствие

доставляю, а ни о чем больше, смею Вас уверить, я уже и не думала.

Тщательно убранные волосы, ослепительная одежда, а более всего здоровое, румяное, цветущее обличье деревенского парня делали его лакомым кусочком для женщины, и, как Вы можете понять, я всякую женщину сочла бы лишенной вкуса, кто отказался изготовить из этого лакомства роскошное блюдо, ибо, полагаю, сама природа создавала его для изысканнейших яств в утехах любви.

Так зачем же было мне подавлять в себе восторги, вызываемые благодаря этому милому созданию, если замечала я во всяком его безыскусном взгляде движение чистого, ничем не прикрашенного естества, придававшее блеску его не умеющим скрывать похоть глазам, если видела – причем ясно, прозрачно, – как горячая кровь разносит страстный жар по всей его светлой чистой коже, если даже его крепкие деревенские тискания не были лишены своеобразной прелести? О! возможно, скажете Вы, этот малый слишком ничтожная фигура в жизни, чтобы уделять ему здесь столько внимания. Может быть, и так, только, строго говоря, мое-то положение, было ли оно хоть на капельку возвышеннее? В самом деле, многим ли я была выше его, и разве его способность даровать столь восхитительное наслаждение не достаточно его поднимала, не возвышала, по крайней мере, до меня?

По мне, пусть кто желает боготворит, уважает и вознаграждает творения художника, скульптора, музыканта – соответственно тому блаженству, какое от них получает. Только в моем возрасте и с моей страстью к утехам, страстью, заложенной во мне едва ли не с

рождения, талант услаждать, которым природа одаряет человека красивого, видится как высшее из всех достоинств; в сравнении с ним обычные пристрастия к титулам, чинам, почестям и всякому такому кажутся вульгарными и стоят много-много ниже. Возможно, прелести и красоты тела не так оскорблялись бы дешевизной своей, если можно было бы просто взять да и купить или выпросить их у природы. Так, в том, что касается меня, чья философия естества вся уместается в им излюбленном средоточии чувств и кто в обретении верных средств наслаждения руководствуется его мощным инстинктом, то я едва ли могла сделать выбор, более отвечающий собственным намерениям.

Происхождение, богатство, образ мыслей мистера Г. возвышали его надо мной, повергали меня в своеобразную приниженность и ущербность, что ни в малейшей степени не способно вызвать гармонию в концерте любви, полагаю, мистер Г. и не считал нужным ради меня поступаться своим превосходством; ну, а с этим парнем мы были ближе к равенству, без какой-либо любви не способна, не в силах даровать блаженство. Болтать мы можем все, что нам заблагорассудится, а только легче всего и свободнее всего нам с теми, кто нам нравится – не говоря уж о тех, кого мы любим – больше всего.

С этим пареньком, все искусство любви которого заключалось в любовном соитии, я могла, не впадая в благоговейный трепет или манерную осмотрительность, предаваться утехам безоглядно и испытывать, устраивать все, что душе было угодно, все, что подсказывало мое чувственное воображение, и в чем он, во всех смыслах, был мне самым подходящим партнером. Вот, и теперь – мне огромное удовольствие доставляло потакать всем

дерзостям, всяческим похотливым шалостям зеленого сего соблазнителя, у кого уже прорезался вкус к искусству утех, но кто пока почти вовсе был лишен мастерства и утонченности в нем. Говоря фигурально, кто лучше его мог бы проторить путь в лесу и кому, как не ему, если по совести, больше других подошел бы титул ДУША ОХОТЫ?

Малый приблизился к постели и пока он, запинаясь, излагал послание, я любовалась тем, как краска заливает его лицо, а глаза загораются страстью очарования при виде того, что я оказалась в положении, отвечавшем самым смелым его желаниям, словно он сам все подготовил для этой сцены.

Улыбнувшись, я протянула ему руку, которую он принял, преклонив колени (вежливость, какой лишь любовь одна – великий мастер! – его обучила) и жадно облобызав. Мы обменялись малозначащими фразами, затем я спросила, не ляжет ли он ко мне в постель на то краткое время, на какое я могу позволить себе задержать его. С тем же успехом можно было спрашивать умирающего от голода, не откажется ли он откусать блюдо, вкуснее которого для него нет ничего на свете. Так что паренек без лишних разговоров освободился от одежды, непрестанно краснея от ощущения этой новой для себя свободы, и забрался под покрывало, которое я приподняла, давая ему место, – в первый раз в своей жизни оказался он в постели с женщиной.

И тут пошли обычные предваряющие нежности, возможно не менее восхитительные, чем все венчающий акт наслаждения; прямо к нему в нетерпении стремятся многие из мужчин, разрушая тем целостность спектакля утех, торопя финал и пренебрегая мизансценами

блаженства; им не понять, что в этой игре актеры обычно слишком дорожат своими ролями, а потому и не желают затягивать их до бесконечности.

Увы! наши восторги от этих утех были так скоротечны! И пир наслаждения, не подкрепленный множеством удовольствий, сделал все наши быстрые – урывками – ощущения плоскими, все свелось к прохладным ласкам пресно-обыденной жизни. Высвободившись из его объятий, я уговорила паренька быть разумным и понять, почему сейчас ему следовало бы удалиться. Хоть и с неохотой, но он стал одеваться, пользуясь любым предлогом прервать это занятие плотоядными поцелуями, объятиями и ласками, от которых и я отказаться была не в силах. Тем не менее ему удалось вернуться к господину вовремя, пока его не хватились. Однако прежде чем он ушел, я заставила его (а у него хватало чувства отказаться) забрать деньги, на которые попросила купить себе серебряные часы (предмет великой роскоши в среде прислужного сословия), в конце концов он принял подарок и заботливо хранил его как память о моем к нему расположении.

Здесь, Мадам, мне, очевидно, следует просить у Вас прощения за пристрастие ко всем этим мелочам и пустякам, столь прочно утвердившимся в моей памяти, ибо столь глубоко было впечатление. Мелкая, если со стороны взглянуть, интрижка эта вызвала великий переворот в моей жизни, и историческая правда повелевает мне не скрывать этого от Вас, тем более, что я не считаю нужным или разумным предавать неблагодарному забвению столь восхитительные утехы или держать их в тайне оттого лишь, что отнесла бы их к предметам низкой жизни. А там, между прочим, чистота

и безыскусность встречаются чаще, чем среди фальшивых, смешных изощренностей, от которых страдают самые великие мира сего, так сильно обманывает их собственная гордыня. Великие! да среди тех, кого они зовут вульгарными, простонародьем, мало отыщется людей более несведущих или менее мастеровитых в искусстве жить, чем эти самые великие мира сего. Тот воистину велик, скажу я Вам, кто никогда не прельстится ложным выбором того, что чуждо самой природе удовольствия, для кого главным и излюбленным занятием становится наслаждение красотой, где бы этот редкий и бесценный дар ни обретался, безо всякого различия происхождения или положения в обществе.

Любовь никогда не была, а теперь уже и мечь давно перестала быть основой моих отношений с прелестным юношей. Связывали отныне нас единственно утехы наслаждения; пусть природа и была очень щедра к нему, наделив таким грандиозным средством устраивать подлинные чувственные пиршества, только все же, на мой взгляд, требовалось еще кое-что, чего я жаждала и без чего невозможна для меня была страсть подлинной любви. Конечно, в характере Уилла было много хорошего: нежен, послушен и, самое главное, признателен; привязчив, но скрытен, даже слишком – он всегда, во всякое время, говорил очень и очень мало, возмещая, правда, молчаливость истовостью действий. К тому же, надо отдать ему должное, он ни разу не дал мне повода пожалеть о свободе, с какой я отнеслась к его шалостям, не пытался как-нибудь во зло мне ее использовать или неосмотрительно о том болтать. В любви, стало быть, существует predeterminedность, иначе я должна была бы полюбить Уилла, он и в самом деле смотрелся сокровищем, эдакий *bonne bouche* для

герцогинь; и, сказать правду, нравился он мне так сильно, что надо быть весьма изощренной в различении оттенков, чтобы утверждать, что я не любила его.

Счастье мое с ним, однако, длилось недолго и вскоре пришло к концу из-за собственной моей беспечности. Поначалу предпринимались всевозможные меры против малейших опасностей разоблачения, но успех непрекращающихся наших встреч настолько притупил во мне бдительность, что я забыла даже о самых необходимых предосторожностях. Примерно через месяц после первого нашего соития в одно роковое утро (время, в какое мистер Г. редко да, пожалуй, и вообще никогда меня не посещал), я была в уборной, где стоял мой туалетный столик, на мне ничего, кроме рубашки, легкой накидки да нижней юбки, не было. Уилл был со мной, и оба мы сгорали от нетерпения воспользоваться таким радостным случаем. Меня словно волна какая-то жаркая подхватила, какая-то распутная игривость мною овладела: я потребовала от своего милого, чтобы он тут же, на месте, удовлетворил мою похоть, а он колебался, не решаясь поддаваться моему капризу. Тогда я уселась в кресло, задрала рубашку и юбку, широко развела ноги и устроила их на ручках кресла, явив точнейшую цель для изготовленного к атаке орудия Уилла, тот было ринулся поразить ее, когда... Из-за беспечности моей дверь в квартиру оказалась незапертой, а дверь уборной так и вовсе приоткрыта была – и вот она распахнулась, и, прежде чем мы успели что-либо заметить, в нее тихонько вошел мистер Г., застав нас в позах, не оставлявших никаких сомнений в их предназначении.

Я пронзительно закричала и мигом одернула нижнюю юбку; парень, будто громом пораженный, стоял дрожащий и бледный, ожидая своего смертного

приговора. Мистер Г. несколько раз перевел взгляд с одного на другую, на лице его смешались выражения возмущения и горечи, постояв так, он повернулся на каблуках и, не промолвив ни единого слова, вышел.

Как ни была я потрясена, а все же отчетливо расслышала, как он повернул ключ, заперев дверь спальни комнаты; из уборной нам оставался один выход – через гостиную, по которой он сам взволнованно вышагивал, весьма громко топая и, безусловно, раздумывая, что теперь с нами делать.

Надо сказать, бедняжка Уилл перепугался настолько, что едва не лишился чувств, и как ни нуждалась я сама в душевных силах, чтобы успокоиться и приободриться, все же все их мне пришлось потратить на то, чтобы хоть чуть-чуть его в себя привести. Несчастье, какое я на него навлекла, сделало парня еще дороже для меня, и я бы с радостью вынесла любое наказание, лишь бы оно не коснулось его. Слезы ручьями текли у меня из глаз, ими я обильно оросила лицо перепуганного юноши, который – не в силах стоять, – сел и застыл, холодный и безжизненный, словно статуя.

Некоторое время спустя мистер Г. снова вошел в уборную и вывел нас перед собою в гостиную, дрожащих от страха перед приговором. Мистер Г. уселся на стул, мы же стояли, словно преступники перед казнью. Начал он с меня: ровным и твердым голосом, в каком не было ни снисхождения, ни суровости, а одно только жестокое безразличие, он спросил, что я могу сказать, чем могу объяснить столь недостойную измену ему, да к тому же с его собственным слугой, и чем заслужил он от меня такое?

Не желая усугублять вину собственной неверности дерзостными оправданиями, что было в давнем обычае у всех содержанок, я отвечала просто и честно, часто прерывая речь свою плачем и рыданиями: что мне никогда ни единая мысль обмануть его в голову не приходила (что было правдой), пока я не увидела, как он позволяет себе ужасные вольности с моей прислугой-горничной (тут он густо покраснел), что мое негодование, которому я нашла в себе силы не давать исхода в жалобах, попреках и объяснениях с ним, подвигло меня на путь, какой я даже не пытаюсь оправдывать; что же касается молодого человека, твердо заявила я, то он совершенно невиновен, поскольку, желая сделать из него орудие своего отмщения, я просто-напросто совратила его, принудила к тому, что он совершил, а потому выразила я надежду, какое бы наказание ни было уготовано мне, господину Г. все же следует различать между виновной и невинным; что же до всего прочего, то я – всецело в его власти.

Выслушав все это, мистер Г. слегка поник головой, но скоро оправился и произнес, насколько я запомнила, следующее:

«Мадам, я несколько обескуражен, и, признаюсь, отплатили вы мне сполна и тою же монетой. Мне не пристало пускаться в пререкания с людьми вашей породы и вашего образа мыслей по поводу весьма существенной разницы между поводом и следствием, достаточно того, что я настолько признаю в ваших словах наличие здравого смысла, что переменил относительно вас свое решение в связи с тем злом, какое вы мне причинили. Замечу при этом, что ваша попытка выгородить этого мерзавца великодушна и делает вам честь. Возобновить мои отношения с вами я не смогу:

оскорбление слишком велико. Я предоставляю вам неделю на то, чтобы покинуть этот дом; все, доставшееся вам от меня, останется при вас, и, поскольку сам я не намерен никогда более видеться с вами, хозяин дома выплатит вам за мой счет пятьдесят монет, с каковой суммой и при всех выплаченных долгах, надеюсь, вы это признаете, я не оставляю вас в положении хуже того, в каком я вас подобрал или какого вы от меня заслуживаете. Только себя вините за то, что оно не оказалось лучше».

Затем, не дав мне времени на ответ, он обратился к молодому пареньку:

«Что до тебя, ухажер, то ради твоего отца я о тебе позабочусь: город не место для таких глупцов и дуралеев, как ты, так что завтра ты отправишься – под присмотром одного из моих слуг – к своему отцу, которому я от своего имени настоятельно порекомендую не позволять тебе возвращаться в столицу, дабы ты здесь окончательно не испортился».

С этими словами он вышел, сделав напрасной мою попытку удержать его, бросившись ему в ноги. Он оттрнул меня, хотя, казалось, был очень тронут, и увел с собой Уилла, который, готова в том поклясться, считал, что дешево отделался.

Вновь я очутилась на плаву, предоставленная самой себе джентльменом, которого явно не была достойна. И все мои письма, ухищрения, заступничества друзей, к каким я прибегла за милостиво предоставленную мне неделю в этом доме, не могли подействовать на него хотя бы настолько, чтобы он согласился увидеться со мной. Он вынес мне не подлежащий обжалованию приговор, единственное, что мне оставалось, – исполнить

его. Некоторое время спустя мистер Г. женился на даме очень благородной и богатой, которой стал, как я слышала, безупречным мужем.

А бедняжка Уилл был незамедлительно отправлен к отцу, зажиточному фермеру, в деревню. Он не пробыл там и четырех месяцев, как пышнотелая молоденькая вдова, владелица постоянного двора, весьма хорошо обеспеченная и деньгами, и торговлей, влюбилась в него и, возможно, предварительно познакомившись с великолепием его мужских достоинств, вышла за него замуж. Я убеждена, что есть, по крайней мере, одно доброе основание, чтобы они жили друг с другом счастливо.

Я была бы рада увидеть Уилла перед отъездом, однако по распоряжению мистера Г. были приняты все меры, чтобы не допустить этого, иначе я, конечно же, попыталась бы задержать его в городе и не пожалела бы ни сил, ни средств для того, чтобы доставить себе удовольствие держать его рядом с собой. Он подействовал на мои привычки и наклонности с такой властной силой, какую не так-то легко выбросить из памяти или чем-то заменить; что же касается души моей, то тут вопроса не было: довольная, что не случилось худшего, я полагала – и дальнейшие события это подтвердили, – что и лучше ничего с ним случиться не могло бы.

Скажу прямо, хотя заботы об удобствах и сила привычки поначалу и заставляли меня добиваться расположения мистера Г., все же голова у меня шла кругом, и у меня хватило беззаботности быстрее и легче, чем мне следовало бы, справиться со своими бедами; мистера Г. я никогда не любила, а потому, покинутая им,

ощутила в себе свободу, о какой частенько мечтала, быстро успокоилась, утешаясь и радуясь тому, что запас молодости и красоты, какой я собиралась пустить в ход, вряд ли не обеспечит меня средствами к существованию. Я почитала необходимым для себя попытаться устроить судьбу, пользуясь этим запасом, предаваясь удовольствиям и радости, и даже мысли не допускала о какой бы то ни было зависимости.

Между тем некоторые мои приятельницы из числа нашей сестры содержанок, до кого ветер донес слухи о моем несчастье, слетелись поиздеваться надо мной выражением злонамеренных своих утешений и соболезнований. Большинство из них давно завидовали богатству и великолепию, в каком я содержалась; несмотря на то, что едва одна среди них нашлась бы, которая не заслуживала, по крайней мере, оказаться на моем месте, и что скорее всего со всеми ими рано или поздно случится то же самое, все равно: даже сквозь их притворную преувеличенную скорбь легко было заметить и тайное их удовлетворение при виде меня, таким образом обесславленной и обездоленной, и их тайное разочарование от того, что мне не было еще хуже.

Неисчислима злоба в сердце человеческом! И нет тут никакой разницы, к какому классу человек принадлежит, какому образу жизни он следует.

Однако время, когда мне нужно было решать что-то определенное, приближалось, нужно было думать, к какому берегу прибиваться. И тут ко мне приехала, узнав о моем положении, – предлагая мне сердечный совет и обещая оказать услугу, *миссис Коул*, средних лет женщина, очень рассудительная, с которой свела меня одна из знакомок-содержанок. К этой женщине я

чувствовала расположение как ни к одной из своих товарок, потому мне было легче выслушать то, что ею предлагалось. Как позже выяснилось, я попала в руки, хуже и лучше которых во всем Лондоне нельзя было бы сыскать: хуже – поскольку содержала она дом, пользовавшийся дурной славой, и не было конца пути непристойностей, по какому она не убедила бы меня пройти, дабы доставить удовольствие своим клиентам, не было ни единой утехи, вплоть до ничем не стесненных оргий и дебошей, каким она с порочным упоением не поспособствовала бы; лучше – поскольку в столичном мире порока ни у кого не было больше опыта, чем у нее, никто лучше ее не мог бы дать здравый совет и уберечь от наихудших опасностей нашего ремесла, и – что совсем уж редкостным было в среде ей подобных – при всей своей предприимчивости и добрых услугах довольствовалась она умеренным доходом, не было в ней обычной для таких случаев ненасытной жадности. В действительности, по происхождению и воспитанию была она из весьма благородного сословия, но в судьбе ее так соединилась целая цепь несчастий и бед, что опустилась она до таких дел, которыми занималась частью по необходимости, частью по своей охоте, так как никогда еще женщина не испытывала большего удовольствия от того, что разворачивала дело на полный ход ради самого дела, не было женщины, которая лучше разбиралась бы во всех таинствах и тонкостях того, чем она занималась. Думаю, вполне заслуженно достигла она самой вершины в своей профессии и дело имела лишь с отборными, достойными клиентами, для удовлетворения желаний которых содержала достаточное число своих дочек постоянного призыва (так она звала тех, кого юность и личные прелести рекомендовали ей удочерить и

наставлять; некоторые из них, благодаря ее урокам, при ее руководстве и посредстве весьма и весьма преуспели в этом мире).

У этой достойной и благородной женщины, под чье попечение я отныне себя отдавала, были причины (к ним прибавлялось и уважение к мистеру Г.) не высказывать слишком явно свое участие в этом деле, так что в день, назначенный мне к выезду, один из ее приятелей заехал за мной и перевез меня на новую квартиру в доме мастера по выделке щеток на Р***-стрит, в Ковент-Гарден, по соседству с собственным домом миссис Коул, где поселить меня у нее не было возможности. Квартиры, вроде моей новой, снимались уже не первым поколением дам для утех, хозяин дома об их занятиях был прекрасно осведомлен, но полагал, что, если только плата вносилась вовремя и сполна, все остальное настолько мило и удобно, насколько можно пожелать.

Обещанные мистером Г. при расставании пятьдесят гиней были мне должным образом выданы, вся одежда, все пожитки мои, стоившие, по меньшей мере, двести фунтов, собраны и уложены, их отнесли в коляску, куда и я скоро последовала, нанеся прощальный визит хозяину дома и его семье. С ними я никогда не была в коротких отношениях, и сожалеть об отъезде не приходилось, тем не менее сама обстановка переезда вызвала у меня слезы. Оставила я и благодарственное письмо к мистеру Г., с которым, как я считала и как оно на самом деле вышло, я рассталась безвозвратно.

Горничную свою я рассчитала днем раньше, не только потому, что досталась она мне от мистера Г., но и потому, что я подозревала ее: так или иначе именно она

помогла ему поймать нас с поличным, возможно, в отместку за то, что я ей не доверилась.

В коляске мы быстро добрались до нового моего жилища, хотя и не так прихотливо обставленного и не такого пышного, как только что покинутое, зато такого же удобного, к тому же и за половину прежней платы, даром что на втором этаже. Сундуки благополучно были перенесены ко мне в квартиру, где моя соседка, а теперь и наставница, миссис Коул, ожидала меня вместе с хозяином дома, кому она постаралась представить меня в самом выгодном свете, то есть как особу, от которой есть все основания ожидать регулярной и своевременной платы: все мои существеннейшие достоинства и в половину не потянули бы веса сей единственной рекомендации.

Вот я и оказалась в собственном своем жилье, предоставленная самой себе и вольная вести себя, как захочется. В этом городе, в потоке, меня несшем, я могла утонуть, могла и выплыть – смотря по тому, насколько мне удастся справиться с течением. О том же, каковы стали последствия, какие приключения выпали на мою долю в новом моем ремесле, я расскажу в следующем своем письме, ибо, конечно же, в этом пришла самая пора поставить точку.

Примите, Мадам, уверения в моем к Вам почтении и проч., и проч., и проч.

Конец Письма первого

Письмо второе

Мадам!

Если я и не торопилась с дальнейшим описанием моей истории, то оттого только, чтобы выгадать время и немного дух перевести; хотя, правду сказать, теплилась у меня надежда, что вместо понуждения к продолжению Вы вовсе освободите меня от этого исповедального оброка, ведь моему самоуважению столько ран приходится залечивать после эдакой-то исповеди.

Могу себе представить, как, должно быть, надоели Вам все эти приключения, как устали Вы от однообразия описаний и выражений неизбежных, коль скоро речь заходит о предмете, основа или, если хотите, почва которого по самой природе вещей извечно одна и та же: каким бы различием форм, каким бы многоцветием мод и оттенков не переполнялись те или иные картины, те или иные ситуации, невозможно избежать в них повторения тех же самых образов, тех же самых фигур, тех же самых выражений. Одно только это способно вызвать неприязнь, а ведь однообразие – не единственная беда. Возьмите такие слова, как РАДОСТИ, СТРАСТИ, ПОРЫВЫ, ИССТУПЛЕНИЯ и другие исполненные пафоса термины, давно принятые в ПРАКТИКЕ УТЕХ и весьма для нее подходящие, – они стали плоскими, утратили немалую толику присущей им вдохновенности и энергии из-за частоты, с какой они не могут не появляться в повествовании, где это самая ПРАКТИКА открыто и заранее объявляется смыслом и сущностью содержания. Не могу не уповать, зная чистосердечие Ваших суждений, на то, что Вы сделаете скидку на неудобство положения, в какое – в этом отношении – я попала отнюдь не по

своей охоте. Да будут порукой мне Ваше воображение и Ваша чувствительность, они, надеюсь, не откажутся от пленительного труда заменять и дополнять стершиеся слова там, где мои описания зачахнут или совсем не получатся: воображение охотно вызовет пред Вашим взором картины, которые я пишу, а чувствительность вдохнет жизнь в краски, если те, захватанные и затасканные чересчур великим множеством рук, поблекли и потерялись.

То, что Вы, поощряя и подбадривая меня, говорите о невероятной трудности так долго выдерживать стиль, ни в чем не поступаясь вкусом, когда приходится отыскивать золотую середину между тошнотворной грубостью скабрёзных, просторечных и непристойных выражений и смехотворной нелепостью жеманных метафор и пышных иносказаний, весьма и весьма здраво и свидетельствует о Вашей, Мадам, бесконечной доброте: ведь тем самым Вы оправдываете меня в собственных глазах за неизбывную мою любознательность, удовлетворять которую приходится столь исключительно за мой же счет.

Возвращаясь теперь к тому, на чем я в прошлый раз остановилась, напомним Вам: был уже поздний вечер, когда я приехала на свою новую квартиру, где до самой ночи вместе со мной хлопотала миссис Коул, помогая мне разобрать, расставить и разложить вещи, с нею мы и поужинали, от нее я получила наилучшие советы и указания по поводу того, как вести себя на этом новом этапе моего ремесла, на какой я отныне вступала. Из разряда частных приверженниц утех я переходила в разряд публичных профессионалок, становилась более общим – и более доступным – товаром, со всеми преимуществами, какие такое положение дает для того,

чтобы выставить самое себя либо ради выгоды, либо ради удовольствия, либо ради того и другого. Но при этом, заметила миссис Коул, есть некое установленное правило (им, кстати, проверяется и умение в нашем ремесле), которое затрагивает меня как лицо в городе, в общем-то, новое: мне предстоит играть роль девственницы и выказать себя таковой при первом же удобном (и в смысле выгоды – приличном) случае; впрочем, нет никаких возражений, если мне придет на ум порезвиться в ожидании удобной возможности, ибо что касается лично миссис Коул, то у нее предрассудков нет, и никто не сравнится с ней во враждебности к пустопорожней трате времени. Между делом она постарается подыскать хорошего человека и уладить с ним этот деликатный вопрос, если, конечно, я согласна принять от нее помощь и совет, пользуясь которыми я, утрачивая невинность фиктивную, обретала бы все выгоды, как от настоящей.

Признаюсь, в то время подобная утонченность чувств не очень-то вязалась с моим характером, себе самой в ущерб готова я сознаться, что, наверное, чересчур охотно согласилась на предложение, против которого восставали во мне чистосердечие и искренность, впрочем, не настолько, чтобы воспрепятствовать намерениям той, кому отныне я полностью вверила руководство моими поступками. Не знаю, как то получилось, разве что по необъяснимой и неодолимой симпатии, какая создает крепчайшие узы – особенно женской – дружбы, но миссис Коул целиком и полностью завладела и моим воображением, и мною самой. Она, со своей стороны, делала вид, будто, как ей показалось, нашла у меня разительное сходство со своей единственной дочерью, которую потеряла, когда та была

в моем возрасте, – такова, мол, была причина, почему она сразу же отнеслась ко мне столь заботливо и восторженно. Вполне могло быть и так: мотивы наших симпатий и привязанностей столь тонки и зыбки, что порою порожденные привычкой или простой благосклонностью набирают силу и оказываются (не так уж и редко) куда прочнее и куда длительнее, чем подкрепленные более осязаемыми и солидными основаниями. Одно лишь мне доподлинно известно: хотя прежде, живя с мистером Г., я виделась с миссис Коул один раз, когда она, будучи у нас в гостях, пыталась продать мне дамские шляпы, очень скоро она вызвала во мне такое полное к себе доверие, что я безоглядно отдалась под ее попечение и в конце концов стала уважать, полюбила ее и повиновалась ей всею душой. Должна сказать, к ее чести, что, будучи полностью в ее руках, никогда я не ощущала, чтобы от этих рук исходило что-нибудь, кроме заботливой нежности – заботу ее о моей пользе просто не с чем сравнить; о таких вещах едва ли слыхано применительно к другим управительницам в нашем ремесле. В ту ночь мы расстались, заключив полное и бессрочное соглашение, а на следующее утро миссис Коул зашла за мною и в первый раз ввела к себе в дом.

Здесь, как мне с первого взгляда показалось, все дышало воздухом пристойности, скромности и порядка.

Во внешнем салоне, или, скорее, магазине-мастерской, сидели три молодые женщины, по виду весьма всерьез увлеченные изготовлением шляп. Все это служило прикрытием для обретения куда более ценного товара, но едва ли можно было бы отыскать трех более прекрасных созданий. Две из них были ослепительными блондинками, старшей из которых едва

ли девятнадцать минуло, третья же, скорее всего их сверстница, была пикантной брюнеткой, чьи блестящие черные глаза, совершенные пропорции линий и фигуры не позволяли ей хоть в чем-то завидовать своим светловолосым подругам. Их платье было тем искуснее скроено, чем меньше покроем его бросался в глаза, чувствовалась в нем некая форменная строгость, аккуратность и элегантная простота. Эти девушки и составляли малую семейную стайку, которую моя наставница пестовала и обучала с удивительной строгостью, содержала в поразительном порядке, если учесть, как необузданно дики оказывались девушки, будучи отпущены на полную волю. Стоит сказать, что миссис Коул никогда и никого в своем доме не удерживала, легко расставалась с теми, кто – после должного периода ученичества – оказывались непривлекательными или не желали следовать установленным правилам. Так миссис Коул – вроде бы само собой, вроде бы случайно – создала маленькое семейство любви, в котором все его члены очень отчетливо сознавали свою пользу в редком слиянии удовольствия с выгодой, требуемой внешней пристойности с неограниченной тайной свободой, а оттого позволяли наставнице, отобравшей их не только за красоту, но и за темперамент, управлять собою с легкостью, приятной и для нее и для них самих.

Трем тогдашним своим ученицам, которых она подготовила, миссис Коул представила меня как новенькую, кого незамедлительно следовало посвятить во все интимные стороны жизни дома. Прелестные эти грации приветствовали меня и одарили всеми знаками расположения, было заметно, что им и вправду очень понравилась моя фигурка, чего – в такой открытой

форме – я вряд ли могла ожидать от кого угодно из нашего пола. Девушки были достойно приучены подавлять в себе любые проявления зависти или чувства состязательности в прелестях ради общей пользы, а потому и видели во мне прежде всего партнера, входившего в семейное дело отнюдь не с трухлявым или залежалым товаром. Они обступили меня, рассматривая со всех сторон, и миссис Коул оставила нас, предварительно дав особые рекомендации, и занялась своими обычными делами по дому.

Мы были одного пола, одного возраста, занимались одним ремеслом и на мир смотрели почти одинаково – очень скоро такая общность придала нашим отношениям ничем не стесненную свободу и безграничное доверие, словно мы были знакомы уже долгие годы. Девушки провели меня по дому, показали свои комнаты, где все было убрано с необходимыми удобствами и роскошью; ввели в главное из главных – огромную гостиную, где обычно на общие балы утех собиралась избранная компания: девушки ужинали со своими кавалерами, творя при этом шалости с буйством разнузданной распущенности. Во время этих балов неукоснительно соблюдалось правило, отрицающее благоговение, скромность или ревность, по которому – исходя из принципов этого общества – любое удовольствие, затраченное на чувство, многократно воздается в ощущениях остротой разнообразия, а также прелестью покоя и неги. Создатели и послушники этого тайного ордена утех сами утонченно забавлялись, когда представляли себя воссоздателями золотого века и простоты его удовольствий, пока их невинность не была так несправедливо поругана и не объявлена грехом и стыдом.

Как только наступал вечер и витрины магазина закрывались, открывалась академия: маска притворной скромности снималась окончательно, и все девушки предавались утехам со своими мужчинами, исходя из собственных представлений об удовольствии и выгоде, причем ни одно лицо мужского пола не допускалось в академию легко и запросто – только после того, как миссис Коул вполне удовлетворялась собранными об этих мужчинах отзывами и сведениями. Короче, то был самый безопасный, самый изысканный и в то же время самый основательный дом услуг в столице: все тут так устраивалось, что благопристойность не чувствовала себя ущербной рядом с фривольнейшими из утех, в практике которых, опять-таки, выбор завсегдаев дома обнаруживал такой редкий и трудный секрет сочетания любых утонченных изысков вкуса и благородства с полнейшими и бесшабашными удовлетворениями чувственности.

Все утро ушло на ласковое щебетанье, в которое вкрапливались весьма дельные пожелания и советы новых моих знакомок, после чего мы отправились обедать. Миссис Коул восседала во главе стола, и я впервые воочию наблюдала и на себе испытывала ее искусство управлять и обращаться с людьми, какое так одушевляло всех девушек, вызывало у них огромное к ней уважение: все вели себя за обедом непринужденно, весело и легко, ни в ком не было и следа скованности, замкнутости, никаких препирательств, никаких, даже малейших, колкостей.

После обеда от миссис Коул и хором вторящих ей юных дам я узнала, что нынче вечером имеет быть формальный сбор всего капитула, посвященный церемонии приобщения меня к семейному клану дочек:

во время церемонии мне предстоит (при всем должном уважении к моей девственности, этому специальному блюду, что будет приготовлено и подано первому же подходящему клиенту) пройти обряд посвящения, который, выразили они уверенность, меня нимало не разочарует.

И без того упоенная, а теперь еще и покоренная очарованием новых моих подруг, я была слишком готова принять любое их предложение, слишком готова, чтобы хоть на миг заколебаться или подумать, за что – уже в соответствии с выданным мною *carte blanche* – все они осыпали меня новыми поцелуями одобрения и благодарности в знак того, что мои послушание и добросердечие ими оценены по достоинству. Теперь я уже стала «милочкой...», и постигала-то я все «мило и благородно...», и вовсе я не «занудная скромница...», и что быть мне «гордостью дома...», и все такое прочее.

Когда основной вопрос был таким образом решен, молодые женщины предоставили миссис Коул обсудить и оговорить детали наедине со мной. Она пояснила, что этим вечером я буду представлена четырьмя самым близким ее друзьям, одному из которых она, по обычаю дома, окажет такую милость, как позволение вывести меня на мой первый бал утех. Все четверо, убеждала меня миссис Коул, молодые джентльмены, весьма благопристойные и во всех отношениях безупречные, объединяют их и связывают общая страсть и общие удовольствия; эти джентльмены и образуют главную опору дома, к девушкам, которые ублажают их и потакают их прихотям, они очень щедры, так что можно считать их, если уж называть вещи своими именами, основателями и патронами этого маленького сераля. Это не означало, разумеется, что – в иное время – не

появлялись и другие клиенты, и все же они не шли ни в какое сравнение с этими; скажем, никому из четверки миссис Коул даже не попыталась бы представить меня девственницей – не только потому, что они слишком хорошо разбирались в такого рода делах, но и потому, что были они столь щедрыми благодетелями, пред какими непростительным грехом было бы даже подумать об эдакой уловке.

При всех предвкушениях и чувствах, взбудораженных во мне сим обетованием утех (а именно таким я и представляла себе бал), я все же сохранила в себе достаточно от женщины, чтобы притвориться колеблющейся, нерешительной и тем выказать доблесть, принеся все мои сомнения в жертву моей патронессе, кому я, кстати, все еще играя в женщину, напомнила, что мне, очевидно, нужно сходить домой и приодеться, дабы первое впечатление обо мне было благоприятным.

Миссис Коул, однако, возражая против этого, уверила меня: джентльмены, которым мне предстоит быть представленной, и положением своим и тонкостью вкуса бесконечно превосходят тех, кого забавляют и трогают любые ухищрения в одежде или украшениях, которыми женщины – глупые женщины – скорее сбивают с толку и убивают, чем обрамляют и подчеркивают свою красоту; эти умудренные опытом поклонники сладострастия умеют кое-что получше, чем просто презирать таких женщин: они, для кого лишь чистые, нетронутые прелести естества имеют значение, в любой момент готовы оставить болезненно-бледную, раздушенную и раскрашенную герцогиню ради румяной, здоровой селяночки с налитой плотью. Что до меня, заметила назидательно миссис Коул, то природа достаточно обо мне позаботилась, к ее творению никакие

ухищрения искусства нимало добавить не сумеют, а уж для этого конкретного случая, добавила она в заключение, лучшее, что может быть надето – это нагота.

Я сообразила, что моя наставница слишком хороший судья в таких делах, чтобы не исполнить ее приговор. Произнеся его, миссис Коул продолжала весьма вдохновенную проповедь доктрины безропотного послушания и непротивления всем тем своенравным утехам и забавам, какие для одних кажутся утонченными, а для других – лишенными всякого вкуса; и не дело простой девушки, кто, даруя удовлетворение, получает прибыль, выбирать между ними, ее дело – ублажать всяческие вкусы. Пока я внимала этим благим поучениям, подали чай, и вернувшиеся юные дамы составили нам компанию.

За чаем было много разной болтовни, шуток и смеха, а одна из девушек, обратив наше внимание на то, что до назначенного для сбора часа еще пропасть времени, предложила: пусть каждая из них порадует компанию рассказом о том переломном в личной судьбе моменте, когда на смену девственности пришло положение женщины. Предложение было принято, и миссис Коул внесла лишь одно уточнение: она – из уважения к ее возрасту, а я – из-за возложенного на меня титула девственницы от рассказа должны быть освобождены. Освобождение было даровано, и зачинательница такого развлечения пожелала начать с себя.

Звали ее *Эмили* – девушка светловолосая, даже слишком; все части ее тела были, если такое возможно, слишком хороши, поскольку спелая их полнота могла

вызвать нарекания у тех ценителей красоты со вкусом потоньше, какие отдают предпочтение изящной худобе; голубые глаза ее излучали невыразимую сладость, не было ничего прелестней ее рта и губ, смыкавшихся над рядом ровнейших и белейших зубов. Итак, она начала свой рассказ:

«Предупреждаю: ни повествование, ни важнейшее это событие в моей жизни не блещут необычностью, так что, решаясь на предложение, какое все вы приняли, я избавлена была от какого бы то ни было тщеславия. Мои отец и мать были и, насколько мне известно, по сию пору остаются фермерами в деревушке, что милях в сорока от города. Обращались они со мной по-варварски, что объяснялось предпочтением, какое они оказывали сыну, ему одному отдавали они всю свою нежность и заботу, из-за этого тысячу раз порывалась я бежать из дома и пуститься бродяжить по белу свету. Мне было пятнадцать лет, когда в конце концов произошел случай, который толкнул меня на такую отчаянную попытку. Я разбила фарфоровую вазу – предмет гордости и идол души обоих моих родителей; самое меньшее, чего я могла ожидать от них за это, – беспощадной порки и колотушек, так что по глупости, свойственной этому юному возрасту, я убежала из дома и – со всякими приключениями – добралась до дороги, ведущей в Лондон. Насколько и как горевали домашние, утратив меня, про то не знаю, поскольку до самого нынешнего момента я ни слова, ни полслова не слышала ни от своих родных, ни о них. Все мое движимое имущество состояло из двух золотых монет, полученных от крестной матери моей, нескольких шиллингов, серебряных пряжек для башмаков и серебряного наперстка. С таким богатством и с узелком самого необходимого из платья за спиной я

летела по дороге, обмирая от страха всякий раз, когда позади слышались шаги или какой-нибудь шум, и, готова в том поклясться, дюжину миль отмахала, прежде чем остановилась просто потому, что совсем из сил выбилась. Присев, наконец, у дорожного указателя, я горько зарыдала, все еще во власти страха от своего побега и больше смерти опасаясь попасть обратно пред ясные очи противоестественных моих родителей. Крат-150 кий отдых немного освежил меня, слезы – утешили, я было тронулась дальше в путь, но тут меня нагнал здоровый деревенский малый, который направлялся в Лондон поискать, где бы ему там пристроиться, и – вроде меня – удрал от своих друзей. На вид ему было не больше семнадцати лет, румяный, довольно хорошо сложенный, с нечесаными льняными патлами, в небольшой шляпе с полями, в домотканом сюртуке, вязаных чулках – ни дать ни взять сущий пахарь во плоти. Я смотрела, как подходил он сзади, насвистывая, держа на плече палку, к концу которой был привязан узелок – обычная принадлежность путешественников по дорогам на своих двоих. Некоторое время мы шли рядом молча, потом разговорились и решили держаться вместе до самого конца путешествия. Что замышлял и о чем думал он – не знаю, в невинности же собственных мыслей я торжественно клянусь.

Надвигалась ночь, пришлось заняться поисками постоянного двора или какого-нибудь иного крова. Тут добавилось представляться, если нас о том спросят. После нескольких головоломных попыток разобраться парень предложил такое, лучше чего, мне показалось, и не придумать. Что за предложение? Ну, как же! конечно, представляться мужем и женой – о последствиях я тогда даже и не помышляла. Договорившись наконец по такому

замечательному поводу, мы набрели на бедный придорожный приют для пеших путешественников, в дверях которого стояла какая-то старая безумная ведьма. Разглядев нас, она пригласила расположиться на ночлег у нее. Мы были бы рады любой крыше над головой, а потому вошли; спутник мой спросил всего, что было в доме, и мы поужинали, словно муж и жена, во что, если принять во внимание наши годы и обличие, нигде бы не поверили, но не в таком месте – тут всему готовы были верить. Между тем пришло время отправляться на ночлег, и никто из нас не решился опровергнуть то, о чем мы объявили с самого начала; очень приятно было, что малый этим был смущен не меньше моего и не меньше меня раздумывал, как бы избежать ночлега вдвоем в одной постели, как то, естественно, полагалось супружеской паре, какою мы представились. Пока мы раздумывали, ведьма-хозяйка взяла свечу и стала светить нам дорогу к избушке, стоявшей отдельно от дома в конце длинного двора. Пришлось нам терпеть, не возражая ни единым словом, пока она нас туда проводила. Так оказались мы в жуткой комнате с постелью ей под стать, в какой мы – само собой разумеющееся дело – и должны были провести вместе ночь. Я-то в ту пору была так непроходимо целомудренна, что даже в тот момент не понимала, чем ночь в одной постели с молодым человеком опаснее для меня, чем спанье вдвоем с девчонкой-дояркой, работавшей у нас. Возможно, поначалу и у него на уме никаких иных намерений, кроме самых невинных, не было, пока такой удачный случай не вселил их ему в голову.

И все же прежде, чем мы стали раздеваться, он загасил свечку. Мерзкая погода за окном вызывала

неукротимое желание забраться в постель, так что, сбросив одежду, я скользнула под одеяло, где паренек уже успел устроиться, – прикосновение его теплого тела меня скорее обрадовало, чем встревожило. Прямо скажу, новизна ощущений гнала от меня сон, но даже и в таком положении я все еще ни малейшей тревоги не испытывала. Только... о-о! как же могучи позывы естества! И как немного нужно, чтобы пустить их в ход! Молодой человек подсунул под меня руку и осторожно притянул к себе, как бы для того, чтобы нам обоим стало потеплее – меня так жаром и обдало, когда мы с ним сошлись грудь в грудь, совсем иным жаром, какого никогда в жизни я не чувствовала, даже не знала, что такой и в природе-то существует. Ободренный, полагаю, моим спокойствием, юноша рискнул меня поцеловать, я же, не раздумывая, на поцелуй его ответила, понятия не имея о последствиях, к каким это может привести; малый же, так явно поощренный, скользнул рукой с моей груди прямо туда, далеко вниз, к той части моего тела, где чувствительность по-особому обострена и так захватывает, что я в тот же миг ощутила, как горячее его прикосновение воспламенило меня, всю обдало пышущим, странно щекощущим жаром. В эти минуты и его и меня радовали эти прикосновения, но вот он решился забраться подалее и сделал мне больно, на что я сразу и пожаловалась. Тогда он взял мою руку и направил ее – не без желания с моей стороны – туда, где сходились его ноги и где все буквально пылало жаром, там он прижал мою руку, а потом понемногу стал ее поднимать, давая мне ощутить гордое отличие его пола от моего. Напуганная такой новостью, я отдернула руку и все же, охваченная и встревоженная чувствами непонятного наслаждения, не могла удержаться и

спросила его: это для чего? Он ответил, что с моего позволения он покажет мне, для чего это, и, уже не дожидаясь от меня ответа, какому он помешал, запечатав уста мои поцелуями, которые мне вовсе не были безразличны, он лег на меня, просунул свое колено у меня между ног, развел их так, чтобы путь для него стал свободен и он мог делать со мной все что угодно. Я к тому времени прямо не в себе была, все мои обычные чувства оказались во власти чего-то нового, поэтому, охваченная то страхом, то вожделением, я лежала, не шевелясь, пока острейшая разрывающая боль не заставила меня закричать. Но было уже поздно: наездник крепко сидел в седле и не было такой силы, что могла бы его стряхнуть: как ни старалась я это проделать, ничего не получилось, даже наоборот – чаще всего мои движения только помогали тому, что он делал, и наконец неудержимый удар враз прикончил мою девственность и едва ли не меня самое. Вот и распласталась я – кровоточащее подтверждение заклатья, возложенного на наш пол: первый свой мед собирать нам с терниев.

Однако боль стихла, а наслаждение росло, вскоре я была готова к новым испытаниям, и – утро еще не настало – не было уже никого на свете дорожке для меня, чем этот погубитель девственных моих сокровищ: для меня теперь он стал всем. Как договорились мы соединить наши судьбы и наши кошельки, как вместе добрались до столицы, как жили в ней какое-то время вместе, пока нужда не разлучила нас и не привела меня на эту стезю жизни, где я давно была бы растоптана и до лохмотьев истрепана к нынешним моим летам из-за лени и падкости своей на утеху, не найди я прибежища в этом доме, – все это относится уже к событиям и обстоятельствам, которые выходят за тему,

мною предложенную, так что на этом мое повествование и заканчивается».

По порядку, в каком мы сидели, очередь рассказывать настала для *Харриет*. Из тех красавиц, каких я до того и с тех пор повидала, очень немногие имели формы, способные оспорить превосходство ее форм; их трудно даже назвать тонкими – то была самоутонченность во плоти, настолько пропорциональны и гармоничны были некрупные, но совершенной выделки ее члены. Цвет лица у нее, и без того светлый, казался еще светлее из-за пары черных глаз, блистательное великолепие которых придавало лицу больше живости, чем того обещал его цвет, который от бледности спасал премиленький румянец на щеках, постепенно сходявший на нет и, в конечном счете, совершенно исчезающий незаметно по всепоглощающей белизне. Исключительную прелесть ее облика довершали миниатюрные черты лица, вовсе не отвечавшие его настроению, склонному к праздности, спокойствию и утехам любви. Принужденная выполнить уговор, Харриет улыбнулась, слегка зарделась и таким вот рассказом удовлетворила наше любопытство:

«Отец мой был не меньше и не больше как мельником близ города *Йорка*; оба – и он, и матушка моя – умерли, когда я была еще младенцем. Попала я под опеку вдовствующей и бездетной тетушки, домоправительницы нашего лорда Н. в его поместье в графстве... где она воспитала меня со всей мыслимой заботой и нежностью. Мне еще семнадцати лет не исполнилось (а сейчас мне нет и восемнадцати), а я уже получила, единственно благодаря своей внешности (ибо ни состояния, ни имущества у меня и в помине не было), несколько выгодных предложений, но то ли природа

медлила поощрять во мне чувствительность к излюбленной ее страсти, то ли я не могла найти среди лиц иного пола никого, кто пробудил бы во мне хоть какое-то чувство, хоть любопытство познать его поближе, но только до тех самых лет сохранила я совершенную целомудренность, даже в мыслях: в сознании моем страхи и опасения – сама толком не знаю чего – делали замужество не более привлекательным, чем смерть. Тетушка моя, добрая женщина, благоволила к моей робости и боязливости, смотрела на них как на детскую впечатлительность, по собственному опыту зная, что это пройдет, а пока давала искателям моей руки надлежащий ответ.

Семейство лорда многие годы не бывало в поместье, так что было оно запущенным, предоставленным под полный надзор тетушки да двух старых домашних слуг. Поэтому весь просторный пустынный дом был в моем распоряжении, так же, как и парк, расположенный в полумиле от любого жилья, если не считать какой-нибудь случайной избушки или чего-то в том же духе.

Так в тиши, покое и невинности росла я без каких-либо примечательных событий. Но вот однажды, в роковой для себя день, я, как то частенько и раньше бывало, оставила крепко спавшую тетушку и выкроила несколько послеобеденных часов, устроившись в некотором подобии старинного летнего домика, удаленного от господского двора и выходившего окнами и дверью на небольшую речушку. Я села было за работу, какую захватила с собой, но тут на меня напала сладостная убаюкивающая дремота, чему немало способствовала обычная для того времени года и часа жара; тростниковая лежанка, корзиночка, где держала я свою работу, под головой – вот и все удобства, какими я

воспользовалась для короткого сна, от которого меня вскоре пробудили сильный шум и тревожащий всплеск в воде. Я встала посмотреть, в чем дело. Ну, а кто же это мог быть, как не сын соседа-дворянина (о чем я узнала позже, ибо никогда прежде его не видела), который забрался сюда с ружьем и, сморенный и охотой и духотой, не устоял перед искушением, исходившим от прохладной свежести потока, и не теряя времени разделся и бросился в воду с того берега. Место, откуда он нырнул, было укрыто небольшими зарослями склоненных к воде деревьев, в тени которых образовался приятный укромный уголок, удобный для того, чтобы раздеться и оставить одежду.

Первое, что я почувствовала, увидев в воде обнаженного юношу, скажу вам со всем уважением к истине, какое только можно вообразить, – это удивление и страх. Я бы убежала оттуда и немедля, но тут роковую роль сыграла моя скромность: из-за нее я не могла принудить себя воспользоваться дверью или окном, расположенным так, что никак нельзя было бы выйти и пробежать по берегу домой не замеченной молодым человеком, а такого я и в мыслях не могла перенести, до того застыдилась и засмущалась, увидев его. Принужденная, стало быть, дожидаться, пока он уйдет и я смогу освободиться, я какое-то время места себе не находила, прямо-таки сгорая от ужаса и стыда, бросив случайный взгляд за окно; оно, кстати, сделано было по-старинному глубоким, к тому же за спиной у меня не было света, так что кого-нибудь увидеть в нем снаружи было невозможно, нельзя было снаружи и дверь открыть – на то требовались недюжинная сила или мое собственное желание отпереть дверь изнутри.

Вот тут-то на собственном опыте убедилась я, что страшное и пугающее, убежать от чего нельзя, притягивает к себе наши взоры с такою же силою, как и то, что нас радует. Долго противиться неведомому этому позыву я не могла: диковинный вид притягивал – без всякого моего на то желания – взор, и я, ободренная к тому же уверенностью в собственной невидимости и безопасности, понемногу решилась взглянуть на этот пугающий, бередящий мою девственную скромность предмет – обнаженного мужчину. Стоило мне, однако, украдкой глянуть, как я тут же была ослеплена вспышкой влажного блеска кожи, белее которой и представить нельзя и на которой солнце играло так, что ото всей фигуры исходило радужное сияние. Охватившее меня смущение мешало рассмотреть черты лица, прежде всего в глаза бросились молодость и свежесть незнакомца. Я дивилась и, сама того не сознавая, восхищалась проворностью и игрой всех членов его тела, когда он плавал или резвился в воде; порой он ложился на спину, и вода бережно поддерживала его на месте, играя прекрасными волосами, расходившимися по течению пышным кустом черных кудрей; потом вода захлестывала тело, отделяя грудь от сверкающего белого живота; я не могла не обратить внимание на такое бросающееся в глаза отличие внизу его как черные мшистые заросли, откуда появлялось округлое, мягковатое, гибкое, белое нечто, колыхавшееся из стороны в сторону при малейшем движении тела или завихрении воды. Объяснить не могу почему, но по какому-то природному инстинкту именно это нечто главным образом и привлекало, удерживало и поглощало мое внимание, всех сил целомудрия не хватало, чтобы отвратить мой взор от него. Не увидев же ничего ужасного в этом

зрелище, я безотчетно упрятала подальше всяческие свои страхи, а как только чувственность избавилась от страхов, на их место явились новые желания, неведомые хотения, так что я, смотря во все глаза, исходила томлением. Огонь естества, так долго дремавший под спудом, стал пробиваться наружу, и первые язычки его пламени обожгли меня осознанием и ощущением своего пола. Между тем юноша переменял положение и, вытянувшись, поплыл на животе, резко взмахивая и ударяя по воде руками и ногами, прекраснее которых трудно было бы изваять; мокрые же локоны его облепили шею и плечи, чудесно оттеняя их белизну. А ниже, от поясницы, вздымалась пышная округлость плоти, что заканчивалась двойным куполом у основания бедер, ослепительно сверкавшим сквозь глянец водяных струй.

К этому времени меня так потрясла произошедшая во мне перемена чувств, так умилила картина увиденного, что, впавшая из одной крайности в другую – вместо жутких страхов предалась жутким желанием, – я почувствовала, как они, эти желания, сильны (возможно, жара еще больше распалила во мне жар соблазна), как под действием их естество, казалось, изнемогало до последней крайности. Теперь-то, многое узнав и многое испытав, я хорошо понимаю, что терзало меня тогда. Одна-единственная мысль владела мною: вот оно, прелестное создание, вот этот юноша, что только и мог бы принести мне счастье. И эта мысль тут же перебивалась другой – о ничтожно малой вероятности познакомиться с ним, о том, что, наверное, я вообще его больше никогда не увижу – и это подстегивало мои желания, превращая их в сущую пытку. Я все никак глаз не могла оторвать от колдовского того предмета, как

вдруг, в миг единый, юноша пропал под водой. Я не раз слыховала, что судороги сводят ноги даже у самых лучших из пловцов и некоторые из них тонули; вообразивши себе, что как раз такой причиной и вызван внезапный нырок, сразу же почувствовала я, как внушенная мне незнакомцем невообразимая нежность обращается в душераздирающий, прямо-таки убийственный страх за его жизнь. Предавшаяся ему, я, будто на крыльях, подлетела к двери, распахнула ее и понеслась к речке по пути, какой указывали мне безумный страх и невероятное желание стать спасительницей юноши. Я понятия не имела, как, какими средствами сумела бы помочь, но разве в тот момент охватившие меня страх и страсть позволили бы прислушаться к голосу разума? Все произошло в несколько мгновений. Еле живая от страха, я добежала до зеленой границы речной заводи, где, дико озираясь, искала и не находила пропавшего молодого человека. От ужаса и отчаяния я потеряла сознание и впала в глубокий обморок. Длился он, по всему судя, немало, ибо очнувшись я не сама по себе: из забытья меня вывело ощущение боли, пронзившей до самых недр моего существа. Придя в себя, я обнаружила, что не только лежу в объятиях того самого молодого джентльмена, кого я летела спасать, но что он воспользовался моей немощностью, невозможностью хоть как-то сопротивляться и практически погрузился в меня уже так глубоко, что, ослабленная всеми предыдущими борениями чувств да еще и пораженная неожиданностью нападения, я не нашла в себе ни возможности закричать, ни силы вырваться из объятий прежде, чем он довел свое нападение до конца и всецело восторжествовал над моей девственностью, в чем теперь и смог убедиться по

струйкам крови, потекшим из меня, и по тем трудностям, которые ему пришлось преодолеть, прорываясь в места заповедные. Вид крови, осознание того, в каком положении я теперь оказалась, так подействовали (он мне позже сам в том признался) на юношу, безумный порыв страсти которого к тому времени уже стих, что он, невзирая на грозившую ему опасность, на самые худшие для себя последствия, не мог совладать со своим сердцем и убежать, бросив меня одну, что проделать не составило бы труда. Я все еще пребывала в полном расстройстве от кровоточащей порухи, дрожавшая, онемевшая, не в силах подняться, перепуганная и всполошенная, как несчастная перепелка-подранок, готовая снова лишиться чувств от осознания того, что на меня свалилось. Юный джентльмен, стоя возле меня на коленях, целовал мне руки и со слезами на глазах умолял простить его, предлагая мне любое возмещение. Ясно было, позови я на помощь в тот момент, когда я в себя пришла, или исполнись я кровавой мстью, не пришлось бы мне ничего этого терпеть; к тому же насилие отягчено было обстоятельствами, о которых, правда, юноша понятия не имел: ведь именно своей обеспокоенности тем, как бы спасти его жизнь, обязана я была собственной утратой.

Но как же быстр и спор переход страстей из одной крайности в другую! И как мало знают о человеческом сердце те, кто оспаривают это! Я не могла без снисхождения взирать на этого обворожительного преступника, так внезапно ставшего предметом первой моей любви и так же внезапно – праведной моей ненависти, который стоял на коленях и омывал мои руки своими слезами. Он по-прежнему был совершенно голым, однако целомудрие мое, уже пораженное в самом своем

основании, не бунтовало, как еще совсем недавно случилось бы при виде этого. Словом, волна гнева во мне убывала так же стремительно, как на смену ей накатывался любовный вал: я уже за счастье почитала даровать ему прощение. Упреки мои звучали так невнятно и так нежно, а в глазах моих, когда они встречались с его глазами, было больше слабости, чем огорчения, поэтому ему ничего другого не оставалось, как увериться, что прощение не заставит себя ждать; тем не менее умоляющую свою позу он не изменил до тех пор, пока я не произнесла слова формального отпущения вины, какие не в силах была – после стольких вдохновенных обращений, извинений и обещаний – сдержать. Услышав их, юноша, заметно опасавшийся вновь накликать на себя беду, осмелился поцеловать меня в губы, чему я не противилась и против чего не возражала. На слабые увещевания по поводу варварского со мной обхождения он ответил объяснением тайны моего падения, если и не во всем ясным и четким, то, во всяком случае, во многом снимавшим с него вину, особенно в глазах такого предубежденного расположения к нему судьи, какой я себя все больше и больше чувствовала.

Оказывается, под воду он ушел или ко дну пошел вовсе не из-за того, что я в невежестве своем приняла за роковой конец, а всего-навсего потому, что решил испробовать трюк ныряльщиков, о каком я и слыхом не слыхивала или, во всяком случае, внимания не обращала, если о том речь заходила. Нырял он превосходно, под водой мог пробыть долго, и за те мгновения, что потребовались мне примчаться его спасать, не успел вынырнуть раньше, чем я упала в обморок; выбравшись на поверхность, он, увидя меня

распростершейся на берегу, сразу же решил, что какая-то молодая женщина решила не то подшутить над ним, не то совратить его, ведь он понимал, что уснуть тут без того, чтобы он этого не заметил, я никак не могла. В том уверившись, он решил приблизиться и, не найдя у меня признаков жизни, но по-прежнему полагая, что дело обстоит так, как он себе представлял, он отважился, поднял меня и на руках отнес в летний домик, заметив открытую в нем дверь. Там он устроил меня на лежанке, несколько раз пытался, как он клятвенно утверждал, привести меня в чувство, пока вид мой и прикосновения к некоторым частям моего тела, открывшимся ему, не воспламенили его так, что не стало сил терпеть, по его словам, сдержать своей страсти; тем более, он вовсе не был уверен, будто обморок мой и потеря чувств – это не обыкновенная уловка. Мысль такая оказалась очень соблазнительной, к тому же подкреплена была, как он выразился, вспыхнувшим нечеловеческим искушением, какое усугублялось уединением и видимой безопасностью обстановки; искушение овладело им, толкнув на поступок, противиться какому он уже не мог. Оставив меня, только чтобы дверь запереть, он вернулся к добыче с удвоенной страстью, увидев, что я все еще без чувств, расположил меня, как то было ему угодно и удобно, а я в это время ничегошеньки, будто мертвая, не чувствовала, пока боль, какую он мне причинил, не привела меня в чувство – как раз вовремя, чтобы ощутить пронзающий победный его удар, убережь себя от которого я не имела сил и о каком теперь уже почти не горевала.

Так получилось, что то ли от голоса его, приятнее которого для моего слуха ничего не было, то ли от чувствительной близости неведомого, завораживающе

интересного для меня предмета, ставшего орудием разрушения, только понемногу я начала воспринимать происшедшее в ином свете, в каком померкли все вспышки уходящей в прошлое боли. По моим наполненным нежностью взглядам юный джентльмен быстро сумел распознать приметы примирения и решил обрести свидетельство этого, запечатленное моими устами, к которым он, словно прошение о пощаде, прижал свои губы. Любовный жар поцелуя проник мне в самое сердце и в только что открытое урочище Венеры, от жара его я растаяла в истоме, не мысля уже ни в чем милому отказывать. Он же принялся так искусно ласкать и нежить меня, что утешения от ушедшей боли слились с упоительными ожиданиями грядущей радости. Отдавая себя его ласкам, я в то же время из обычной скромности отводила взгляд и вдруг, потупя взор, заметила то самое орудие жестокой шалости, которое уже (это даже я, не имевшая никакого опыта сравнительных наблюдений, поняла) принимало все более угрожающий вид, разрастаясь прямо на глазах. И не только на вид: юноша – разумеется, намеренно – направил орудие так, чтобы беспечно откинутая рука моя ощутила его твердое и жесткое естество. Подогретая нежностью и ласками, вожденная моя страсть еще больше распалась и видом и касаниями, случайными и неслучайными, пылающей его плоти; в конце концов я покорилась силе охвативших меня чувств и он обрел мое невысказанное, но различимое по зардевавшемуся лицу, согласие на все удовольствия, какие только способно доставить ему бедное мое тело после того, как он сорвал роскошный его цветок, воспользовавшись тем, что жизнь покинула меня и... лишила возможности уберечь свое сокровище.

На том, если следовать установленному правилу, мне следовало бы закончить, но я так увлеклась, что, даже если бы захотела, просто не смогла бы этого сделать. Замечу только, когда я пришла домой, никто совершенно ничего не заметил, никто даже не заподозрил того, что произошло. Я несколько раз виделась с юным восхитительным насильником своим, которого теперь страстно полюбила и который, хоть и не достиг еще возраста, чтобы потребовать полагавшийся ему по совершеннолетию небольшой, но дававший независимость доход, все же намерен был жениться на мне... Однако поскольку обстоятельства, помешавшие этому, а также их последствия, бросившие меня в круговорот публичной жизни, содержат в себе много деликатного, печального и серьезного, чтобы о том говорить сейчас, то здесь я и прервусь».

Пришел черед рассказывать свою историю Луизе, той самой брюнетке, о какой я упомянула в начале. Если помните, Мадам, я намекнула, что была она грациозна и изящна, вряд ли в ком еще можно было бы отыскать больше утонченно трогательного, я повторю: «трогательного», – чтобы отличить это свойство от «поразительного», у чего куда более скоротечный эффект и что чаще всего подходит для блондинок; впрочем, предоставляю каждому решать на свой лад и вкус, а сама воспроизведу то, что поведала Луиза:

«Если верить обыкновенным мудростям жизни, мне следовало бы нахваливать свое рождение, ведь им я обязана одной только любви, безо всякой примеси брака, но, скажу вам, вот что я поняла: навряд ли можно было унаследовать большую склонность к породившей меня причине, чем то случилось со мной. Мое рождение – довольно редкий результат первой же попытки

подмастерья-краснодеревщика поближе познать горничную хозяина-мастера, следствием чего стали ее большой живот и потеря места. Помочь моей будущей мамаше подмастерье и рад был бы – да нечем, но она все же, после всего этого позора, нашла средства, а разрешившись от бремени и отправив меня к бедной родне в деревню, даже поправила дела, выйдя замуж за процветающего пекаря-кондитера здесь, в Лондоне. Мужем своим она крутила, как хотела, и вскоре представила ему меня как свою дочь от первого брака. С тем меня и взяли в дом. Мне шести лет еще не исполнилось, когда отчим мой умер, оставив мамашу в сносных условиях, ведь собственных детей у него не было. Что до моего настоящего родителя, то его потянуло в море, там он, как мне рассказали, когда вся правда выплыла наружу, и умер, как вы можете себе представить, вовсе не богачом, поскольку был всего-навсего простым матросом. Подрастала я под недремлющим оком матери, которая продолжала вести мужнино дело; именно в ее строгом присмотре и видятся мне следы ошибки, о какой она и не помышляла, той, что стала наследственной. Мы ведь, если разобраться, страсти свои выбираем не больше, чем черты или цвет лица, моя же склонность к запретному удовольствию была так сильна, что получила, наконец, лучшее, чего стоили все мамашины заботы и предосторожности. Мне едва двенадцать минуло, как та самая плоть, какую мамаша старалась уберечь от поругания, дала мне знать о своем нетерпении стать замеченной и вступила в игру: она уже выбросила сигнал о раннем своем созревании и расцвете, покрывшись мягким пушком, который частенько оглаживался и вообще, должна вам сказать, рос под постоянным моим досмотром, обхаживанием и

оглаживанием, уж очень я радовалась тому, что считала титулом женщины – состояние, в каком я сгорала от нетерпения оказаться из-за утех, какие, я думала, к этому титулу придаются. Теперь уже для меня эта нежная плоть и новые ощущения в ней так много значили, что враз оттеснили все обычные девчоночьи игры и развлечения. Природа толкала меня на забавы посOLIDнее, когда пришла пора и все жала вожделения с зудящей свирепостью сконцентрировались в таком маленьком убежище, что я не могла ошибиться в выборе места на теле, где для хорошей игры нужен был еще один участник.

Я стала избегать любой компании, где не надеялась встретить предмет моих вожделений, закрывалась у себя наверху и в упоении одиночества тешила себя ласкающими размышлениями об утехах, воспринимая их как доступы к самим утехам, ощупывала и обследовала то, что, как подсказывало мне естество, должно стать избранным путем, врата, через какие предстояло войти, дабы обрести неведомое блаженство, которого я томительно жаждала.

Уединенные эти размышления только душу растрavляли, раздували возгоревшийся во мне огонь. Еще хуже стало, когда, уступив, наконец, невыносимому жжению маленькой волшебной плоти, я ухватила ее пальцами и немилосердно стала терзать. Порою, возбужденная вожделением до бешенства, я бросалась на постель, широко расставляла ноги и так лежала, будто ожидала долгожданного облегчения, пока, поняв всю тщетность такого ожидания, снова не сводила их, не сжимала истово, пылая и раздражаясь еще больше. Словом, дьявольская эта плоть с непрерывными ее уколами и жгучим пламенем довела меня до такой

жизни, что ни ей, ни себе я не находила покоя ни ночью, ни днем. Настало время, когда я решила, что мне вроде бы несказанно повезло: это когда я убедила себя, что форма моих пальцев чем-то похожа на то, чего я так жаждала. Один из них я – с огромным возбуждением и восторгом – и отправила в путь, хоть особо вглубь проникнуть и не смогла, но испытала-таки боль потревоженной девственности, буйством страсти довела себя на этой одинокой и последней стадии утех до того, что, наконец, замерла затаив дыхание на постели в томлении любовной неги.

Частое употребление между тем притупляет восприятие, вскоре я стала осознавать, как ничтожно и мелко это занятие, какое несказанно малое облегчение оно мне приносит, зато какой силы пожар раздувает – куда сильнее, чтобы его способно было полностью загасить сухое слабенькое щекотание.

Мужчина, только мужчина, поняла я почти инстинктивно, а еще по обрывкам разговоров, услышанных на свадьбах и крестинах, владеет целительным средством, могущим утихомирить буйный этот раздор. Только где же его отыскать, когда за тобой так внимательно следят и так бдительно тебя берегут, – вот проблема, что казалась мне неразрешимой. Можете не сомневаться, мозги свои я заставила поработать, изобретая способы, какими можно было бы и мамашину бдительность притупить, и удовлетворить неумное свое любопытство и вожделение с помощью неизведанного сильнейшего средства. Порой случается, что один-единственный случай враз делает то, к чему готовишься и что вынашиваешь долго. Однажды мы обедали у знакомых, живших на той же улице через дорогу. С нами была дворянка, снимавшая в нашем доме

второй этаж, и вот мамаше моей ни с того ни с сего прямо-таки приспичило отправиться с этой дворянкой в Гринвич; компания уже составлена была, но тут, не знаю, что за добрый гений шепнул мне притвориться страдающей от головной боли (чего, понятно, и в помине не было) и тем освободиться от прогулки, которая мне была вовсе не нужна. Притворство, как ни странно, помогло, и мамаша – после долгих сомнений – все же одолела себя, решившись прогуляться без меня; зато она с особым тщанием доставила меня домой, где заботу обо мне поручила старой и надежной прислуге, работавшей в лавке; ни единого мужчины в нашем доме не было.

Как только мамаша ушла, я сказала прислуге, что пойду наверх и прилягу на постели нашей жилички-дворянки, поскольку моя собственная была не заправлена, и наказала ей меня не тревожить, так как мне нужен только покой. Этот наказ, может, и сослужил мне великую службу. Едва я очутилась в спальне, как тут же расшнуровала корсет и, почти раздетая, улеглась поверх одеяла. И предалась старому пресному тайному занятию саморазглядывания, самоощупывания, самоувеселения, *наконец*, – все это я звала *самопознанием* в ожидании утех, что бежали от меня, и мучаясь чем-то неведомым, чего достичь и чего постичь я не могла, так что все лишь распаляло меня, разжигало во мне вожделение, единственного же предмета, способного его насытить и загасить, под рукой не было, я готова была пальцы свои искусать за то, что они так плохо играли его роль. После всех терзаний и мучений жалкими тенями наслаждения, пока чувствительнейшая моя плоть с презрением снисходила до жалкого подобия настоящего восторга, сильные позывы, настойчивое стремление естества найти облегчение в истоме и

крайнее самовозбуждение, в какое я обычно при этом впадала, утомили меня и погрузили в какой-то беспокойный сон: если тело мое изгибалось, поднималось и двигало конечностями в такт тому, что мне грезилось (а у меня были основания считать, что так я и делала), то любой, оказавшийся свидетелем этого, не мог бы не признать в моих дерганиях пантомимы любовных утех. А один свидетель, кажется, нашелся, потому как, очнувшись от недолгого сна, я почувствовала, что рука моя стиснута рукою молодого человека, стоявшего на коленях у кровати и просившего у меня прощения за свою вольность: будучи сыном леди, которой, как он знал, принадлежала эта спальня, он проскочил мимо прислуги в лавке, как ему показалось, незамеченным и, увидев меня спящую, поначалу решил удалиться, но под воздействием силы, какую ему легче осознать, чем одолеть, задержался и остался.

Что тут сказать? Испуг и удивление мгновенно уступили место предвкушению удовольствия, какого я вправе была ожидать от этого случайного приключения. В юноше я видела не кого иного, как ангела-утешителя, спустившегося с небес: ко всему прочему, был он и хорош собою. Это было даже больше, чем мне требовалось: *мужчина* – вообще и любой – вот все, к кому устремляла я самые заветные свои желания. Я опасалась, что не сумею придать взгляду и голосу достаточно завлекательности и поощрительности, и не жалела сил на уловки и намеки; меня вовсе не беспокоило, что он подумает о моей навязчивости после – меня волновало, как довести его до состояния, в каком он удовлетворил бы мои потребности и желания; не мысли и мнение его, а его дела и действия – вот что меня больше всего интересовало и заботило. Приподняв

голову, я сказала ему нежным голоском, призывавшим и его отвечать в том же ключе, что его мама ушла и вернется лишь поздно вечером. Я решила, что это неплохой намек, только оказалось, что дело я имела отнюдь не с невеждой. Впечатление, которое я на него произвела, было почерпнуто им – он очень мило в том признался мне позже – из тех судорожных движений, какими и выдала себя во сне, оно его хорошо подготовило и настроило; знай я о его настроении, я бы побольше надеялась, что он меня изнасилует, и поменьше боялась, что он останется чересчур уважителен и благороден, того меньше уповала бы я на сладчайшую нежность, какую придала голосу и взорам, чтобы вселить в него смелость не упустить случай. Убедившись, что поцелуи, которыми он покрывал мою руку, восприняты как нельзя лучше, он подобрался к моим губам и, когда припечатал к ним свои, у меня от радости и счастья голова закружилась и я упала навзничь, утянув его за собой на постель, тут же машинально перебралась с края на середину, приглашая его на свободное место рядом с собой. Дворянчик вытянулся у меня под боком и не стал тратить драгоценные минуты на разные церемонии и ухажерские безделки, а сразу же пустился в крайности, к каким подбивали его мой вид, разгоряченность и трепет: в таких случаях эти проказники, мужчины, превосходно читают нас, будто открытую книгу. Я лежала, ожидая неминуемой – наконец-то! – атаки, вожделение куда как пересиливало все мои страхи – большая редкость для девочки в тринадцать-то лет, пусть и рано во всем созревшей. Он вскинул мою нижнюю юбку с рубашкой, бедра мои, по природному инстинкту, сами собой разошлись; вожделение настолько задавило во мне

всяческое целомудрие, что даже нагота бедер, полностью открытых для него, явились прелюдией того, что наслаждение всегда будет румянить меня больше, чем стыд. Между тем прикосновение его рук, естественно, устремленных к средоточию утех, дали мне почувствовать, как похотливо они ловки и как горячи. О-о! с какою же громадной разницей воспринимала я их в сравнении с собственными пресными потугами! И вот уже жилет его расстегнут, а из заточения панталон показался потрясающий предмет всех моих упований и желаний, всех моих мечтаний и снов, всей моей любви, воистину королевский член! Я любовалась им, рассматривала и в длину и в ширину, глаз от него не отрывала до тех самых пор, пока юноша, забравшись на меня, не вместил его между моих ног: удовольствия ведать это я лишилась, зато обрела куда более сильное – чувствовать, ощущать это, и чувствовать там, где ощущения, им вызываемые, волнуют больше всего. То, как он подлаживался к малюсенькому отверстию (а оно другим и быть не могло, если учесть, сколько мне лет тогда стукнуло), я встретила более чем радушно, с громаднейшим восторгом чувствовала я его первое проникновение, а потому не очень-то обращала внимание на боль, что за этим последовала: нет ничего на свете, думала я, чего не отдала бы я за эту роскошь чувств; пронзенная, прорванная, кровоточащая, прорубленная, я все же была наверху блаженства и крепко сжимала в объятиях виновника этого упоительного разора. Когда же – долго ждать не пришлось – он повел вторую атаку, то, как ни ныла плоть, а болезненные ощущения были изгнаны властелином моего сердца, затихли робкие мои жалобы и боль быстренько растаяла в наслаждении. Восторгам

сладостным я предалась полностью, всю душу, все тело отдала в полное их владение. Разум, сознание – во мне перестало существовать: я жила лишь тем и в том, что чувствовала. Может кто-нибудь описать эти чувства, это возбуждение, к тому же возвеличенное прелестью новизны и потрясения, когда плоть моя, сильно изголодавшаяся по дражайшему лакомству, теперь восхитительно им насытилась, когда она подчинила себе все мои жизненные ощущения, у себя в доме поселила все мои чувства, пока возлюбленный гость оставался в нем? А гость вскоре оплатил мне за сердечный прием потоком снадобья, куда богаче того, каким, я слышала, какая-то царица потчевала своего любовника, – не жемчужина растворенная, а жидкий жемчуг щедро влился как раз тогда, когда я сама в истоме растаяла и оказала жемчужному потоку далеко не сухой прием – со своей стороны приветствовала его жарким истечением животворной влаги, – я утопала во всех безумных восторгах, какие, полагаю, знакомы сей честной компании.

Как бы то ни было, но вершины своих желаний я достигла в результате случая неожиданного, но не такого уж и чудотворного: молодой дворянчик только-только прибыл в столицу из колледжа и запросто зашел к матери на квартиру, где однажды уже бывал. Ни я его, ни он меня не видели, только знали о существовании друг друга, так что, увидев растянувшуюся на постели своей матери девицу, он быстренько сообразил, кто такая. Остальное вы знаете.

Событие не имело никаких пагубных последствий: и в тот и во многие другие разы. Дворянчик мой ушел незамеченным. Однако запал плоти, превративший утеху любви прямо-таки в жизненную потребность, довел меня

до опрометчивости, которая стала роковой в моей судьбе, я сделалась наконец публичной девкой и, скорее всего, познала бы худшее и разрушительнейшее из падений, если бы удача не привела меня в это безопасное и приветливое убежище».

На том Луиза закончила. Все маленькие истории позволили скоротать время, пришла пора девушкам идти готовиться к буйствам и веселью вечернего бала. Я оставалась с миссис Коул, пока не пришла Эмили сказать, что компания собралась и ожидает нас.

Тут миссис Коул взяла меня за руку, улыбнулась, подбадривая, и повела вверх, предшествуемая Луизой, которая пришла поторопить нас и осветить нам дорогу: две зажженные свечи держала она, по одной в каждой руке.

На площадке после первого лестничного пролета нас встретил молодой джентльмен, превосходно одетый и очень приятно сложенный, – это ему мне предстояло стать обязанной за приобщение к утехам в этом доме. Он весьма галантно приветствовал меня и, предложив руку, ввел в залу, пол которой был застлан турецким ковром, а вся мебель так прихотливо подобрана, что способна была удовлетворить требования самой притязательной публики; по случаю бала зала была ярко освещена, зажжено было столько всего, что света лилось едва ли меньше, чем в солнечный полдень, только сиял он в пламени свечей веселее и ласковей.

Войдя в залу, я рада была услышать, как шепоток одобрения пробежал по всей компании, состоявшей теперь из четырех джентльменов, включая моего суженого (эта кличка в доме давалась чьему-либо временному кавалеру), трех молодых женщин (в

свободно разлетавшемся дезабилье), наставницы академии и меня. Приветствуя, все принялись целовать меня, и, между прочим, благодаря обжигающему жару мужских губ можно было легко определить пол целующих.

Робея и смущаясь, увидев себя окруженной, осмотренной и обласканной такой толпой незнакомцев, я никак не могла вписаться в картину общего веселья и радости, вызывавшую их одобрение и оживлявшую их ласки.

Я, убеждали меня, пришла совершенно по вкусу всей компании, но, указывали мне, есть один-единственный недостаток, от которого легко можно избавиться, недостаток сей – мое целомудрие. Целомудрие, поведали мне, вполне может считаться украшением среди тех, кому оно потребно, чтобы возвеличиться; их же собственная мудрость гласит: это неуместная и даже дерзкая смесь, и да будет проклята и отброшена чаша, если она портит чистый глоток неподдельного удовольствия; сами они считают целомудрие, как то и положено, своим смертельным врагом, какому не дают пощады, где бы он им ни повстречался. Таков был пролог – вполне достойный веселья, что за сим последовало.

В разгар всяческих веселых шуток и шалостей, каким эта радостная свора, естественно, предалась, был подан изысканный ужин, за который мы и воссели. Мой суженый устроился рядом со мной, другие же пары разместились безо всякого разбора и порядка. Изысканные угощения и доброе вино скоро сняли всякую сдержанность, разговор все более оживлялся, не впадая, впрочем, во фривольную развязность: эти профессора

утех слишком хорошо ведали толк в предмете, чтобы губить беседы банальностями и безвкусицей или растрачивать воображение на слова прежде, чем настанет время действий. Поцелуи, однако, время от времени дарились и урывались, особенно тогда и там, когда и где шарф вокруг шейки притянул на жалкую роль охранителя, которому все отказывали в почтении: руки мужчин принимались за дело с привычной для них обидчивостью, и вскоре провокации с обеих сторон сделались столь откровенными, что предложение моего суженого начать сельские пляски было принято мгновенным согласием и одобрением, тем паче, добавил он смеясь, что, насколько ему кажется, инструменты уже настроены. Слова его прозвучали сигналом, которым миссис Коул, понимавшая что к чему в жизни, воспользовалась, чтобы удалиться: сама она участвовать в утехах больше не могла, а потому, убедившись, что все порядки для сражения выстроены, она предоставила в наше распоряжение поле брани, где мы могли сражаться на свой собственный лад.

Как только она ушла, стол был убран с середины залы и отнесен в сторону, а на его место поставлена кушетка. Я шепотом поинтересовалась у своего суженого, зачем она, на что тот отвечал, что сбор устроен, главным образом, из-за меня и участвующие в нем пары намерены теперь же понежить свой вкус разнообразием утех и открытыми для всей публики увеселениями, с тем чтобы избавить меня от налета скованности и целомудрия, на какое они взирают как на яд для радости; что хотя они время от времени проповедуют наслаждение и живут под стать этим проповедям, но они вовсе не горят желанием сделаться миссионерами, а потому вовлекаются в восторги практического обучения лишь ради прелестных

дев, которые настолько по нраву им приходится, что можно устраивать балы, где эти девы не будут чувствовать себя чужими. Если же подобное предложение может показаться или оказаться слишком диким, слишком шокирующим для юной новообращенной, старые бойцы готовы подать пример, какому я, выразил мой кавалер надежду, не откажусь последовать, ведь именно ему мне суждено оказать честь первой пробы; тем не менее, несмотря ни на что, я вполне свободна отказаться от бала, где, по законам естества, бал будут править утехы, предполагающие полный отказ от какого бы то ни было принуждения и принужденности.

Лицо мое, без сомнения, выразило удивление, так же, как молчание – мое согласие и покорность. Я уже взошла на корабль и твердо решила отправиться на нем в любое плавание, в какое заблагорассудится этой компании меня увлечь.

Первыми поднялись, открывая бал, кавалерийский корнет и милейшая смуглянка, эта ласковая и обворожительная красавица Луиза. Он повел ее к кушетке, прозванной в салоне «вполне охотно», и, грубовато выказывая нетерпение и любовную горячность, уложил на нее девушку, предоставив телу всю длину ложа. Она же грациозно вытянулась так, чтобы предстать перед публикой в самом выгодном виде, опуская голову на подушечку, весьма кстати там оказавшуюся, и так всецело отдалась предстоящему, что, казалось, наше присутствие ее нимало не занимало и не тревожило. Взметнула нижние юбки с рубашкой, и взорам собравшихся открылись точеные ноги и бедра, великолепнее которых трудно себе представить, простор их позволил хорошо рассмотреть прелестную расщелину

плоти, обозначенную пленительными зарослями волос; когда же бедра раздвинулись, то открылся манящий проход между двумя обрамленными волосами складками, мягкими и чуть-чуть припухшими. Распалившийся кавалерист раньше уже сбросил мешавшую ему обшитую кружевами одежду, теперь, сняв и сорочку, он явил нам свое мужское достоинство, взметнувшееся в сабельном прогибе навстречу сладостной атаке. Размеры мы оценить не успели: корнет в мгновение ока набросился на свою прелестную соперницу в любовной брани, которая героически приняла попавший без промаха в цель выпад, не отклоняясь и не отступая; несомненно, никому из девушек не уступала она в верности великолепного телосложения радостному предназначению своему. Мы видели, как удовлетворение сверкнуло в ее очах, когда кавалер ввел в нее полномочного представителя своего неистовства, как разгоралось оно, пока проникал он до самого предела, как, наконец, воссияло оно во время его неистовых конвульсий. Бешеная скачка поглотила ее целиком, она отрешилась от всего, кроме удовлетворения собственных сокровенных желаний, напору наездника она отвечала полным согласием упругих вздыманий и опусканий, сопровождая их трогательнейшими вздохами столь точно в такт, что по отчетливому шептанию можно было подсчитать частоту возбужденных движений нерасторжимо переплетенных, охваченных слитной судорогой тел. Добавьте сюда страстные поцелуи, пикантные, не причиняющие боли любовные покусывания, которыми они обменивались в яростном восторге, готовя все свои силы к тому, чтобы вместе достичь периода всеохватывающей нежной истомы. Настал и он. Луиза в бреду неистового наслаждения уже

не в силах была сдерживаться: «О-о, сэр!.. Сэр, хорошо!.. умоляю, не уходите!.. а-а! а-ах!..». Восклицания ее, и без того невнятные, обратились в прерывистые, под стать замирающему сердцу, вздохи, она смежила веки в сладостном упоении от извергавшегося в нее потока, признаки чего мы легко различили по замершей, истомленной позе еще мгновение назад столь неистового всадника, который на всем скаку остановился как вкопанный, часто и тяжело дыша, и в единый миг испустил утехами рожденный дух. Когда корнет встал, Луиза быстро вскочила, стряхнула вниз рубашку с юбками, подбежала ко мне и, поцеловав, потащила за собой к столу, куда ее препровождал под руку кавалерист. Вдвоем они уговорили меня дать шутливую клятву на бокале вина не оставлять без ответа вызов Луизы в ретивости веселых утех.

К этому времени готова была выступить вторая пара: юный баронет и утонченнейшая из чаровниц, обаятельная и нежная Харриет. Мой благородный кавалер представил меня им, а затем вновь проводил месту, где разыгрывалось действие.

Я убеждена, что из жриц утех никто и никогда не сочетал готовность к исполнению до бесстыдства откровенной роли, к которой ее привлекли, с подобным достоинством неиспорченности, скромности и податливой застенчивости, как Харриет. Все в облике ее, в ее движениях было исполнено безграничной уступчивости без малейшей примеси беспутства или продажного разврата. Под стать ей был и избранник, который, при явной утрате обществом способности всецело предаваться радости и наслаждениям, влюбился в девушку со страстью, ослепляющей разум, и силой чувства, любви сумел тронуть ее сердце, хотя правила

дома обязывали некоторое время воздерживаться от проявлений взаимности, налагали своего рода обязательства подчиняться общему порядку, утверждению которого сам баронет много способствовал.

И вот он повлек Харриет к освободившейся кушетке. Всякий раз, встречаясь со мной взглядом, она вспыхивала и – глазами, способными выразить и утвердить все и вся, – предупреждала, как мне лучше всего проходить тот же путь, по которому ее так зазывно влекло.

Возлюбленный (ибо таковым он и был) Харриет усадил ее на край кушетки и, обняв за шею, начал с поцелуя, пламенно запечатлев его на губах любовницы, было видно, как огонь его пробежал по жилам девушки, вдохновив ее свободно играть на этой сцене. Юноша же, целуя, мягко запрокидывал ей голову, пока та не оказалась на подушечке, и сам склонялся, все крепче сжимая объятия и способствуя падению девушки, стола желанному для обоих. Неожиданно, то ли уловив наши желания, то ли решив враз и удовольствие себе доставить, и ублажить гордыню обладателя – по титулу нынешнего бала – прелестей утонченных сверх всякой меры, он обнажил ее груди, открыв их и для своих касаний, и для взоров каждого из нас. О, как словами обрисовать эти восхитительные кормила любовной страсти! Как неподражаемо прекрасны они, маленькие, округлые, плотные и пленительно белые изваяния! А как отзывается, как ласкает шелковистость их кожи! И венцы их, эти сосцы-короны, сладостные бутоны самой красоты! Усладив взор свой такой красой, утолив губы высочайшим наслаждением поцелуев, запечатленных на прелестнейшей двойне сиятельных сфер, юный кавалер

принялся отыскивать объекты страстных услад все ниже и ниже.

Ноги Харриет по-прежнему касались пола, с величайшей предупредительностью, боясь смутить или спугнуть партнершу излишней резкостью, кавалер не задрал, а скорее украдкой поднял ее нижние юбки. Тотчас же, словно получив на то сигнал, Луиза и Эмили из чистой шалости взялись за ее ноги и, сберегая силы Харриет, держали их широко разведенными. Открылся при этом или, если выразаться точнее, предстал взорам не имеющий равных в природе парад женских прелестей. Вся компания, за исключением меня, видела их часто, но казалось, что все были так же ослеплены, поражены и восхищены, как и узревшая эти прелести впервые. Красота чрезмерная, безграничная не может не обладать привилегией вечной новизны. Форма бедер ее была столь изысканна и утонченна, что, будь на них чуточку больше или чуточку меньше плоти, это нарушило бы гармонию совершенства, ныне явленного. Бесконечно украшало их сладостное скрещение, в том месте, где сходились ноги, в низу самого гладкого, самого круглого и самого белого живота, там, где пролегла главная бороздка, какую природа погрузила меж мягких выпуклостей, между двух припухших гребней и какая во всем подходила утонченности и миниатюрности картины в целом. Нет! Не было в природе формы совершеннее и прекраснее! А эта темная тень от нависшего над сокровенной прелестью холма, поросшего пружинящим пушком! Она всей величавой роскоши пейзажа придавала трогательную теплоту, тончайший налет нежности, не выразимые ни в словах, ни даже в фантастических красках наших представлений. Воистину охваченный любовью кавалер стоял замороженный

прелестью открывшегося перед ним достаточно долго, чтобы позволить и нам устроить сладостное пиршество для глаз (без какого бы то ни было опасения пресытиться!), а затем наконец обратился к орудиям утех. Он поднял полотняный покров, что скрывал от нас основной движитель устроенного им пира наслаждений, и обнажил ствол, выдающиеся размеры которого делали обладателя подлинным героем в глазах всех женщин. Добавлю к тому, что и во всех других отношениях баронет являл собой образец джентльмена в полном расцвете и буйстве юности. Стоя у Харриет меж ног, которые ее подруги поддерживали, разведя на всю возможную ширину, он одной рукой осторожно приоткрыл губы сладостнейших уст естества, а другой в то же время опустил возбужденно поднявшийся к самому животу свой мощный таран и направил его прямо в цель соблазна; приоткрытые пальцами юноши губы приняли широкую, немного скошенную, головку цвета коралла, и, когда она угнездилась в них, кавалер словно бы замер ненадолго (тут девушки успели отойти, предоставив его чреслам поддерживать обвившие их ноги), а затем, как будто растягивая удовольствие, придавая игре больше радости, начал движение так медленно, что мы видели, как ствол его орудия исчезал дюйм за дюймом, пока наконец полностью не погрузился в мягкое пространство, где творится любовь, и поросшие волосом холмики обоих партнеров не соприкоснулись. А мы в это время без труда различали изумительный результат попадания в тело такой грандиозной мощи, буквально животворной для прелестной девы, красота которой еще более проявлялась с нарастанием удовлетворения. Жизнь заиграла на ее лице и во всей фигуре; легкий румянец на щеках, оттененный белизной кожи, запламенел пунцовым

заревом, от природы блестящие глаза уже сверкали десятикратным блеском, исчезли лень и апатия, пропала томность – Харриет предстала одухотворенной движением жизни. Своим мощным клином юноша прямо-таки пригвоздил это нежное эфирное существо, и поначалу она лежала недвижимая, не могущая пошевелиться под пронзающей ее мощью, но скоро возбуждение его убыстряющихся движений взад и вперед пробудило, оживило и проникло ей в самое сердце, так что она уже не в силах была сдерживаться и проворно отвечала его движениям, насколько позволяла изящность и хрупкость ее тела. Но вот жгучие уколы вожделения, достигнув высшей точки, вызвали в ней прилив неистовства от невыносимости испытываемых чувств, она бессильно раскинула ноги и руки, растворяясь в сладострастном порыве, внешними приметам которого стали участившиеся и более резкие конвульсии партнера, его горячий румянец, прерывистое дыхание, брызжущие огнем глаза – словом, все верные признаки неминуемого приближения последнего вздоха радости. И вот он, наконец: баронет первым впал в исступление, в решающий момент, уловив в нем начало нежной истомы, она последовала за ним и – вовремя! баронет еще плотнее слил свои губы с ее, затухающими, приятно щекочущими и всем своим видом выказывая, насколько сильно в нем блаженство, которое он все еще продолжал дарить приятно щекочущими и возбуждающими движениями. Внутренне потрясенные, мы ясно видели, каким сильным извержением духа и материи ответила ему она, когда охватившая обоих нежная дрожь пробежала по всем членам. Раскинувшись свободно, недвижимая, она лежала бездыханная, всем существом отдаваясь драгоценному восторгу; и словно

указывая на головокружительную высоту его, из-под полуопущенных век ее виднелся лишь краешек зрачков круто закатившихся в экстазе глаз; чувственный рот томно открылся, кончик языка распластался по нижней кромке белых зубов, а натуральные рубины ее губ светились вдохновением жизни. Можно ли было не задержаться, не припасть к вдохновенному этому огню страсти! Возлюбленный не покидал ее, сохраняя наслаждение неизменным, пока не изверг, не выжал, не перелил все до последней капли. Последовал еще один пламенный поцелуй, и юноша откинулся, воплощая собой удовлетворение желаний и ненасытность любви.

Едва баронет оставил Харриет, я подбежала к ней и, присев у кушетки, приподняла ее голову. Она мягко отстранилась, потом уткнулась мне в грудь, пряча покрасневшееся лицо, наконец ей удалось прийти в себя и принять подкрепляющий бокал вина из рук моего кавалера, который, оставив меня, сходил и принес вино, пока партнер Харриет приводил себя в порядок и застегивался. Покончив с этим, он повел ее, томно к нему прильнувшую, к зрительским местам вокруг кушетки.

Теперь уже кавалер Эмили пригласил партнершу исполнить свой тур в общих танцах. Это необычайно светлое, испытанное в уладах создание с охотой откликнулось на его зов. Розы и лилии, расцветшие у нее на лице, весь цветущий, пышущий здоровьем облик ее, премиленький у сельских девушек и чрезвычайно симпатичный, делали ее красавицей; среди светловолосых прелестниц она и в самом деле была одной из самых очаровательных.

Когда Эмили встала, кавалер начал с того, что в два счета вызволил из уютного заточения ее груди, даровав

им свободу естества. Когда они предстали перед нашими взорами, показалось, что в комнате прибавилось света, столь превосходна была их сияющая белизна. У нас на глазах поднялись они в радостной полноте, обращая живую трепещущую плоть высокой груди в шедевр, изваянный из мрамора, гладкая поверхность которого излучала блеск и сияние, все самое белое на свете превосходило это, белое с голубоватыми прожилками, сияние каррарской плоти. Ну, кто удержался бы от искусительного соблазна коснуться их? Кавалер коснулся ее груди, вначале слегка – и глянцевиная гладкость кожи не удержала его руку, заставив ее скользить по поверхности; кавалер надавил на грудь, и ее упругая плоть, его рукой возбужденная, в ответ вновь воспряла, качнув саму руку вверх и в миг единый уничтожив следы нажима. Так же упруги были, по сути, все части ее тела, где полнота плоти скрадывалась прелестной упругостью, которая так притягательна для касаний и ласк. Потешившись сколько можно на этой высоте забав и наслаждения, кавалер добрался до нижних юбок рубашки Эмили, закатав их к талии и подоткнул к поясу, обнажив стоявшую девушку почти полностью со всех сторон. При этом милое личико ее покрылось румянцем, глаза потупились, но скромность призвана была лишь оттенить великое право на триумф всех сокровищ юности и красоты, которыми Эмили так победоносно позволяла любоваться. Совершеннейшей формы ноги, от мысочков до бедер, сведенные вместе, казались такими белыми, такими округлыми, такими крепкими обилием тугой плоти, что манили с необычайной притягательностью, обещая никогда прежде не испытанную негу прикосновений к ним, которой и не замедлил предаться кавалер. Мягко отстранив руку, которой Эмили

прикрылась в первом порыве естественной застенчивости, он позволил нам скорее заметить, чем рассмотреть ту нежную щель, что уходила вниз и скрывалась меж сомкнутых ног; хорошо была видна поросль светло-каштановых завитков, чей шелковистый лоск придавал приятное разнообразие окружающей белизне, тоже заблеставшей в переливах легкой коричневатой гаммы. Рыцарь Эмили попытался, пока она стояла, раздвинуть ей ноги и открыть нам более полный вид той главной прелести, к которой было устремлено внимание всех, но рассмотреть что-либо в таком положении было неудобно, поэтому он подвел девушку к краю кушетки и мягко пригнул ее голову, так что та склонилась на скрещенные руки и одну из подушек; стоя с широко расставленными ногами, выгнув тело в поклоне, обнаженная до пояса, она представила нам свой полный вид сзади. Самый придирчивый взгляд радовали ее, гладкие, внушительных размеров ягодицы, эти два сияющих пухлых белоснежных сугроба, не застывшие, а наполненные жизнью; взгляд скользил к проему между ними, дальше по узкой лощине и останавливался на укромной впадине, которая завершила эту изысканную перспективу; из-за согнутой позы владелицы белые скалы несколько разошлись, приоткрыв опрятную красноту внутри, вокруг отверстия, которая на окружавшей ее белизне смотрелась, как розовая прорезь на самом блестящем белом атласе. Кавалер, джентльмен лет тридцати, несколько склонный к полноте, которая никоим образом его не портила, воспользовался намеком на предлагавшийся способ развлечения и, утвердив девушку как следует в принятой ею позе поцелуями и ласками, убедил ее поддержать его на всем остальном пути; он выпростал свой возбужденный член,

чрезвычайная длина которого немного не соответствовала толщине и была тем более удивительна, что крайне редко попадает такая протяженность у мужчин тучных, и сразу же прямо и точно использовал его, введя вверх до упора, в то время как сферическая выпуклость турецких прелестей девушки поместилась в полости, образованной его изогнутым телом между животом и внутренней поверхностью бедер; все части двух великолепных тел, таким образом, были сочленены, тепло слились, а кавалер руками своими ласкал ее тело, особенно наслаждаясь игрой с обворожительными грудями. Почувствовав, что он проник в нее насколько мог глубоко, Эмили приподняла голову с подушки и обернулась, без особого напряжения, хотя щеки ее пылали ярко-красным цветом, и улыбкой нежнейшего удовольствия встретила его поцелуй, запечатлев который на устах, кавалер плотно соединил оба тела. Затем Эмили, предоставив рыцарю предаваться восторгам по собственному усмотрению, вновь зарылась в подушку, спрятав в ней лицо и краску застенчивости. Она стояла спокойно, помогая чем могла ему удобно совершать движения туда и обратно так, чтобы соприкасающаяся плоть обоих партнеров отзывалась на обоюдное неистовство. Когда он подавался назад, мы видели меж телами часть его благородного белого жезла, покрытого пеной от беспрестанного движения, затем, когда он вновь припадал к девушке, сближавшиеся белоснежные бугры скрывали драгоценность из виду. Порой он отрывал руки от полушарий ее груди и возлагал их на полушария размером побольше, те самые, что стали объектом его нападений и блокады, он сжимал, ласково мял и гладил их игриво, пока наконец герой, столь ретиво понуждаемый, не достиг предела такого

ошеломляющего наслаждения, что его светловолосая партнерша, вынужденная теперь просто держать его на себе, стала задыхаться, терять сознание и истомленно замирать. Все убийственное сладострастие его извержения она почувствовала не раньше, чем – не в силах удержаться на ногах под напором мощного упоения – она покачнулась и, падая вперед на кушетку, увлекла его за собой; не мысля о разрыве теплого сочленения, он упал на нее, и вместе, в непрекращающемся единении тел и исступлении протекающего от одного к другой потока, они завершили свой, созданный для бала, танец радости и веселья.

Когда кавалер встал и поднялась прелестная Эмили, мы толпой окружили ее, поздравляя и по-дружески оказывая необходимые мелкие услуги.

Следует Вам заметить, хотя в реестре бала утех ни застенчивость, ни совестливость никак не значились, хорошие манеры и вежливость блюлись неукоснительно: тут не было места вульгарной непристойности, чему бы то ни было обидному или грубому в поведении; никаких неблагородных попреков девушкам за их готовность уступать забавам и желаниям мужчин, напротив, нам не приходилось, просто нужды никакой не было утешать кого-то из подруг, кому-то сострадать, смягчая ощущение принадлежности и зависимости. В общем, мужчины ныне понимают, как разрушительна для их собственного наслаждения ломка рамок бережного уважения, столь необходимого в сношениях с нашей сестрой, даже с теми из нас, чей удел лишь – ублажать мужчин. Наши галантные сластолюбцы эту мудрость осознавали прекрасно, то были истовые поклонники великого искусства и науки наслаждения, которые никогда не выказывали большей приверженности собственным

обетам неги и любви, нежели во время таких балов, когда испытаниям подвергалась угодливость девиц, когда мужчины являли свету сокровища сокровенных прелестей, обнажая достоинство их чарующего естества, вне сомнения, бесконечно более трогательного, чем красота, предстающая в искусственности украшений или одежд.

Стрелка на круге веселого бала подошла ко мне, настал мой черед стать послушницей воли и желаний суженого моего, а равно и всей честной компании. Мой кавалер подошел и нежно, но с подкупающей горячностью нетерпения стал убеждать меня, чтобы выказанное мною послушание оправдало надежды присутствующих. Тут же он повторил: если вся сила примера, мне поданного, не укрепила меня в способности потворствовать забавам и наслаждению собравшихся, если мое собственное желание испытать себя в утехах не проснулось, то, пусть весь бал был устроен ради меня, пусть не будет границ собственному его разочарованию, он готов претерпеть все, лишь бы не стать орудием, ввергающим меня в занятие для меня неприемлемое.

На это я – без малейших колебаний и ужимок – отвечала: даже если бы я не заключила своего рода соглашение ввериться его власти полностью и во всем, то один только пример столь подобающей для бала компании определил бы мой выбор, и потому ничто предстоящее не может вызвать во мне неловкости или боли, кроме как оказаться в великом проигрыше в сравнении со столь блистательными красавицами. Поверьте, на словах я выразила то, что было в моих мыслях. Откровенность ответа всем пришлась по сердцу; кавалера моего хвалили за его приобретение, ему – и это

выглядело полуприкрытой лестью в мой адрес – явно завидовали.

К слову сказать, миссис Коул не могла бы лучшим образом выразить свое ко мне благоволение, чем выбрав этого молодого джентльмена мне в церемониймейстеры. Помимо благородного происхождения и большого богатства, которое он наследовал, ему досталась и необыкновенно привлекательная наружность, он был строен и высок. На лице его виднелись оспины, но не больше, чем того требовалось для придания большей мужественности чертам, склонным к мягкости и тонкости линий; облик его чудесно оживляли глаза, сверкавшие чистотой черного алмаза. Короче, скажу я Вам, он был из тех, кого любая женщина в близком своем кругу с охотой назвала бы приятным парнем.

Но вот я уже препровождена им на ристалище нашей партии, где он соблаговолил, поскольку на мне был лишь белый пеньюар, сыграть роль мужчины-горничной, избавив меня тем самым от конфузии, которую непременно вызвала бы развязность самораздевания. Вмиг распущен был мой пеньюар, и я сбросила его. Следующее препятствие – шнуровка корсета – было преодолено быстро: Луиза с большой охотой воспользовалась ножничками и перерезала кружева. Скорлупкой спала с меня верхняя одежда, я осталась в нижней юбке и рубашке, открытая грудь которой предоставляла рукам и взглядам всю свободу, какую они только могли пожелать. На этом, предполагала я, раздевание должно было закончиться, но оказалась недальновидной: рыцарь мой, предвкушая остальное, мягко уверил, что мне не придется нести ни малейшего бремени одежды, дабы остатки ее не скрадывали полную картину естества моей личности.

Слишком податливо подобострастная, чтобы вступать с ним в пререкания, я, к тому же, сочла то небольшое, что покуда оставалось на мне, весьма несущественным и охотно шла на все, лишь бы ему угодить. Мигом нижняя юбка упала к моим ногам, а рубашка взлетела над головой (и слабо закрепленный лиф взвился вместе с нею), отчего волосы мои свободно рассыпались (безо всякого тщеславия, лишь чтобы напомнить Вам, повторю, что головка у меня очаровательная) беспорядочными локонами по шее и плечам, оттеняя, и отнюдь не неблагоприятно, мою кожу.

Так предстала я пред судьями моими в полной правде естества. Увиденное во мне не могло не понравиться им. Окажите милость и припомните, о чем я говорила прежде, описывая свою внешность в то время: отмерен срок, когда жизнь скрывает все признаки наших прелестей, затем, как то и со мной произошло, настает пора бурного и пышного цветения, когда решительно все скрашивается; а мне ведь до восемнадцати лет недоставало нескольких месяцев. Груды мои, при полной наготе тела ставшие еще более значительными, смею сказать, основными точками притяжения и внимания, и в расцветающей полноте сохранили упругую твердость; они возбуждали взор и приглашали прикосновением испытать их лишенную корсетной поддержки стойкость. К тому же, высокий рост и стройность сложения хорошо согласовывались со всем сочным, таким благодатным для обзора и осязания, наливом плоти, которым я обязана здоровью и юности своего организма. Однако я вовсе не отринула душевный стыд, чтобы не испытывать сильного смущения в том положении, в каком оказалась, но все вокруг, и мужчины и женщины, ободряли меня всяческими знаками восхищения и удовлетворения;

любое же лестное внимание пробуждало и разжигало во мне прямо-таки чувство гордости за возврат к дарованному мне *при рождении* самой природой наряду, который, как галантно уверял мой друг, бесконечно превосходил блеском любые пышные убранства и одеяния на торжествах в *дни рождения*. Приди мне тогда в голову мысль разложить по мерилу искренности все комплименты, какими буквально засыпали меня на балу эти гурманы прелестного, я могла бы польстить себя тем, что прошла через испытание при полном одобрении людей, знающих и понимающих толк в удовольствиях.

Мой друг, однако, кому единолично на время бала я принадлежала, позабавил их, а может, и свое собственное любопытство, выставляя меня во всех возможных видах и позах, разъясняя при этом все достоинства каждой из прелестей. В своем спектакле не забывал он и о таких интермедиях, как поцелуи, и о таких зажигательных проходах, как свободно блуждающие по телу руки, пред которыми улетучивалась любая стыдливость. Румянец смущения сменился жаром желания, побуждавшего меня ощутить привкус остроты и терпкости в нашем представлении сладостных утех.

Спешу Вас уверить, однако, что при общем обозрении самая существенная точка моя не избежала взыскательного осмотра; более того, ранее было договорено, что у меня нет ни малейшей причины испытывать неуверенность в том, чтобы сойти даже за девственницу: столь незначителен был изъян, нанесенный мне здесь моими предыдущими приключениями и столь скоро шрам чрезмерного растяжения был заживлен, что легко в моем возрасте да

к тому же при той малой роли, которая была в те поры мне отведена.

Настал момент, когда мой партнер то ли исчерпал все возможности ублажить осязание и взор, то ли умопомрачение уже полностью овладело им – о том я не ведаю, только, проворно начавши сбрасывать с себя одежды, он уже не мог противиться удивительному угару, порожденному окружившей нас распаленной толпой, пламенем в камине, множеством свечей и пленительным огнем наших мизансцен, и снял с себя сорочку. Загодя расстегнутые панталоны его спали, обнажив то, что ими скрывалось, и прямо перед собой узрела я врага, с которым предстояло сразиться; налитого, жесткого, увенчанного головкой, с которой стянут был капюшон и которая словно переливалась красным. Тогда я как следует разглядела в меня направленное оружие: то был обычный, по длине, член, хозяева которых, как правило, владеют им куда лучше, чем обладатели органов сверхъестественных, необычных размеров. Кавалер мой крепко прижал меня к груди, стоя прямо против меня и отыскивая в открытой нише место для своего необыкновенного идола. Намереваясь пронзить – чему я всячески способствовала – он приподнял меня и тотчас же поднял мои ноги на свои обнаженные чресла, так что я почувствовала каждый дюйм входившего в меня меча до самого его основания. Нанизанная на стержень удовольствия, я обняла его за шею, уткнувшись в которую спрятала лицо свое, нестерпимо горящее и от обуревавших меня чувств, и от стыда, грудь моя слилась с его; так пронес он меня вокруг кушетки, на которую затем, не прерывая довольно быстрых движений и не разъединяясь, уложил меня и принялся за помол удовольствий. Мы были, однако, так

взбудоражены, так заранее возбуждены всеми увиденными в вечер бала сценами, воображение наше было так распалено, что мы не могли не впасть очень быстро в истому конца, и, соответственно, не успела я почувствовать тепло струи, извергавшейся в меня из него, как тут же была подхвачена потоком, разделяя мгновенный экстаз. Однако была у меня и более серьезная причина выставить напоказ слитность нашей гармонии: ибо, обнаружив, что не все пламя желаний угасло во мне, что скорее, подобно смоченному углю, под этим впрыскиванием я занимаюсь еще большим огнем, мой пылкий рыцарь, симпатизируя мне, прибавил жару, поддерживая новый огонь неумирающей жизненной силой; весьма этим польщенная, я изо всех сил постаралась подстроить все свои движения к максимальному для него удобству и удовлетворению. Поцелуи, пожатия, ласки, нежное бормотание – все пошло в ход, и вскоре наши восторги, все более бурные и буйные, смешав нас в любовном беспорядке, вдруг взмыли, унеся нас от бранных наших тел в океан безбрежного удовольствия, куда мы оба были ввергнуты порывом влечения в единый миг. Теперь уже все вызывавшие жгучие желания впечатления от прелестных сцен, зрительницей которых я была во время бала, прокалились в пылу испытанного мною самой и бешено пульсировали в голове, заполненной нестерпимым возбуждением, – я была в совершенной лихорадке и беспомощности от его избытка. Нет, я не могла предаться спокойствию размышлений и осознавать, но я исступленно чувствовала огромную силу столь редкостных и утонченных соблазнительниц, которые, как показала ночь бала, сделали все, чтобы возвеличить наше наслаждение, каковое, ощутила я с великой

радостью, рыцарь мой разделил со мной, о чем говорили его возбуждение и хорошо знакомые приметы: глаза его горели красноречивым огнем, в движениях проявлялась сладострастная мука, которая возвышала мой восторг своей неистовой силой. Вознесенная затем на головокружительную высоту радости, какую только может выдержать жизнь человеческая, неуничтожимая избытком, я дошла до той решающей точки, когда почувствовала, что растворилась в мощном потоке, извергаемом из моего партнера, и, сделав глубокий судорожный вздох, всю чувственную душу свою направила в тот самый проход, откуда не было исхода, так восхитительно он был закупорен и заполнен. Несколько блаженных мгновений мы лежали ошеломленные, недвижимые и истомленные, пока чувство удовлетворения не утихло и мы не пришли в себя. Прежде чем оставить меня, рыцарь мой торжественно объявил о своем величайшем удовлетворении, нежно меня обнял и поцеловал; я ответила изъявлениями благодарности в самых прочувствованных выражениях.

Когда все было кончено, стоявшая вокруг нас в глубоком молчании публика помогла мне сразу же облачиться в одежды и осыпала меня комплиментами, в которых я за одно сражение получала двойную награду признательности – за ту честную дань, которая на их глазах была принесена (так они выразились) мною на алтарь полного высвобождения моих прелестей. Партнер мой, уже тоже одетый, продолжал, однако, источать нежность, не ослабленную недавним любовным блаженством. Меня бросились целовать и обнимать девушки, уверяя, что отныне и навсегда (разве что у меня самой не возникнет подобного желания) мне не

придется проходить никаких публичных испытаний, что теперь я полностью допущена в круг посвященных, что теперь я – одна из них.

Соблюдался неукоснительный закон: каждый кавалер держался своей партнерши – особенно на ночь – до тех пор, пока он не отказывался от своих на нее прав в пользу честной компании, закон гарантировал приятную собственность и позволял избегать мерзостей и грубостей, связанных с изменением связей; так что, подкрепившись немного печеньем и вином, чаем и шоколадом, поданными около часу ночи, компания распалась на пары и разошлась. Миссис Коул приготовила моему суженому и мне обычную походную кровать, на какой мы и устроились, завершив ночь нескончаемым потоком удовольствий, таких живых и неугомонных, что обоим нам не хотелось, чтобы им приходил конец. Утром, подкрепив силы завтраком в постели, кавалер мой встал и, нежно уверив меня в своем особом ко мне расположении, ушел, предоставив мне вкусить сладости сна, восстанавливающего и освежающего после бессонной ночи. Проснувшись, я поспешила встать и одеться до прихода миссис Коул и тут нашла у себя в кармане кошелек, туго набитый гинеями, который суженый мой туда опустил. Как раз когда я предавалась удивленным рассуждениям о милостях, которые не чаяла получить, вошла миссис Коул, я ей сразу рассказала о подарке, предложив, конечно же, взять себе из него столько, сколько она захочет; однако, уверив меня, что джентльмен весьма достойно ее вознаградил, она заявила, что ни при каких условиях, как бы я ее ни упрашивала и какие бы способы ни выдумывала, никогда не возьмет ничего. И отказ ее вовсе не какая-нибудь ужимка или прихоть, вызванная

расположением ко мне, заметила она наставительно и тут же превратила беседу в превосходную лекцию об экономике и экономии, о связующих нитях между личностью и кошельком – и все потому, что, знакомясь со столичной жизнью, я за свое *общее* послушание, за то, что к советам ее прислушиваюсь, стала получать щедрую плату. Закруглив время лекции и избрав иную тему, миссис Коул заговорила об утехах прошедшей ночи, и я узнала, не очень-то тому удивившись, что она видела все вплоть до мелочей из удобного местечка, только для этой цели и устроенного. В тайну его она охотно посвятила меня.

Не успела миссис Коул закончить, как маленький отряд воительниц любви, девушек-компаньенок моих, окружил нас – и снова обрушились на меня комплименты и ласки. Радостно было видеть, что тяготы и испытания бессонной ночи нимало не убавили жизни на этих милых прелестных мордашках, ничуть не утративших свежести и цветения; и это тоже, признались мне девушки, благодаря заботам и советам необычайной нашей директрисы. Девушки, как обычно, спустились в мастерскую, а я отправилась к себе на квартиру, где скоротала время до обеда, разделить который со всеми я вернулась в дом миссис Коул.

В ее доме, беспрестанно забавляясь и играя то с одной, то с другой из наших чаровниц, провела я время часов до пяти вечера, пока не напала на меня ужасная сонливость, и Харриет, любезно предложив мне свою постель, не отправила меня наверх одолевать сонливость сном. Я бухнулась в постель прямо в одежде и крепко уснула. С час, наверное, вкушала я дивный сон, пробудил от которого меня мой новый ласковый кавалер, которому быстренько подсказали, где отыскать спящую красавицу.

Впрочем, нарушать сон поцелуем он не спешил. Увидев, что лежу я на боку и, отворачиваясь от света, лицом почти в подушку уткнулась, принц мой без лишнего шума стянул с себя панталоны, решив несколько с иной стороны испытать сказочное блаженство соприкосновения обнаженных тел: тихонечко подняв на мне нижнюю юбку и рубашку, он открыл с тыла проход к основному вместилищу утех, куда, благодаря моей позе, доступ был свободен. Осторожно улегшись рядом, он подобрался сзади и, обдав теплом своего тела, прижался ко мне животом и бедрами, орудие же свое, прикосновение которого спутать ни с чем невозможно, он направил так, чтобы отыскать цель и без промедления попасть в нее. Тут-то я и проснулась, весьма поначалу всполошившись. Увидев, кто это, я уже было собиралась повернуться, но принц одарил меня поцелуем и удержал в прежнем положении, приподняв мое верхнее бедро, затем, отыскав нужный вход, проник в него как мог глубоко. Радуюсь наслаждению, какое давала ему близость к сокровенностям моего тела, он решил продлить его и замер, держа меня, как он выразился, словно в ложечке: тело мое от задней поверхности бедер и выше уютно устроилось в изгибе его бедер и живота. Какое-то время спустя, однако, нетерпеливый и порывистый пришелец, кому самое естество не позволяет затихать надолго, вынудил кавалера действовать. Действия последовали с обычными в таких случаях ласками, заигрываниями, поцелуями и всем прочим – и завершились наконец полноводным доказательством с обеих сторон, что мы не были истощены или, по крайней мере, быстро оправались от иссушающих утех прошлой ночи.

С благородным этим и милым юношей жила я в совершенном довольстве и постоянстве. Он уже совсем склонялся к тому, чтобы взять меня к себе, во всяком случае, на медовый месяц, но его пребывание в *Лондоне* пришло к концу еще раньше: отец, получивший назначение в *Ирландию*, неожиданно, отбывая туда, забрал сына с собой. Но и тут любовное чувство ко мне покинуло его не сразу: он предложил и я готова была последовать за ним в Ирландию, как только он там устроится.

Впрочем, разум восторжествовал: найдя в том королевстве достойную и прелестную партию, он раздумал послать за мной, не забыв, правда, устроить так, чтобы я получила превосходный подарок, какой тем не менее отнюдь не сразу развеял глубокую мою печаль от расставания.

После отъезда моего суженого в нашем маленьком обществе образовалась зияющая пустота, которую миссис Коул, как всегда осторожная, вовсе не торопилась заполнять; зато ей пришлось удвоить усилия, чтобы позаботиться обо мне, оказавшейся в эдаком вдовьем положении, и ускорить дело с моей фальшивой невинностью, о чем она ни на миг не забывала, поджидая лишь подходящего человека, с каким все это можно было бы устроить. Только так уж судьбе оказалось угодно, что я сама себе нашла поживу, да еще и с первой же попытки, что называется, едва успела удочку забросить.

Месяц прошел, как жила я, предаваясь веселью утех, в обществе моих компаньенок. Их нареченные (за исключением баронета, который вскоре забрал Харриет к себе домой) изъявили желание, ссылаясь на общинные

установления в доме, удовлетворить свой вкус к разнообразию в моих объятиях; большого искусства и труда стоило мне под разными предлогами избавиться от их притязаний, не вызывая у них недовольства; сдержанность моя объяснялась вовсе не тем, что было мне противно или они мне не нравились, нет, просто я хранила верность своему суженому, а потом, говоря по правде, с трепетной деликатностью относилась я к выбору моих компаньонов: внешне они вроде и казались неподвластными ревности, но, полагаю, в душе прониклись ко мне еще большей симпатией за то, что я – безо всякого бахвальства эдакой-то доблестью – уважительно относилась к их чувствам. Так, в любви и семейном согласии, протекала моя жизнь. Но вот однажды, часов около пяти дня, собираясь купить фруктов к столу, переступила я порог лавки фруктошника в *Ковент-Гарден*, где и приключилась со мной история, о которой я сейчас расскажу.

Выбирая фрукты, заметила я, как по пятам за мной следует какой-то молодой джентльмен, у которого прежде всего в глаза бросалась богатая одежда, в остальном же ничего примечательного в джентльмене не было, если не считать того, что был он бледен, худосочен и передвигался на тоненьких ножках. Легко было понять (я, конечно, и виду не подала, что поняла), что он меня преследует: глаз с меня не спускал, а потом и вовсе подошел к той же корзине, у какой я стояла, фрукты брал не торгуясь, а точнее, соглашаясь на первую же запрошенную цену, а сам все время словно подбирался ко мне. Я, понятное дело, обликом своим ничуть уже не напоминала девочку-скромницу, но не было на мне ни перьев, ни разных там завлекательных *убранств* расфуфыренной столичной девы: соломенная

шляпка, длинное белое платье чистого полотна и, в особенности, прямо-таки аура природная, легкий дух целомудрия (он никогда меня не покидал, даже в тех случаях, когда – в нашем-то ремесле! – я рвала с целомудрием напрочь) – по всем этим признакам он никак не мог догадаться, кто я и чем занимаюсь. Он заговорил со мной, и обращение незнакомого человека вызвало у меня румянец на щеках, что еще больше отдалило его догадки от истины; отвечала я ему с растерянностью и смущением, изобразить какие было тем легче, что и на самом деле я испытывала что-то похожее. Дальше – больше: посчитав, будто лед сломан, он принялся расспрашивать меня едва не с пристрастием, я же постаралась вложить в свои ответы столько невинности, простодушия и даже детской непосредственности, что, если бы даже сразу я ему и не очень понравилась внешне (а я готова поклясться, что приглянулась ему в одночасье), скромность моя сразила бы его окончательно. Короче говоря, есть в мужчинах, попавшихся на крючок, особенно на приманку смазливой наружности, тот запас глупости, о каком божественный их разум даже не подозревает и благодаря какому самые благоразумные из них выглядят сущими простофилями. Засыпав меня вопросами, джентльмен, среди прочего, спросил, не замужем ли я. Мне, такой юной, ответила я, еще с год и думать об этом не придется, тут я, отвечая на его дальнейшие расспросы, год себе убавила, сказавши, что мне еще семнадцати лет не исполнилось. Повела я и о жизни, какую веду: работаю-де в ученицах у шляпных дел мастерицы в *Пристоне*, в столицу приехала разыскать родственника, который, как я по прибытии узнала, умер, так что живу я в городе приживалкой у шляпницы. Последнее не очень-то вязалось с тем, за кого

мне хотелось бы себя выдать, но – сошло: видимо, страсть, какую я чем дальше, тем больше внушала, явно застила джентльмену глаза. Очень хитроумно – так ему показалось – выпытав то, что я вовсе и не собиралась скрывать: мое имя, имя моей хозяйки и адрес, где мы обитаем, – он нагрузил меня фруктами, самыми отборными и дорогими, какие только отыскал, и отправил домой, предаваясь размышлениям о том, как бы продолжить это приключение.

Добравшись до дома, я сразу же рассказала миссис Коул обо всем, что произошло. Выслушав, она весьма рассудительно заключила: если джентльмен выслеживать не станет, то никакой беды не произошло, а если станет (чутье ей подсказывало, что так оно и будет), то надо побольше разузнать и о нем, и о его характере, и о его привычках, с тем чтобы решить, стоит ли игра свеч; пока же, пришла она к выводу, нет ничего легче, чем моя роль во всем этом – от меня требуется не больше, как следовать ее советам и подсказкам на протяжении всего действия, вплоть до самого последнего акта.

На следующее утро, весь вечер потратив (мы о том позже узнали) на то, чтобы побольше выведать у наших соседей про миссис Коул (ничего не могло быть лучше, с точки зрения тех планов, какие она строила в отношении него), джентльмен мой подкатил в экипаже к мастерской, где одна лишь миссис Коул догадывалась о цели его визита. Вызвав ее, он легко начал знакомство заказом и разговорами о шляпах – я сидела, глаз не поднимая, усердно и прилежно выстрачивала гофрированную оборку. Как миссис Коул уловила, первое впечатление, произведенное мною на него, было очень сильно и потому не стоило опасаться, что оно поблекнет от

сравнения воочию с Луизой и Эмили, сидевшими за работой рядом со мной. После бесплодных попыток перехватить мой взгляд (я-то сидела, свесив голову, будто совесть меня мучала оттого, что, заговорив с женщиной, я дала ему повод выслеживать меня), он сделал распоряжение, когда миссис Коул следует привезти заказанные вещи к нему на дом и в какое время он ее будет поджидать, закупил, щедро заплатив, всяческих безделиц (хотел еще больше понравиться при первом знакомстве) и уехал.

Девушки ни сном ни духом не ведали о тайне, скрывавшейся за появлением нового покупателя. Миссис Коул же, как только мы остались наедине, уверила меня, ссылаясь на свой большой опыт в таких делах, что покуда стрелы моего очарования не промахнулись: нетерпение джентльмена, его поведение, взоры, какие он бросал, подтвердили, что стрелы точно поразили цель. Единственная неясность – что этот джентльмен из себя представляет и каков его нрав; впрочем, эти сведения – при ее-то знании столицы и знакомствах – миссис Коул полагала получить очень скоро.

Действительно, прошло всего несколько часов, а хорошо налаженная ее разведка донесла: преследует меня не кто иной, как мистер *Норберт*, некогда владелец огромного состояния, которое он, телом и духом весьма далекий от совершенства, в значительной степени растранирил, потрафляя изменчивым своим вкусам и самозабвенно предаваясь всяческим порокам столичной жизни. Со временем, перепробовав все виды обычных безумств и пресытившись ими, он пристрастился к охоте за невинностью и, соответственно, за девственницами; нескольких девушек уже успел погубить, средств, чтобы не упустить добычу, не жалел и обыкновенно терзал ее,

пока не надоедало или пока не спадал зуд наслаждения, или пока новое личико не попадалось ему на глаза, – тогда он легко избавлялся от своих жертв, бросая их на произвол судьбы, ведь находил он их только среди тех, кого мог заарканить петлей купли-продажи.

Подытожив все эти сведения, миссис Коул заявила, что типы такого сорта всегда были законной добычей и было бы грешно не порастрясти его хорошенько на нашем рынке, что, по ее убеждению, такая девушка, как я, в любом случае и при любых условиях слишком хороша для такого джентльмена.

В назначенное время она отправилась к нему в один из богатых адвокатских кварталов, где он жил в апартаментах, обставленных со всей пышностью и особой склонностью ко всяческим удобствам роскоши и наслаждений. Он ее уже поджидал и, быстренько покончив с теми делами, что служили лишь предлогом, после долгих расспросов о ее делах (миссис Коул поведала, что они совсем пришли в упадок), о прислуге, о ее ученицах и приживалках, в конце концов заговорили обо мне. Тут миссис Коул, великолепно играя роль незлобивой старой сплетницы, у какой что на уме, то и на языке, сочинила ему очень правдоподобную сказку про меня, время от времени украшая ее такими искусными находками, как простодушные упоминания о моей скромности, похвалы моему ангельскому характеру, – все это джентльмен воспринял так, как то и соответствовало намерениям миссис Коул, как нельзя лучше скрывшей собственную догадливость о намерениях джентльмена. Это вынудило его пойти на крайность и намекнуть на свои планы и виды относительно меня, замечу, это стоило ему больших усилий и лишь после долгой путаницы удалось ему

втемашить старухе в башку, о чем он толкует (миссис Коул притворялась непонимающей ровно столько, сколько ей было нужно); не желая быть принятой за какую-нибудь драконшу добродетели, которые в одночасье вспыхивают негодованием и раздражаются очень и очень подозрительными криками возмущения, она поступила разумнее, прикинувшись простой, доброй сердцем женщиной, которая вреда не делает и, честно зарабатывая хлеб свой, создана из того податливого и гибкого материала, работая над которым можно своего добиться, тем более человеку такому тонкому и искусному, как мистер Норберт. Благодетельница моя, тем не менее, повела дела столь ловко, что понадобилось три или четыре встречи, прежде чем ему удалось заручиться хотя бы ее благоволением и надеждой на помощь, без которой (как он убедился после бесплодных попыток добиться моего расположения письмами, записочками и прочими лобовыми атаками) ему до меня не добраться, что тут же повысило мою привлекательность в его глазах и, кстати, цену мою тоже.

Не мысля, однако, затягивать все эти затруднения до такой степени, чтобы появилось время для поразительных открытий и крайне нежелательных для ее плана случайностей, миссис Коул сделала вид, будто покорена его натиском, обещаниями и, самое главное, головокружительной суммой, какую она же вынудила его назвать, и согласилась помогать ему во всем, так все искусно обставив, что ему и в голову не пришло усомниться, будто чистые руки этой добродетельной женщины хоть когда-нибудь касались такого сорта делишек.

Так что, потаскав его как следует по всем кругам сложностей и трудностей, что необходимо для повышения цены той награды, к какой джентльмен стремился, она довела до того, что он прямо-таки помешался на маленькой прелести, обладательницей которой я якобы была, и так рьяно стремился прибрать ее к рукам, что даже не позволил миссис Коул продемонстрировать великое ее мастерство повелительницы людских душ: он сам все сделал для того, чтобы поглубже заглотнуть крючок, не требуя даже наживки. Нельзя сказать, что мистер Норберт во всем был так близорук или что ему плохо ведома была столица и – по собственному опыту – та самая часть ее, с которой он ныне столкнулся; вовсе нет, только нашим союзником он сам сделал собственную страсть, которая ослепляла и прищипывала его, заставляя гнать прочь всяческую осторожность или подозрение как препятствия на пути к ожидавшему его наслаждению. Впопыхах одолевая препятствия, летя сломя голову, понукаемый миссис Коул, он, в конце концов, уже поздравлял себя с тем, что приобрел вымышленную мою драгоценность почти за бесценок: всего за каких-то триста гиней мне да еще сто посреднице – мизерная плата за все страдания, за угрызения совести, какие милая старушка из-за него испытывала первый раз в жизни. В оговоренную сумму, каковая должна быть выложена сразу же по предъявлении клиенту товара, то есть меня, не входили совсем не мелочные подарки, сделанные по ходу переговоров, пока я в подходящие для того часы ненадолго появлялась в его обществе. Просто удивительно, как мало требовалось, чтобы мне – чуть-чуть приукрасив природную склонность к целомудрию – выглядеть в его глазах девственницей:

весь мой облик, все движения мои, казалось, источали невинность, которую мужчины так истово требуют от нас только для того, чтобы доставить себе удовольствие уничтожить ее, совершая при том со всеми своими умениями, с горечью следует признать, бездну ошибок. Когда все статьи договора были полностью согласованы, а оплата должным образом обеспечена, ничего не оставалось, как исполнить самое основное, что сводилось к моей полной отдаче в его распоряжение: он мог использовать меня, как хотел. Правда, миссис Коул и тут кое-что выторговала, скажем, отказ от того, чтобы все это устраивать у него дома: она все так ловко обернула, что он сам страстно убеждал ее исполнить его горячее желание – завершить эту бледную тень свадьбы в ее, миссис Коул, доме. Та поначалу, разумеется, и думать о том не думала, чтоб устраивать в нем такое... она б и за тыщу фунтов не хотела, чтоб прислуга или, там, ученицы про такое дознались... имя доброе, единственное ее сокровище потеряло бы на веки вечные... С такими вот причитаниями даровано было согласие. Итак, ночь была назначена с учетом нетерпения, в какое клиент впал окончательно, хотя миссис Коул не упустила ни единого указания, не забыла ни малейшей детали при подготовке, с тем чтобы я могла с честью выйти из этой игры. Я имею в виду внешние признаки моей девственности, хотя мне, от природы наделенной миниатюрностью и узостью тех органов, которые становились реквизитом в спектакле, не пришлось прибегать ни к каким вспомогательным накладкам, которые используются в нашем ремесле для придания достоверности картине и которые легко обнаружить самой обыкновенной горячей ванной. Что же касается необходимых кровавых симптомов прорыва, которые,

если и не всегда, но как правило его сопровождают, то миссис Коул посвятила меня в тайну своего собственного приспособления, какое просто не могло подвести и о каком мне еще предстоит рассказать.

К приему мистера Норберта все было приготовлено и устроено. И вот в одиннадцать часов, под покровом ночи, со многими предосторожностями, в глубокой тайне он был встречен самой миссис Коул и ею же препровожден в спальню, где на старомодной ее кровати возлежала я, совершенно раздетая. Если и не страхи настоящей девственницы, то уж во всяком случае страхи существа вовсе потерянного овладевали мною, что придавало мне вид застенчивый и стыдливый. Именно такой вид и бывает у невинности и целомудрия, так что отличить от них мой облик было бы трудно даже глазом менее заинтересованным, чем у моего обожателя, уж позвольте звать его так, поскольку обычная в нашем ремесле кличка «*хахаль*» всегда казалась мне слишком жестоко неблагодарной по отношению к мужчинам за их оскорбительную слабость к нам.

Как только миссис Коул произнесла все старинные заклинания, положенные в тех случаях, когда молодых женщин впервые отдают во власть мужчины, и вышла, оставив нас в своей комнате одних (между прочим, по просьбе мистера Норберта комната заранее была ярко освещена, очевидно, он предполагал провести куда более тщательный осмотр, чем тот, что у него на самом деле получился), гость, еще одетый, подскочил к кровати, где я зарылась с головой в одеяла, не сразу и не без борьбы – стянул их и, добравшись, прильнул к моим губам; сопротивление мое было так подлинно, что, пожалуй, у фальшивой добродетели поцелуя было добиться труднее, чем у настоящей. От губ он

перебрался к груди, защищаясь, я кусалась и царапалась, как кошка, он же, устав от моего сопротивления, видимо, решил, что лучше разбираться со мной лежа рядом, а потому скоренько скинул с себя одежду и залез в постель.

Украдкой оглядев его, я сразу же поняла, что от этого человека нечего ждать мощи и усердия, какие обычно необходимы для штурма невинности: тщедушная фигурка его скорее принадлежала утомленному ветерану-инвалиду, вынужденному тянуть лямку жаркого этого дела, чем рвущемуся навстречу битве молодцу-добровольцу.

Едва ли тридцати лет, он уже успел растратить силу желаний, сведя ее к позорной зависимости от искусственных подстегиваний, почти никак не подкрепленных природной мощью тела, изнуренного и истерзанного донельзя раз от разу повторяющимися излишествами утех – они действовали на источники его животворной страсти так, будто шестьдесят зим сразу накидывались на весенние ручейки; в воображении же его по-прежнему рисовались все пламя и весь пыл юности, вызывая мучения и одновременно подталкивая несчастного к пропасти.

Очутившись в постели, он сбросил все покровы (я заставила его здорово потрудиться, прежде чем он сумел вырвать их из моих рук), так что я, как ему того и хотелось, предстала обнаженной и открытой не только для любовных атак или досмотра, но и для обследования простынь: возбуждая мое тело, понуждая меня делать, защищаясь, какие-то движения, он смог воочию убедиться, что ничего заранее подготовленного нет; хотя, сказать по справедливости, он оказался куда менее

строгим осмотрщиком, чем я ожидала от столь искушенного в утехах развратника. Он почти сорвал с меня корсет, решив, будто я чересчур часто пользуюсь им как баррикадой, преграждая путь к грудям и кое-чему другому, более существенному; в остальном же он действовал ласково, уважительно. Тем не менее моя роль требовала, чтобы я ему ничего просто так не показывала, вот я и разыгрывала всяческие ужимки, ахи, охи, страхи и ужасы, каких следовало ожидать от девушки совершенно невинной, впервые столкнувшейся с эти дивом невиданным – голым мужчиной да еще и в одной с нею постели. Не считая похищенных им самим, от меня ему не досталось ни единого поцелуя, раз двадцать сбрасывала я его руки со своих грудей, твердостью и упругостью каких он наслаждался, будто товарами, никак ему в руки не дававшимися. Мало-помалу нетерпение все дальше подталкивало его к главной цели, он уже взгромоздился на меня и, желая подольше поберечь силы естества, вначале решил устроить мне проверку при помощи пальца. В ответ на такую грубость я горько запричитала: думать не думала, что он с моим телом вот так... погибель моя настала... и зачем я только такое сделала... я встану, встану сейчас и... – и в то же время очень старалась держать ноги так плотно сжатыми, чтобы ему-то было вовсе не под силу их разъять и добиться чего-либо путного. Получив такое преимущество и подчинив себе как свои, так и его движения, я могла больше не волноваться: при таких условиях обмануть его труда не составляло, игра пошла для меня как по маслу. Между тем его инструмент – размерами из тех, что проскальзывают и выскользывают почти незамеченными, – довольно твердо уперся в то место, доступ к какому прикрывали мои плотно

сдвинутые бедра; однако, поняв наконец-то, что пустая трата жизненных сил в борьбе ни к чему хорошему не приведет, он пустился в мольбы и уговоры, я же на них лишь ответствовала голосом, в котором мешались стыд да опаска: боюсь, как бы не загубил он меня... Господи!., зачем, дурочка, согласилась... никогда, с самого рождения моего, так со мной не обращались... как только ему самому не стыдно – такие вот младенческие причитания, полные отвращения и упреков, рассудила я, лучше всего подойдут для выражения образа существа невинного и перепуганного. Делая вид, будто мало-помалу под действием его пылкой настойчивости – и в словах и в движениях – я все же поддаюсь, я развела бедра, приоткрыв проход настолько, чтобы кончик его инструмента мог коснуться края входа в расщелину, однако едва он попытался пробиться внутрь, как я ловко дернула телом так, что пробираться ему пришлось наискось, при том я не только продвижение затруднила, но еще и взвизгнула, будто болью насквозь пронзенная, да и сбросила его с себя с таким остервенением, что при всей силе и при всем своем желании он не сумел удержаться в седле. Тут он, понятное дело, рассердился, только в огорчениях его не заметно было никакого неудовольствия мною за мою норовистость, напротив, готова присягнуть, что я ему еще больше по душе пришлась, что всякие затруднения доставляли ему удовольствие, даже если порой мешали минутному наслаждению. Как бы то ни было, но, распаленный теперь затяжками превыше всякого терпения, он снова взгромоздился на меня, принялся уговаривать потерпеть, оглаживая и успокаивая меня, будто лошадь буйную, разными нежностями, увещеваниями и обещаниями осчастливить. Тут я притворилась, будто смягчилась и

сменила гнев, вызванный во мне причиненной им жуткой болью, на милость, позволила ему развести мои ноги и предпринять новую попытку; пришлось мне только внимательно последить за тем, куда направляется его инструмент, так что не успело еще отверстие немного приоткрыться, чтобы принять его, как я вовремя подвинулась так, словно не от удара уклонялась, а была поражена вызванной этим ударом болью. Разумеется, все это сопровождала я подобающими жестами, ахами, рыданиями и жалобами на то, как больно он мне сделал... прямо-таки до смерти убил... погибель моя настала... ну, и всякое такое прочее. В этот момент он, донельзя истомленный множеством безуспешных попыток и уже не имевший ни сил, ни терпения себя сдерживать, будучи явно на грани чувственного взрыва, сделал такой сильный и резкий выпад, что, едва не застав меня врасплох, проскочил мимо наружных стражей нежной моей плоти, и я ощутила тепло его извержения. Он рванул было дальше, но тут я заверещала, словно меня ножом резали, как будто от боли всякий страх потеряла, что меня могут услышать, и снова сбросила его с себя. Легко было различить, что он скорее удовлетворен, что куда больше радуется тем предполагаемым причинам, помешавшим ему дойти до пика наслаждений, чем возможности на самом деле достичь его. Это примирило меня с собственной совестью: я поняла, что своим обманом доставляю несчастному такое блаженное наслаждение, какого ему ни за что не испытать, имея он дело с тем, чего так желал в подлинности. Почувствовав облегчение и умиротворенность после извержения, он мог теперь тратить время на ласки и уговоры, склоняя меня к послушанию и терпению во имя следующей попытки, к

какой он принялся готовиться и набираться сил, ощупывая, оглаживая и осматривая меня всю, как ему только заблагорассудится. От восхищения пред моим телом он даже в ладоши захолопал, поцелуями меня всю-всю покрыл, ни единого местечка не пропустил в буйной похотливости осязания, разглядываний и забав. Сила его мужская возвращаться, однако, не спешила, я не раз ощущала, как он толкался в дверь, но не в состоянии был даже приоткрыть ее, мне даже подумалось: а стало бы ему сил войти, даже если бы я и распахнула ее приветливо настежь? Он считал, что я ничего в этих делах не понимаю, а потому никаких неудобств или сожалений испытывать не могу, вот и продолжал изводить и себя и меня еще долго, прежде чем оказался более или менее в состоянии возобновить наступление, хоть с какими-нибудь шансами на успех. Тут уж я заставила его так потрудиться и так постараться, прежде чем ему удалось сколько-нибудь ощутимо пробиться в лоно, что он отменно попотел и выдохся: утро уже разошлось, пока осуществил он свой второй поход, пройдя примерно полпути от входа, я же все это время рыдала и жаловалась на неумную его мощь да на огромность того, чем я, страдальца, якобы была просто пополам расщеплена. Утомленный в конце концов молодецкими утехами, богатырь мой стал сдавать и с радостью отдался объятиям освежающего отдохновения: пылко меня расцеловав и посоветовав передохнуть, он сразу же уснул мертвым сном. Воспользовавшись этим и хорошенько убедившись, что любое движение моего тела сон милого не потревожит, я легко и просто пустила в ход изобретение миссис Коул, позволяющее нанести мазок законченности и совершенства на картину моей девственности.

В ножке кровати, как раз там, где в нее врезалась спинка изголовья, был устроен маленький ящичек, так искусно пригнанный к резному украшению по дереву, что заметить его было невозможно при самом пристальном осмотре. Открывался и закрывался ящичек при легком нажатии на пружинку и был снабжен небольшой стеклянной плоской, наполненной заранее приготовленной жидкой кровью, в плоске лежала, пропитавшись кровью, готовая к употреблению губка. Всего-то требовалось: осторожно протянуть руку, вытащить губку из ящичка и отжать ее как следует меж ног у скрещения бедер, где останется красной жидкости куда больше, чем требуется для спасения девичьей чести, после чего вернуть губку на место и вновь нажать на пружинку. Всякая возможность обнаружения или даже подозрения была исключена. На все на это уходило менее четверти минуты, к тому же двойное удобство и удвоенная предосторожность создавались тем, что каждая из ножек кровати была оборудована одинаково и любым из ящичков можно было воспользоваться в зависимости от того, на какой стороне постели ты лежишь. Правда, пробудись клиент в этот момент и поймай меня за таким занятием, то, самое малое, не миновать бы мне стыда и позора, только, благодаря принятым мною предосторожностям, шансов оказаться пойманной было один на тысячу в мою пользу.

Успокоенная, избавленная от всяческих опасений насчет сомнений и подозрений с его стороны, я со спокойной душой предалась было сну, но уснуть так и не смогла: и получаса не прошло, как джентльмен мой пробудился и, повернувшись ко мне (а я сделала вид, будто сплю крепко, на что, впрочем, он и внимания не обратил), принялся вдохновлять себя на новые

свершения, целовать меня да ласкать. Я же, притворившись только-только разбуженной им, попробовала попенять ему на это, пожаловаться на дикую боль, которая меня и без того не только сна, но и всех чувств лишила. Жаждающий удовольствия, равно как и полного триумфа над моей девственностью, он высказал все, что помогло бы одолеть мое сопротивление и убедить меня потерпеть до конца. Теперь, обеспечив кровавое доказательство его победного неистовства, я готова была и прислушаться к этим уговорам, хотя полагала разумным какое-то время сдерживать его пыл. На все его нетерпеливые увещевания я отвечала охами, вздохами да стонами, показывая, как глубоко и больно была я уязвлена... просто невыносимо... знаю теперь: горе он принес, вот что он мне сделал... такой вот он ужасный человек! Пока я бормотала, он откинул покрывала и обзрел поле сражения в тусклом блеске подсыхающей крови, тут же осмотрел и убедился, что бедра, и низ живота, и рубашка, и простыни – все запятнал тем, что он с готовностью принял за девственное кровотечение, вызванное его последним полупроникновением. В том убежденный, а потому себя от радости не помнящий, он и не думал скрывать своего ни с чем не сравнимого торжества и счастья. Иллюзия подлинности была полной, ничто иное, кроме как мысль, что ему довелось потрудиться на неразработанной жиле, пройти неторенным путем, ему и в голову не приходило, в осознании этого – а доказательства, и убедительные, были под рукой – он удвоил нежность своего обхождения со мной и свою решимость довести начатое до конца. Жадно и страстно целуя, он успокаивал меня, молил простить его за причиненную мне боль, без какой,

уверял он, никак нельзя обойтись, зато больше такого не случится, самое страшное уже позади, теперь, набравшись хоть немного мужества и терпения, я смогу все это преодолеть и в дальнейшем ничего, кроме величайшего наслаждения, не испытывать. Понемногу я позволила ему возобладать надо мной и даже – в знак полной сдачи – сама раздвинула ноги, словно ненароком предоставляя ему свободный доступ, но и воспользовавшись этим, он мало чего добился, проникнув внутрь: я хорошо подготовилась к вторжению и дала такую закрутку женским своим прелестям, что он едва до половины положенного смог добраться, дергаясь и извиваясь так, что и вошел-то с натугой, и с великим трудом дальше пробивался дюйм за дюймом (под непрерывные мои горькие причитания), пока наконец, силой и упорством одолев все извивы и препоны, не проник в меня до конца и не нанес решительный *coup de grace* моей (так он считал) девственности, исторгнув из меня ужасный крик, пока он, торжествующий, словно хлопающий крыльями петух над поверженной курицей, купался в наслаждении, которое, как было заметно, подхлестнутое ощущение полной победы, мгновенно достигло той точки, откуда возврата нет, я почувствовала его извержение – и мне оставалось лишь распластаться, играя роль глубоко уязвленной, бездыханной, перепуганной, поруганной уже-более-не-девицы.

Возможно, Вы поинтересуетесь, испытывала ли я все это время хоть намек на удовольствие? Уверяю Вас – очень небольшое или вовсе никакого; разве что под самый конец какие-то смутные ощущения появились – как чисто механический результат долгой борьбы и частых раздражений чувствительной плоти.

Только, самое-то главное, не было у меня никакого расположения к человеку, чьи объятия мне приходилось терпеть из соображений голого наемничества. И потом, я ведь вовсе не в восторге была от себя, играя роль обманщицы, какие бы оправдания ни находила, соглашаясь на участие в этом спектакле; прямо скажу, эта-то бесчувственность и помогла мне больше всего повелевать как рассудком, так и телом своим, благодаря чему мне куда как хорошо удалось выдерживать правдоподобие подделки на протяжении всей сцены обмана. В конце концов обретши под его ласками, поцелуями и нежностями кое-какие признаки жизни, я стала укорять и упрекать его за разор, им учиненный, в таких естественных выражениях, что только добавила джентльмену удовлетворенности самим собой от эдакого свершения. Предугадав по определенным своим наблюдениям, что будет лучше попридержать его, когда он некоторое время спустя пустился – а это было ясно различимо – снова в наступление, я решительно отразила все его дальнейшие посягательства под предлогом, какой весьма льстил его самолюбию: мол, я так жестоко разбита, такой болью охвачена, что просто невмочь мне вынести еще одно любовное сражение. Тут он милостиво даровал мне передышку, так что поутру я была избавлена от его назойливых ласк. Он же позвонил миссис Коул и, когда та явилась, сообщил ей в выражениях весьма пылких и радостных о своей триумфальной убежденности в моей целомудренности, каковой нынче ночью он нанес сокрушительный удар, свидетельства чего, добавил он, миссис Коул сможет легко отыскать в убедительных приметах кровавого свойства на простынях.

Можете себе представить, с каким юмором женщина такого склада, как миссис Коул, отнеслась к его выпренной речи, как легко она подыгрывала ей своими восклицаниями, в которых воедино были смешаны стыд, гнев, сочувствие ко мне и удовлетворение тем, что все кончилось хорошо: в этом последнем, я уверена, она была совершенно искренна. Теперь, когда представлявшееся ею неодолимым возражение против того, чтобы первую ночь я провела в его доме, возражение (скрупулезно рассчитанное на свободу маневра в интриге), построенное на страхах и ужасах девственницы при мысли отправиться в обиталище мужчины и остаться с ним наедине в постели, отпало само собой, она сделала вид, будто, преследуя его выгоду, уговаривает меня отправляться к нему, когда только джентльмену будет угодно, сохраняя при этом видимость того, что я работаю у нее, дабы не потерять шанс найти себе доброго мужа или, во всяком случае, уберечь ее дом от скандала. Звучало это так разумно и так убедительно для мистера Норберта, что он ничегошеньки не понял, как пожилая леди не желает приваживать его к своему дому, того менее смог он вовремя обратить внимание на определенные несоответствия в образе, какой она ему являла, – план ее в высшей степени удовлетворял его своей простотой и перспективами полной свободы действий.

Предоставив мне долгожданный отдых, он встал, и миссис Коул, оговорив с ним все детали, касавшиеся меня, выпроводила его из дома незамеченным. Позже, когда я проснулась, она пришла и воздала должное моему успеху. С обычной для ее поведения сдержанностью и незаинтересованностью она отказалась от какой бы то ни было доли в том, что мною было

получено, и наставила меня на столь надежный и простой способ распорядиться своими доходами, превратившимися ныне уже в своего рода маленькое состояние, что даже ребенок лет десяти от роду сумел бы взять заботы о нем в собственные руки.

Вновь я очутилась в положении любовницы-содержанки, вновь б точно установленное время являлась к господину домой, когда тот направлял за мной посыльного, на пути которого я неизменно оказывалась, причем делала это столь ловко, что господин так и не проник в тайну моих отношений с миссис Коул; впрочем, легкость, разбросанность и непрестанная спешка столичной жизни не позволяли ему и в свои-то дела вникать, того меньше – моими заниматься.

Знаете, насколько могу судить по собственному своему опыту, никого не одаривают так щедро, никого не холят так бережно, как – во времена их правления – любовниц тех, кого природа, прежние буйства или возраст менее всего располагают к утехам пола: понимая, что женщина должна быть хоть как-то удовлетворена, они осыпают ее тысячей забот, угождений, подарков, нежностей, признательностей, истощая все возможности изобрести новые средства и способы хоть чем-то подменить главную свою несостоятельность; даже для того, чтобы просто чуть-чуть смягчить положение, на какие только чудачества, на какие утонченные изыски в утехах, на какие ухищрения они не идут, дабы добавить толику жизни увядшим силам, дабы заставить природу служить их чувственности. Только беда их всегда при них, а потому, едва после всех уверток, беспокойств, особых приемов, похотливых поз и будоражащих чувственность

движений они достигают-таки краткого мига блаженства, в то же самое время в предмете своей страсти пробуждают они пламя, которое сами не в силах загасить, чем и понуждают бедняжку искать спасения в объятиях другого, способного довершить то, что едва-едва было начато. Они сами порой становятся сводниками для собственных фавориток, сами толкают их на блуд, на поиски более сильного и удовлетворяющего исполнителя. Не стоит забывать, что у женщин, особенно нашего склада, какими бы ни были они добрыми душой и сердцем, есть частичка, которая управляет... нет, точнее – обиталище королевы, которая правит безраздельно и безоговорочно своим подданством по законам собственной мудрости, среди этих законов ни один не блюдетя строже, чем тот, что требует во всем, имеющем отношение к естеству, никогда не принимать намерение, пусть и решительное, за деяние.

Мистер Норберт являл собой как раз такой бесславный случай: хотя сам уверял, что чуть ли не влюбился в меня безумно, крайне редко бывал он способен обрести наслаждение и одновременно одарить им меня, даже редкие его удачи требовали долгих и всякий раз новых приготовлений, бывших и утомительными, и воспламеняющими.

Иногда он раздевал меня догола на ковре перед пылающим камином и чуть ли не час созерцал, заставляя принимать самые вычурные позы и делать умопомрачительные фигуры, целуя при этом меня всю с ног до головы, не пропуская ни единой частички моего тела, а самым потаенным и самым чувствительным доставалась львиная доля его дани. Прикосновения и ласки его временами становились такими утонченно похотливыми, такими потрясающе проникновенными, что

он едва с ума меня не сводил пламенными своими щекотаниями, когда после всего, после стольких приготовлений и шуму, он обретал недолговечное возбуждение, какое угасало либо в потливой немощи, либо в преждевременном хилом извержении, какое ниспосылалось словно в издевку над моими воспаленными желаниями. Если струйка и попадала куда положено, как же нерешительно, как бесстрастно это проходило! Да разве могли эти несчастные с трудом выжатые несколько тепленьких капель загасить им же самим раздутое бушующее пламя!

Не могу не припомнить один вечер, когда я возвращалась от мистера Норберта домой, возбужденная до пределов, оказавшихся для него недостижимыми. Едва я повернула за угол улицы, меня догнал молодой моряк. На мне тогда было то самое премиленькое, аккуратное и простое платье, какое мне всегда нравилось; возможно, кое-что в походке или манерах выдавало мою возбужденность, какое-то беспокойство, не свойственное тем, у кого мысли ясны, а чувства холодны. Во всяком случае, моряк решил, что я послана ему в награду, а потому, нимало не церемонясь, обхватил меня за шею и поцеловал так крепко, что дух от удовольствия перехватило. Поначалу от такой грубости я бросила на него взгляд, полный гнева и негодования, но, присмотревшись, смягчилась и предалась иным чувствам; парень был высок, по-мужски строен, телом и лицом красив, – так что, не отводя от него взгляда, я кончила тем, что спросила голоском, в котором пробивалась нежность, что, собственно, значит его поступок; на что – все с тою же откровенностью и напористостью, с какой он начал, – моряк предложил продолжить знакомство за стаканом вина. Убеждена, будь я поспокойнее, не

окажись доведенной до состояния, когда вся кровь во мне бурлила, не одурманивай меня неудовлетворенные желания, я бы грубые его притязания отвергла сразу и без колебаний. Тогда же, не знаю уж, как получилось, наверное, настойчивые позывы естества, фигура его, вся обстановка или, если хотите, сочетание всего этого вместе да вдобавок еще и проснувшееся любопытство увидеть, чем кончится так начавшееся приключение, новизна ощущения от обращения с тобой, как с обычной уличной девкой, заставили меня ответить молчаливым согласием. Короче, повиновалась я в тот момент отнюдь не голове своей, а потому и потащилась на буксире у воинственного морского волка, который обхватил меня с фамильярностью, будто мы с ним всю жизнь знакомы, и доставил в ближайшую подходящую таверну, где нас провели в крохотную комнатку по одну сторону коридора. Здесь, не дожидаясь даже, пока слуга принесет заказанное вино, моряк сразу взял меня на abordаж: мигом распахнул платье возле шеи и завладел грудями, с которыми он управился с той точностью сладострастия, что в подобных обстоятельствах делает церемонии куда более утомительными, чем приятными. Однако, устремившись к заветной цели, мы обнаружили, что для этого нет никаких удобств: всю обстановку комнатки составляли два-три колченогих стула да шатающийся рассохшийся стол. Без лишней суеты моряк прижал меня спиной к стене, поднял на мне юбки, вытащил оружие, каким – краем глаза я успела заметить – можно было похвастаться, и принялся за дело с нетерпеливостью и охотой, явно вызванными долгим постом за время плавания по морям. Понявшая по его началу, какая радость меня ждет, я широко ноги расставила, постаралась позу поудобнее принять, всем,

чем могла, помочь ему хотела, кое-что получилось, но особой радости мы все же не испытали. Вмиг сменив диспозицию, он подвел меня к столу, лапией своей капитанской пригнул к нему мою голову, а другой задрал мне юбки и рубашку, обнаружив голые мои ягодицы и подведя к ним свой слепо и нетерпеливо тыркающийся бушприт; тот под напором протиснулся между ними, и я очень остро почувствовала, как пробирается он вовсе не тем курсом, вовсе не в ту дверь стучится и ломится. Когда же я сказала моряку об этом, он хмыкнул: «Пфу, радость моя, в шторм любая гавань годится». Тем не менее, сменив курс и взяв чуть пониже, он вставил все как положено, да так вонзил, словно поднять меня решил, а потом заработал с такой силой, такой огненный аврал мне устроил, что в том забавном положении, что я пребывала, когда отдалась ему, и до крайности возбужденная, я ощутила начало его конца и сама зашла в обморочной истоме, выжала из него, сжимаясь в конвульсиях, обильный поток, который, смешавшись с моим, все собою заполонил, и залила целым потоком весь неистовый пожар моих желаний.

Когда с этим было покончено, меня заволновал вопрос, как бы поскорее унести ноги. Порадоваться я очень порадовалась тому явному различию между щедрыми морскими ваннами и утомительным сухостоем ласк, вызывавших во мне негасимое пламя (что на подобный шаг меня и подтолкнуло), однако, поостыв, я стала постигать всю опасность продолжения знакомства с этим, пусть и симпатичным, но незнакомцем, тем более что сам он уже речь повел о том, как проведет со мной вечер, как продолжит интимные наши утехи, – и все это с такой бесцеремонностью, что я начала тревожиться, понимая, как нелегко будет от моряка избавиться.

Беспокойство свое я ничем не выдала, притворилась, будто готова остаться с ним; только, обратилась я к нему, мне нужно забежать на минуточку домой, сделать кое-какие распоряжения, а потом я быстренько ворочусь. Он это ничтоже сумняшеся проглотил, приняв меня, очевидно, за одну из тех несчастных уличных странниц, какие отдают себя на утеху первому попавшемуся грубияну, решившему осчастливить их своим вниманием; конечно же, я не стану возвращением своим лишать себя платы после того, как большая часть работы уже сделана. Так что он отпустил меня, но не раньше, чем громогласно, чтоб я услышала, заказал ужин, на котором я имела варварство лишить его своей компании.

Однако, когда я добралась домой и поведала о приключении миссис Коул, она так обнаженно и так резко раскрыла передо мной природу и опасные последствия моего безрассудства, в особенности же рискованные последствия эдакой готовности обнажаться перед кем угодно для здоровья, что я не только твердо зареклась никогда не впутываться ни во что подобное (и зарок сей соблюдала свято), но еще и по прошествии многих-многих дней не переставала тревожиться, как бы в память о встрече с моряком не приобрела я кое-что помимо приятных воспоминаний. Впрочем, эти опасения оказались напрасными и недостойными моего бравого моряка, так что я с удовольствием отдаю ему здесь должное.

Я прожила с мистером Норбертом с четверть года, и это время весьма приятно делила между увеселениями в доме миссис Коул и должным вниманием к джентльмену, который более чем щедро расплачивался со мной за безграничное послушание, с каким я сносила любые его капризы в утехах. Это настолько сильно подействовало

на него, что, обнаружив, как он выразился, во мне одной столько разнообразия, сколько он тщился отыскать в нескольких женщинах, он благодаря мне утратил вкус к непостоянству и к новым лицам. Для меня, правда, более приемлемым и куда более утешительным было то, что любовь, на которую я его вдохновила, привела к перемене, важной и для меня, и, главное, для его здоровья: настроив его постепенно – весьма и весьма привлекательными аргументами – на супружеский лад, я упорядочила продолжительность и частоту утех, избавила их от излишеств, к каким он успел было пристраститься и какие основательно расшатывали его организм, убивали в нем ту самую живую силу, которой он сильнее всего желал; господин мой становился все более деликатным, более терпимым и, в конечном счете, более здоровым. Его признательность мне за это уже принимала весьма благоприятный оборот для моей судьбы, когда еще один его каприз вдруг выбил из моих рук чашу, уже поднесенную к губам.

Сестра его, леди Л., к которой он был сильно привязан, пожелала, чтобы он сопровождал ее в поездке в Бат, куда она уезжала поправлять здоровье. Он не мог отказать ей в этой услуге. Хоть и рассчитал он, что расставание наше продлится самое большее неделю, но все же покидал меня с тяжелым сердцем, оставив мне денег куда больше, чем позволяли ему финансовые возможности, сумма эта никак не вязалась с предполагаемой краткостью разлуки. Разлука же оказалась такой, что дольше не бывает и случается всего лишь раз: прибыв в Бат и не прожив там и двух дней, он пустился в пьяный загул с какими-то дворянами, который довел его до жесточайшей лихорадки, она в четыре дня унесла его, так и не вышедшего из забытья. Будь он в

сознании, чтобы составить завещание, возможно, он сделал бы в нем благоприятное упоминание на мой счет. Таким вот образом я потеряла и его. Ни одно из положений в жизни не подвержено таким переменам и переворотам, как положение женщины для утех, а потому печалилась я недолго, снова обрела бодрость духа, снова вычеркнула себя из списка любовниц-содержанок, снова припала к груди нашего сообщества, от которой в какой-то мере была оторвана.

Миссис Коул, по-прежнему одаривая меня своим дружелюбием, предложила содействие и совет, с тем чтобы сделать еще один выбор, но теперь я уже чувствовала себя спокойно, была достаточно обеспечена, чтобы позволить себе немного предаться лени; что же до позывов естества, то их чувственная напряженность намного ослабла, когда стало ясно, с какой легкостью ее можно разрядить утехами в доме миссис Коул, где Луиза и Эмили все продолжали по-старому. Харриет, особенно мною любимая, частенько навещала меня; приятно было смотреть на нее, разумом и сердцем погруженную в счастье, которым она наслаждалась со своим дорогим баронетом, его любила она преданно и нежно, даром, что он был ее содержателем, более того, в щедрости своей обеспечил независимое и безбедное существование и самой Харриет и ее родне. В ремесле своем я была свободна от постоянного найма, занималась им, когда и как мне того хотелось, но вот однажды миссис Коул с откровенностью и доверительностью, какие всегда были свойственны нашим отношениям, рассказала мне о некоем мистере Барвилле, завсегда тае ее дома, только что возвратившемся в столицу, которому она никак не могла подыскать подходящую партнершу. Дело было и впрямь

очень трудным, поскольку клиент этот попал под властное очарование жестокости: его обуяло горячее желание не только самому подвергаться немилосердному бичеванию, но и других хлестать, так что тем, у кого хватало смелости и послушания ублажать его прихоть (а таких и без того оказывалось немного, ибо сам он в напарниках был очень разборчив), приходилось поочередно с ним переносить ужасную экзекуцию; платил клиент много, даже чрезвычайно много, но охотниц зарабатывать деньги, жертвуя собственной кожей, не находилось. Необычность странной его склонности возрастала еще и оттого, что клиент был молодым: обычно подверженными ей оказываются люди в возрасте, кому подобные упражнения требуются, дабы оживить, ускорить вялый ток их жизненных соков, направить его, взбудораженного ожиданиями утех, к поникшим, обмякшим, сморщенным органам, поднимающимся к жизни только после приятно возбуждающих изнурений плоти, вызываемых поркой мясистых противоположностей органам наслаждения, меж которыми существует такое вот удивительное согласие.

Обо всем об этом миссис Коул поведала мне просто так, без каких бы то ни было ожиданий, что я предложу свои услуги: жила я достаточно покойно, и нужно было бы нечто в высшей степени интересное, огромной силы искустельное, что могло бы подвигнуть меня на подобную работу; я же никогда раньше не выказывала и никогда не чувствовала ни малейшего позыва, ни любопытства узнать побольше об утехах, обещавших куда больше боли, чем удовольствия тем, у кого не было никакой нужды столь жестоким образом возбуждать себя. Что же тогда заставило меня добровольно согласиться на

вечеринку страданий, если я заранее знала, что именно таковой она и обернется? Ну, что сказать Вам? Если чистую правду, то это был внезапный каприз, прихоть фантазии, желание испытать новое, неизведанное, к чему примешивалось суетное стремление доказать миссис Коул свою смелость. Да, пожалуй, это все и побудило меня рискнуть и предложить себя, освободив ее от дальнейших поисков. Думаю, что я и обрадовала и удивила наставницу открытой и безоглядной отдачей себя в ее, то есть в данном случае в ее приятеля распоряжение.

Милая моя названная мать-наставница, однако, в благости своей все мыслимые доводы перебрала, дабы отговорить меня от такой затеи, но я, понимая, что делает она это лишь из любви и жалости ко мне, упорствовала в своем решении и тем сняла со своего предложения все подозрения в неискренности или в пустой похвальбе. Поблагодарив сердечно, миссис Коул уверила меня: кабы не боль, она не задумываясь предложила бы мне поучаствовать в такой вечеринке, за которую, уверяла она, заплатят очень даже хорошо и которая, как и вся сделка вообще, будет проходить в полной тайне, так что никто из участников не подвергнется вульгарному осмеянию или поношению. Лично она, добавила наставница, считает наслаждение в любой форме и в любом его виде общим для всех портом назначения, а всякий ветер, дующий в том направлении, – добрым ветром, если, конечно, он никому зла не чинит; и не осуждать, а скорее сострадать нужно тем бедняжкам, что подвержены страстям, от каких не имеют сил избавиться, чьи аппетиты в наслаждении безотчетно управляются вкусами странными, а то и противоестественными; вкусы, кстати, в утехах так же

бесконечно разнообразны и так же не подвластны доводам рассудка, как и всяческие склонности, аппетиты и интересы человечества в еде и продуктах: есть обладатели нежных желудков, не переваривающие простого куска мяса и смакующие лишь хорошо приправленные, изысканные кушанья, при виде которых другие едва ли не в бешенство впадают.

Для меня, впрочем, в подобных речах воодушевления и поддержки нужды особой не было: мое слово сказано, и я была решительно готова данное обещание исполнить. Так что осталось лишь назначить для свидания вечер да заранее узнать все необходимое о том, как мне действовать и как себя вести.

Столовая в доме миссис Коул была должным образом прибрана и освещена, и в ней молодой человек поджидал, когда меня с ним познакомят.

Миссис Коул ввела и представила меня ему. На мне было свободное дезабилье, подходящее, по ее мнению, для испытаний, через которые мне предстояло пройти: все из тончайшего полотна и все – пеньюар, нижняя юбка, чулки и атласные домашние туфельки – безупречно белые, в таком наряде я выглядела жертвой, ведомой на заклатие, волосы же мои, ниспадавшие свободными локонами по плечам, создавали приятный золотисто-каштановый контраст белому цвету одеяния.

Мистер Барвилль, увидев нас, тотчас же встал и, не скрывая своего удовольствия и удивления, приветствовал меня. Затем обратился к миссис Коул и спросил, возможно ли, чтобы создание, столь нежное и прекрасное, добровольно обрекло себя на те страдания и грубости, какие являются неременным его условием нынешнего тайного свидания. Она отвечала ему

должным образом, различив в его глазах горячее желание остаться наедине со мной, вышла, перед тем порекомендовав ему быть посдержаннее с такой хрупкой новообращенной.

Пока его внимание занимала миссис Коул, я обратила свое на фигуру и обличие несчастного молодого человека, кому – по причинам ему самому неведомым – уготовано было через розгу обретать наслаждение, так же, как школярам через такую же розгу – знания.

Он был чересчур светел, лицом чист и гладок, я решила, что ему не больше двадцати лет, хотя на самом деле он был тремя годами старше, молодость объяснялась полнотой всего его приземистого и коренастого тела, округлостью и налитой свежестью лица; он был бы вылитой копией Бахуса, если бы не выражение суровости, даже жестокости на лице, очень не подходившее ко всему его облику, лишавшее его радости, необходимой для того, чтобы полностью походить на веселое и жизнелюбивое божество. Одежда на нем была чрезвычайно опрятной, но простой и намного беднее, чем мог бы себе позволить человек, располагавший, как он, внушительным состоянием; однако одежда была выражением его вкуса, но не скарденности.

Когда миссис Коул удалилась, молодой человек усадил меня рядом с собой и обратил ко мне свое лицо, на котором появилось – преображение это граничило с чудом – выражение очаровательной приятности и добродушия; позже, узнав его побольше, я поняла, что такие резкие смены не только выражения лица, но и вообще настроения вызываются постоянным внутренним

раздором, недовольством самим собой за то, что оказался он пленником, даже рабом необычайной своей страсти из-за причуд организма, делавших его невосприимчивым к наслаждению до тех пор, пока чувственность не подхлестывалась способами чрезвычайными, пока он не предавал самого себя в руки боли; эти-то постоянные уколы совести в конце концов и придали его чертам выражение горечи и суровости, вовсе, между прочим, не соответствовавших его от природы доброму характеру.

Вначале он извинениями и призывами сыграть свою роль естественно и вдохновенно довольно умело настроил меня и отошел к камину, я же отправилась в чулан за орудиями истязания: ими оказались несколько розог, сделанных из связанных вместе двух-трех березовых прутьев. Он взял их в руки и стал разглядывать, дрожа от предвкушаемого удовольствия, я же взирала на них с содроганием. Затем мы перенесли от стены длинную широкую скамью, на мягкой полотняной обивке которой можно было вытянуться во весь рост, и тем завершили все приготовления. Молодой человек снял с себя камзол и жилет, по его знаку и желанию я расстегнула на нем панталоны, закатала сорочку повыше пояса и подоткнула ее, чтоб не спадала. Делая это все, я не могла не взглянуть на того капризного повелителя, в чью честь приготовления и устраивались: тот, казалось, едва не целиком ушел в тело, из кудрявых зарослей внизу торчал лишь самый кончик – словно птаха полевая из травы головку казалась.

Нагнувшись, он развязал ленты подвязок и подал их мне, чтобы я ими привязала его ноги к скамье; я особой в том необходимости не видела, но сочла это еще одной

прихотью клиента, необходимой ему для полной завершенности всего церемониала.

Подведя его к скамье, я, как то и полагалось по замыслу игры, устроила сцену, в которой я словно силком укладывала непослушного для наказания, а молодой человек – проформы ради – тому поначалу как бы противился, но в конце концов улегся животом на скамью и уткнулся лицом в обивку. Когда он устроился поудобнее, я привязала его руки и ноги к ножкам скамьи и стащила с него, лежавшего с рубашкой, задранной выше поясницы, и панталоны до самых колен, явив свету ничем не прикрытый вид сзади, где пара упитанных, гладеньких, чрезвычайно белых ягодичек упруго вздымалась над двумя толстыми, мясистыми ляжками и расщелина между ними срасталась на пояснице, – это и была мишень, по сути, сама устремившаяся навстречу кнуту или розге.

Выбрав одну из розог, я встала над ним и, следуя его же повелению, единым духом высыпала ему десяток горячих со всего маху и изо всех сил, отчего мясистые полушария задрожали, а обладатель их, казалось, нимало не был раздражен: похоже, что на него порка подействовала не больше, чем блошинные укусы на защищенного панцирем омара. Я же внимательно следила за всем, что творила ненужная, во всяком случае, на мой-то взгляд, жестокость: под каждым ударом белая поверхность живых холмов вспухала багровыми рубцами, там же, где гибкая розга, обвиваясь, врезалась в плоть, крупными каплями выступила кровь, из некоторых рубцов я даже вытаскивала занозы, отщеплявшиеся от прутьев и впивавшиеся в кожу. Дивиться тут было нечему: прутья подобраны свежесрезанные, секла я, не жалея сил, а кожа его так

гладко и плотно обтягивала наполнявшую ее твердую, без рыхлостей плоть, что не была подвержена под ударами обманчивым припухlostям и обвисlostям, а сразу же рассекалась до мяса и иссиня багровела.

Удручающая эта картина вызвала во мне такую жалость, что в душе я пожалела о своем согласии и готова была отказаться от дальнейшего: по мне, он и без того достаточно получил, – однако, уступая его уговорам и даже мольбам, я продолжила и дала ему еще десяток розог, после чего, устроив передышку, заметила, что крови стало больше. В конечном счете, успокоенная и ободренная его стойкостью к страданиям, я, время от времени прерываясь, чтобы передохнуть, продолжала экзекуцию до тех пор, пока не увидела, как он стал напрягаться и дергаться телом, причем корчился он – мне это было совершенно очевидно – вовсе не от боли, а под воздействием какого-то иного и очень сильного чувства. Желая разобраться, в чем тут дело, я во время очередной передышки подошла поближе и сначала погладила его, все еще тершегося животом об обивку скамьи, по тем местам, до каких не добрались немилосердные прутья, затем просунула руку ему под бедра и с удивлением обнаружила, насколько все там продвинулось: этот его инструментик, какой я, по первому впечатлению, сочла незаслуживающим внимания или, в самом лучшем случае, величиной бесконечно малой, теперь благодаря всей той боли и разору телесному сзади не только обрел значительную жесткость возбуждения, но и размеры, испугавшие даже меня, – в самом деле, толщины необычайной! Только головка его с трудом у меня в горсти помещалась. Когда молодой человек приподнимался, двигаясь взад-вперед в возбуждении странного удовольствия, и инструмент его

становился виден, то напоминал он широченный кусок белейшего телячьего филе, у которого (так же, как и у коренастого обладателя всего тела) ширина намного превосходила длину. Ощувив в местах сокровенных мою руку, молодой человек с мольбой стал упрашивать меня побыстрее продолжить порку, иначе он никогда не достигнет высшей стадии наслаждения.

Снова взявшись за розги и поработав ими, я порядком пообтрепала три связки, прежде чем юноша забился в конвульсиях, задергался, пару раз глубоко вздохнул и на моих глазах утихомирился – распластался и замер. Тут он пожелал, чтобы я прекратила его сечь, о чем меня упрашивать не надо было, и отвязала его, что я мигом исполнила; отвязывая же, не могла не надивиться безразличию и терпению его, ведь все ягодицы, совсем недавно такие гладкие и белые, с одной стороны были не просто исхлестаны, а превратились прямо-таки в кровоточащие отбивные, над которыми словно поработали в мясницкой, так что когда он поднялся, то едва мог ходить. Короче, каши деревянной, приправленной терниями, наелся он до отвала. Заметила я и следы обильного извержения на обивке скамьи, и то, как член его, ленивый, будто слизняк, уполз обратно в гнездышко, упрятался в нем, словно стыдно ему стало за то, что он осмелился высунуть головку свою. Казалось, ничто не способно выманить его оттуда, кроме бичевания его соседей-антиподов, какие всякий раз должны были принимать страдания, потакая его капризу.

Молодой человек меж тем оделся и привел себя в порядок. Он поцеловал меня, притянул к себе и усадил рядом, сам, как мог осторожно и бережно, усевшись на скамью той частью, которая не отзывалась мучительной болью на вес опиравшегося на нее тела. Он

поблагодарил меня за чрезвычайное удовольствие, доставленное ему, и, различив, наверное, в выражении моего лица приметы страха от ожидавшего мою кожу возмездия за поругание его покровов, принялся уверять, что готов меня освободить ото всех обязательств, которыми я могла бы счесть себя связанной и обязанной выдержать то, что он вынес от моей руки, ставшей по его воле орудием его же страданий; если только я захочу, говорил он, то он откажется от своей доли утех, приняв во внимание отличие моего пола, его большую утонченность и неспособность терпеть боль. Тронутая такой заботой да и в гордости своей уязвленная, я считала непозволительным отступить от наших договоренностей тогда, когда уже не то что час, минута моя пробила, к тому же – и о том я была прекрасно осведомлена – на глазах у миссис Коул, находившейся в потайной зрительской ложе: в таком разе я меньше боялась за свою кожу, чем того, что молодой человек не удостоит меня возможности засвидетельствовать мою решимость и твердость.

Созвучно такому настрою и прозвучал мой ответ. Правду сказать, смелость моя все больше в голове, а не в душе обитала, поэтому, уподобившись трусам, что бросаются очертя голову навстречу опасности, их пугающей, дабы поскорее избавиться от мучения ее ожидания, я действительно обрадовалась, когда он принялся хлопотать, готовясь к экзекуции.

Хлопот ему выпало немного: всего-то поднять мне юбку нижнюю с рубашкой вместе до пупка и подоткнуть их так, чтоб можно было, коли утех того потребуют, поднять их еще выше. Затем, с видимым удовольствием оглядев обнаженное тело со всех сторон, он уложил меня на скамью лицом вниз, когда же я, ожидая, что он и

меня, как я его, привяжет, трепеща от страха уже вытянула руки, молодой человек сказал, что ни за что не станет понапрасну меня пугать эдаким обхождением, ибо, хоть он и собирается подвергнуть испытанию мое терпение, но меру выдержки позволено определять мне самой: я абсолютно свободна встать, если почувствую, что боль стала невыносимой. Вы и представить себе не можете, насколько связанной ощутила я себя эдаким-то дарованием свободы и как ободрила и сил мне придала такая его уверенность во мне – настолько, что даже в душе сделалась я безразличной к той боли, какую предстояло претерпеть моей плоти во имя душевной гордыни.

Вся я, обнаженная до половины спины и ниже, полностью оказалась в его власти, воспользовался он ею прежде всего для того, чтобы, стоя чуть поодаль, хорошенько рассмотреть – в том положении, в каком я лежала, – все укромные сокровенности, которые выставлены были на его обозрение. Затем, резко подскочив, он покрыл обнаженные места моего тела множеством страстных поцелуев и уже после этого взялся за розгу. Вначале, очевидно, раззадоривая меня, он слегка похлопал ею по нежным затрепетавшим холмам плоти, высившимся у меня сзади, вовсе не причиняя им боли, потом постепенно стал хлестать их так, что они покраснелись, в чем меня убедили и поднявшийся в тех местах жар, и слова молодого человека о том, что теперь очаровательные мои возвышенности похитили все розы с моих щек. Вдоволь натешившись, налюбовавшись и наигравшись, он принялся бить все сильнее и сильнее: мне потребовалось все мое терпение, чтобы не закричать или хотя бы не пожаловаться. В конце концов он стеганул меня так

славно, что кровь выступила. Увидев это, он тут же отбросил розгу, подлетел ко мне и лобзаниями собрал всю выступившую кровь до капельки, признаюсь, такое зализывание ран в значительной мере утихомирило мою боль. Но тут он поднял меня на колени так, что, опираясь на них широко разведенными ногами, я сделала доступной для ударов ту нежную плоть свою, что была создана природой для наслаждения, а вовсе не для страданий. И ей пришлось претерпеть боль! Видя ее отчетливо, молодой человек так направлял розгу, что тоненькие кончики ее прутьев пребольно стегали по плоти, настолько чувствительно, что я не в силах была удержаться от конвульсий и дерганий, из-за чего мое тело принимало бесконечно разные и причудливые позы и положения, способные усладить самый сладострастный взор. Однако все это я по-прежнему вынесла без единого крика. Тогда он, давая мне еще одну передышку, накинулся на ту нежную плоть, губы и окрестности которой подверглись истязаниям, и в отплату за причиненное зло прижался к ней своими губами; затем он открывал, закрывал губы плоти, сжимал их, бережно ерошил завитками поросшие волосики – и все это в угаре дикой страсти, восторга и желания, обозначавшем избыток наслаждения. Вновь взявшись за розгу, ободренный моим спокойствием, возбужденный странным своим способом восторгаться, он принудил мои ягодицы сторицей заплатить за его собственную неспособность сдержать восторг: не выказывая более никакой жалости, изменник слову своему так полоснул по мне, что я едва сознания не лишилась. Все же ни стоны я не исторгла, ни словечка гневного не проронила, только в сердце своем самым серьезным образом решила:

никогда больше не предаваться подобным истязательным утехам.

Можете себе представить, в какое месиво обратились мягкие мои ягодицы, как саднили они, исполосованные и иссеченные, и как далека была я от того, чтобы находить в страданиях удовольствие, даже губки надула из-за недавней муки и безо всякого удовольствия выслушивала комплименты и принимала следовавшие за ними нежности творца моей боли.

Как только одежда моя более или менее была приведена в порядок, был подан ужин. Подала его сама вездесущая миссис Коул, что добавило изысканности блюдам и тонкости вкусу тщательно подобранных вин, которые она поставила перед нами перед тем, как вновь удалиться. Ничем – ни словом, ни улыбкой, ни жестом – не нарушила она нашей интимности, которая еще не созрела до того, чтобы терпеть появление третьего лица.

Я села, все еще весьма далекая от милостивого расположения к своему мяснику (а именно таковым не могла его не считать), тем более что меня немало задевало выражение веселости и удовлетворения, так и сиявшее на его лице и бывшее, на мой взгляд, просто оскорбительным для меня. Однако позже, когда столь необходимые в тот момент подкрепляющий бокал вина и немного еды (их мы отведали, храня полное молчание) несколько подбодрили и воодушевили меня, да и боль успела притупиться, хорошее расположение духа вернулось ко мне. Эта перемена не прошла для молодого человека незамеченной, он постарался и речами и всем остальным поддержать и укрепить во мне дух радости и, надо заметить, весьма в том преуспел.

Ужин еще не успел закончиться, как произошла перемена прямо-таки разительная: мною овладели буйные и в то же время приятные, будоражащие чувства, да такие, что я не ведала, как сдержать их. Боль от порки теперь обратилась в жгучий жар, в такой яростный зуд, что я зубы стискивала, ноги тесно сжимала и скрещивала, на месте елозила и егозила, словно на горячем сидела, – и все это жжение, донельзя возбужденное в тех местах, на какие прежде всего обрушилась буря истязаний, мало-помалу перекинулось на места противоположные: легионы горячительных, возбуждающих ощущений устремились к средоточию утех и таким жаром желаний заставили его вспылать, что я буквально разума лишилась. Стоит ли удивляться, что в состоянии, когда языки бушующего во мне пламени начисто слизали всяческую скромность и сдержанность, взоры мои, охваченные огнем неукротимого желания, подавали партнеру моему вполне различные знаки нетерпения: «партнеру моему» – сказала я, ибо в свете охватившего меня пожара молодой человек выглядел все дороже, все необходимее для того, чтобы утихомирить бушующее пламя, внести успокоение в мою истерзанную желанием души.

Мистер Барвилль, далеко не новичок в подобных делах, скоро разобрался, на какой я стала путь, скоро понял, в каком разоре я пребываю, а потому, отодвинув мешавший стол, он начал с прелюдии, которая меня мгновенно обрадовала, успокоила, но о которой я и помыслить не могла: он расстегнулся и явил передо мной бездеятельный свой таранчик, а затем, слегка покраснев, признался, что ничего не получится, если я своими руками не возбужу дремлющие в нем силы, освежив болью только-только затянувшиеся рубцы; причем,

заметил он, вполне возможно обойтись и без розог, достаточно нашлепать его, как мальчишку, по попке. Понимая, что себе, как и ему, на утеху я должна как следует поработать, я поспешила исполнить его желание: едва он склонился головой на спинку стула, я безо всяких нежностей и церемоний шлепала его до тех пор, пока объект моих желаний не подал признаки жизни – будто от прикосновения волшебной палочки вновь принял он благородные размеры и отличия! В нетерпении одарить меня всеми выгодами этого молодой человек мигом уложил меня на скамью, но когда я оказалась на спине, пробудившаяся сзади боль была такой острой, что мне явно было бы не по силам вытерпеть еще и громаднейшую головку его тарана. Тогда я встала и попыталась, наклонившись вперед и повернувши все свои тылы навстречу нападавшему, впустить его с черного хода, но и тут оказалось невозможным терпеть боль, какую он причинял, прижимаясь своим животом как раз к тем же самым болезненным местам. Что нам оставалось делать? Нам, обоим разгоряченным до крайности, обоим в запале? Ах, подлинная страсть так изобретательна во всем, что способно ее удовлетворить! В два счета он скинул с меня всю одежду, бросил у камина широкую диванную подушку и поставил меня на ней вверх ногами, придерживая только за талию. Я же, совершенно – можете в том не сомневаться – довольная своим положением, обхватила ногами его шею, так что голову мою от пола отделяли только руки да бархатная подушка, по которой рассыпались мои волосы. Так я стояла на голове и на руках, поддерживаемая им, ноги мои скользнули по его телу, пока не явился его взору весь вид моей фигуры сзади, в том числе и театр

кровавых его потешных сражений, средоточие же моих утех – со своей стороны – смело напирало на предмет, его прогневавший, но теперь застывший в великолепной стойке и готовый дать мне удовлетворение за все мои терзания. Разумеется, поза была не из самых удобных и легких, так что в воображении своем, воспарившем к горным высям, ни он, ни я не могли бы примириться ни с малейшей затяжкой или задержкой. Так что он с величайшей готовностью и пылкостью вложил широченную головку своего орудия в отверстие для него пространство и тут же вогнал его туда целиком. Настал момент, когда под яростными его выпадами куда-то разлетелись и попрятались все ощущения боли: и от ран на зад, и от неудобной позы, и от чрезмерной растяженности нежной моей плоти – их место заняло, на их месте воцарилось безраздельное ощущение восторга. Настал момент, когда все без исключения чувства и ощущения жизни нетерпеливо устремились на арену борьбы, где пылко оспаривалась награда наслаждения, и скапливались в одной точке, где я вскоре получила долгожданное умиротворение естества: сверхнеистовые напряжения кавалера разрешились таким мощным потоком успокоительного извержения, в котором исчезли и пропали все сводившие меня с ума раздражения: все мои чувства были мало-мальски приведены в порядок. Настал момент, когда необычайная эта вечеринка полностью служила моему удовлетворению, причем в гораздо большей степени, чем то можно было бы предполагать, зная ее природу. Удовлетворение это ничуть не уменьшилось, как Вы можете догадаться, от щедрых похвал моего рыцаря терпению и послушанию моему, которые он подкрепил подарком, во много раз

превосходившим любые мои ожидания, не говоря уже о значительном вознаграждении для миссис Коул.

Тем не менее это вовсе не означало, что я в любое время соблазнилась бы на новое свидание с рыцарем, что я готова была сломя голову вновь бросаться (если двигаться, то – не спеша, нормальным шагом) к радостям истязательного бичевания, которое, между прочим, как я поняла, действует наподобие порции *шпанских мушек*, возможно, большее, зато и безопаснее. Молодому человеку это, должно быть, даже необходимо, но уж мне-то меньше всего требовалось: моему темпераменту узда была куда нужнее, чем шпоры.

Миссис Коул, которая после того, что произошло, прониклась ко мне еще большей любовью, воспринимала меня теперь как девушку, которой было отдано ее сердце, девушку, ничего не боящуюся и, по большому счету, достаточно закаленную, чтобы сражаться любым оружием утех. Будучи заботлива и крайне благожелательна, она следила за тем, чтобы доставлять мне побольше либо дохода, либо удовольствия. На первое сделала она особый упор, когда отыскала нового, весьма необычного ухажера, с которым меня и познакомила.

То был важный, степенный, напыщенный пожилой джентльмен, особая прихоть которого заключалась в том, что в восторг его приводило расчесывание красивых длинных волос. Поскольку голова моя была совершенно в его вкусе, он обычно приходил всякий раз в часы, отведенные для моего туалета, когда волосы мои получали свободу, дарованную им природой, а он – свободу делать с ними все, что ему угодно. По часу, порой и больше держал он меня, играя с прядями,

погружая в них расческу, накручивая локоны на пальцы, даже лобзая волосы – и все! Ничего больше ни от меня, ни от моего тела он не требовал, никаких иных вольностей не допускал, словно для него никаких иных различий полов вовсе не существовало.

Была у него и еще одна причуда вкуса: покупать и дарить мне разом дюжину пар белоснежных лайковых перчаток, самолично натягивать их мне на руки, а затем откусывать самые кончики перчаточных пальчиков. За все эти дурачества больного воображения пожилой джентльмен платил щедрее, чем другие за куда более основательные услуги. Наш роман длился до тех пор, пока жестокий кашель не скрутил его и не уложил в постель, разлучив меня с этим самым невинным и пресным из чудачков, ибо больше я никогда о нем не слышала.

Можете не сомневаться, что такого рода отвлечения и приработки никак не отвлекали меня от основного течения, основного плана жизни, которую я вела, правду говоря, с целомудрием и сдержанностью, какие меньше всего могут быть объяснены трудами добродетели, нет, это объяснялось истощением от испытаний новшествами, пресыщенностью утехами и моим обеспеченным положением: достаток позволял мне быть безразличной к любым предложениям, где утехы и доходы не были тесно увязаны. Я могла себе позволить, не впадая в мелкое нетерпение, подождать чего-то более подходящего, отдаваясь на волю времени и судьбы, ведь, к счастью, мне, получавшей на нашем рынке по высшим ставкам и даже в лакомствах весьма разборчивой, не было нужды высчитывать гроши и удовлетворяться крохами. Кроме того, пожертвовав несколько раз минутными порывами, я неожиданно открыла в себе способность получать тайное

удовлетворение от уважения к самой себе, а также от того, что могу поберечь свою жизнь и свежесть цвета лица. Луиза и Эмили, замечу, были не столь обеспечены и не столь бережливы (хотя и о них никак нельзя было сказать, будто пребывали они в бедности и запустении), хотя некоторые их приключения, на первый взгляд, и противоречат этой общей характеристике. Приключения их – особого свойства, поэтому решаюсь рассказать Вам о них, начав с того, какое выпало на долю Эмили.

Однажды они с Луизой отправились на бал-маскарад, подруга оделась пастушкой, а Эмили облачилась в костюм пастушка; я видела их в маскарадном облачении перед тем, как они уехали, по-моему, никто на свете не смог бы лучше изобразить красавчика-паренька, чем наша светловолосая и стройненькая Эмили. Некоторое время они держались вместе, потом Луиза, повстречав старинного своего приятеля, с легким сердцем оставила подругу под защитой мужского облачения (нельзя сказать, чтобы очень уж надежной была эта защита) и собственного ее благоразумия (оно было, по-видимому, еще менее надежным). Эмили, оказавшись покинутой, немного походила туда-сюда, потом это ей надоело, и, дабы освежиться и подышать свежим воздухом, а может, и для иных целей, она сняла маску и отправилась к буфету, где ее заметил некий господин в красном домино, который тут же подошел и вступил с ней в беседу. Беседа, где Эмили, несомненно, выказала свое добродушие и легкость нрава больше, чем остроту ума, длилась недолго: вскоре домино принялся пылко уверять пастушка в своей любви, более того, неприметно заталкивая его в дальний угол бальной залы, где усадил рядом с собой на софу, пожимая ручки, пощипывая за

щечки, нахваливал цвет лица, восхвалял прелестные волосы и играл ими, причем все его торопливые и суетливые ухаживания несли на себе отпечаток некой странности, не поняв и не разгадав секрета которой Эмили приписала все очарованию, с каким господин отнесся к ее шутивому наряду, и, будучи не самой жестокосердной из жриц утех, уже склонна была повести речь о забавах более существенных. Но в том-то и была горькая соль шутки, что господин принял ее за того, в чей наряд она облачилась, – за смазливенького мальчишечку. Она же, забыв, во что одета, естественно, придавала его намерениям совсем иную направленность, считала, что все его ужимки и ухищрения адресованы ей именно как женщине, хотя на самом деле ласками его была обязана как раз тому, что господин в домино ее за такую не признавал. Как бы то ни было, но двойное – с обеих сторон – заблуждение зашло столь далеко, что Эмили, видевшая в ухажере всего лишь добропорядочного и, судя по тем деталям костюма, какие не скрывались за маскарадным нарядом, состоятельного господина, тоже разгоряченного вином, которым он щедро потчевал ее, и ласками, которыми услаждал ее не менее щедро, позволила себя уговорить и отправилась вместе в нем в отдельный кабинет публичного дома. Забыв все предостережения миссис Коул, слепо и доверчиво предалась она в руки незнакомого господина, позволив вести себя куда угодно. Господин же, со своей стороны, ослепленный охватившей его страстью (замечу, невероятная простота Эмили и ее естественность в обращении ввели господина в заблуждение куда больше, чем то смогло бы сделать самое изощренное искусство), скорее всего предположил, что ему повезло напасть на глуповатого простака, подходящего для его замыслов,

или что в руки ему попался чей-то любовник-содержанец, прекрасно все понявший и разделявший его намерения и желания. Словом, он усадил Эмили в карету, сам уселся рядом и привез ее в премиленькую комнатку, где стояла кровать. Был то публичный дом или нет – сказать она не могла, поскольку спросить, кроме самого господина, было некого. Стоило им оказаться вместе наедине, стоило влюбленному удариться в те крайности, при которых скрыть пол никак невозможно, как Эмили различила на лице его неопишное выражение досады, замешательства и разочарования, сопроводившееся горестным восклицанием: «Царица небесная, она женщина!». Это враз открыло Эмили глаза, до того ослепленные откровенным безрассудством. Господин, однако, будто ничего другого он и не ожидал, продолжал играть и ласкаться, хотя чрезмерно горячая страсть явно сменилась у него на холодную вымученную галантность. Даже Эмили не смогла этого не заметить и пожалела, что не вняла должным образом предостережению миссис Коул: никогда не связываться с незнакомцами. Тут уж у нее избыток доверчивости сменился избытком робости, девушка сочла себя до того полностью оказавшейся в его власти и милости, что простояла ни жива ни мертва все время, что ушло на обычные приготовления. Тут, надо сказать, то ли под обаянием огромной ее красоты заставил господин себя простить Эмили ее пол, то ли по-прежнему затянутая в пастушеский наряд фигура все еще тешила его былые иллюзии, только постепенно к господину вернулась добрая доля прежней пылкости, он стянул с девушки так и не расстегнутые панталоны, легонько подтолкнул к кровати, принудил нагнуться (она лицом в постель

уткнулась) и расположил ее так, что оба пути между двойными возвышениями сзади открылись для него на выбор. Господин легко и недвусмысленно избрал путь неверный, и Эмили немало тревог испытала от страха утратить девственность там, где она и думать не думала. Все же ее протесты и сопротивления, мягкие, но решительные, возымели действие и помогли привести господина в чувство: пригнув головку своего конька, он пустил того по верной проторенной дороге, возможно, в воображении своем уподобляя ее той, что была ему больше по вкусу. Тем не менее и по обычной дороге сумел он добраться до конца. После всего господин вывел Эмили из дома, прошелся вместе с нею два-три квартала, остановил для нее коляску, одарил девушку ничуть не хуже, чем она могла бы ожидать, а затем покинул, предоставив заботам извозчика, который, руководствуясь ее указаниями, и доставил любительницу приключений домой.

Обо всем об этом в то же утро Эмили рассказала миссис Коул и мне. Даже во время рассказа в голосе и движениях ее различимы были остатки пережитого ею страха и смущения. Миссис Коул вынесла свой приговор: невоздержанность Эмили порождается особенностями, заложенными в ее организме, а потому мало надежды, что девушку хоть что-нибудь способно образумить или излечить, разве только не раз и не два повторенные такие вот горькие уроки, ею самую пережитые и прочувствованные. Я призналась, что не в силах постичь, каким образом человеческие существа могут приобрести вкус к утехам, не только повсюду презираемым, но и абсурдным своей невозможностью принести удовлетворение: насколько я могла судить по тому, с чем сама сталкивалась, природа делала противоестественным

любое насилие при таких огромных несообразностях. Миссис Коул лишь улыбнулась моей наивности и моему невежеству, но ничего, дабы рассеять их, не сказала. Может, я так и пребывала бы в неведении, не приведись мне спустя несколько месяцев при обстоятельствах в высшей степени исключительных собственными глазами увидеть кое-что, что восполнило данный пробел в моих познаниях. Пожалуй, о том случае я расскажу сейчас, чтобы больше не возвращаться к предмету столь неприятному.

Как-то собралась я навестить Харриет, которая жила на *Хэмптон-корт*, и, поскольку миссис Коул вызвалась меня сопровождать, наняла для поездки туда коляску; однако какие-то неотложные дела задержали мою наставницу, пришлось мне отправиться в одиночестве. Мы едва одолели треть пути, как у коляски сломалась ось; мне повезло выбраться из нее в целости и сохранности. Я зашла в стоявший при дороге вполне приличного вида трактир, где меня уверили, что не позднее, чем через пару часов, подойдет дилижанс, потому я, приняв во внимание, как далеко уже заехала, решила не отказываться от поездки, а дождаться почтовой кареты: на время ожидания в мое распоряжение отдали очень чистую и опрятную комнатку этажом выше.

Там я коротала время, развлекаясь тем, что смотрела на улицу в окно, как у дверей остановился одноконный фаэтон, а из него легко выпрыгнули два джентльмена (таковыми, во всяком случае, они выглядели) и зашли в трактир, казалось, передохнуть и немного освежиться, поскольку распорядились лошадь на распрягать и держать ее наготове. Вскоре я услышала, как распахнулась дверь соседней с тою, что занимала я,

комнаты, куда их незамедлительно препроводили, когда же джентльменам принесли то, что им угодно было заказать, я услышала, как они захлопнули дверь и заперли ее изнутри.

Дух любопытства (и тут ничего странного нет, ибо я не припомню, чтобы он меня хоть когда-нибудь покидал) подталкивал меня – без особых подозрений, предчувствий или намерений – посмотреть, что за люди оказались рядом за стеной, что они из себя представляют и чем занимаются. Перегородка, разделявшая наши комнаты, была съемной, время от времени, когда для больших компаний требовалось помещение побольше, ее убирали, делая из двух комнат одну, но как тщательно я ни выискивала, никак не могла обнаружить в ней хоть какую-нибудь щелку. Наверное, обстоятельство это учли и те, кто обследовали перегородку, не слишком-то ей доверяя, с другой стороны. Все же в конце концов я заметила на стене бумажную латку того же рисунка, что и обои, скрывавшую, как я решила, некий недостаток, но место располагалось так высоко, что мне пришлось подставить стул и встать на него, чтобы дотянуться. Все это я проделала как могла тихо и осторожно, а затем кончиком шпильки эту самую заплатку и проткнула. Теперь, прильнув к маленькому отверстию глазом, я превосходно видела всю соседнюю комнату и двух молодых людей в ней, затеявших, как мне представилось, веселую и безобидную игру, а потому с увлечением возившихся друг с другом.

Старшему, на мой взгляд, стукнуло лет девятнадцать – высокий симпатичный молодой человек в белой фланелевой блузе, зеленом бархатном плаще и парике с косичкой.

Младшему не было и семнадцати – светлый, плотный, уже вполне сформировавшийся и, сказать правду, очень привлекательный подросток. Мне показалось, что он был парнем деревенским, да и платье его о том же говорило: зеленая плюшевая блуза, такие же панталоны, белый жилет и чулки, шапочка, как у жокея, – а также соломенные волосья, длинные, свободно спадавшие и от природы кудрявые.

Чуть позже я увидела, как старший, подозрительно оглядев комнату (наверное, он слишком торопился да и разгорячен был, потому и не заметил крохотную дырочку, к какой я прильнула; к тому же отверстие было высоко, а глаз мой, прижатый к нему, не давал пробиваться свету, что могло бы выдать проницаемость перегородки), что-то сказал приятелю – и вмиг вся сцена изменилась.

Старший вдруг принялся обнимать, прижимать к себе и целовать младшего, запустил руки ему за пазуху, шаря по груди, и вообще подавал столь явные знаки любовных намерений, что я даже решила, будто младший – переодетая девушка: заблуждение, в какое меня ввергла природа, она явно ошиблась, придав подростку мужское обличье.

С торопливостью, свойственной юному возрасту, и с суетливостью тех, кто склонен предаваться нелепым своим утехам с риском самых ужасных последствий в случае поимки на месте (что отнюдь не было невероятным), парочка зашла настолько далеко, что полной мерой удовлетворила мое любопытство (во всяком случае, в той его части, относившейся к вопросу, кто они такие).

У меня хватило терпения досмотреть преступную сцену в их исполнении до конца – для того хотя бы, чтобы иметь побольше фактов и доказательств против них, чтобы воздать им по справедливости за такие гнусности. А потому, как только они привели себя в порядок и собрались уходить, я, горя гневом и возмущением, соскочила со стула, намереваясь поднять на ноги весь трактир против них, только спрыгнула я так неудачно, что попала не то на гвоздь, не то еще на что, да так грохнулась об пол, что чувств лишилась. Должно быть, я пролежала в беспамятстве какое-то время, пока мне не пришли на помощь, так что парочка, встревоженная шумом моего падения, вполне успела убраться подобру-поздорову. Винить в том некого, поскольку лишь придя в себя и оправившись настолько, что обрела дар речи, смогла я сообщить людям в трактире обо всем, чему стала свидетельницей.

Когда же я вернулась домой и рассказала об этом приключении миссис Коул, та весьма разумно заметила мне, что – вне всякого сомнения – рано или поздно этим пакостникам воздастся должное, пусть на сей раз они возмездия и избежали; только окажись так, что я стала бы невольным орудием возмездия, то тем навлекла бы на себя куда больше бед и суматохи, чем могу себе представить. Относительно же существа дела наставница выразилась так: чем меньше об этом говорится – тем лучше. И пусть ее заподозрят в пристрастии, добавила она, поскольку в том предубеждены все женщины, из чьих *ртов* такая порочная склонность тщится вынуть кое-что посущественнее, чем просто хлеб, тем не менее она – против смешения страстей и заявляет не почему-либо, а единственно из уважения к истине: какими бы ни были причины и следствия пагубной сей

страсти в иные века и в иных странах, только очевидно, что некоей особой благодати нашей атмосферы и нашего климата обязаны мы тем, что на всех, такой страстью пораженных, во всяком случае, в нашей стране, совершенно отчетливо различима печать, как от чумы; среди заклеянных ею, что ей известны или, по крайней мере, находятся под всеобщим скандальным в том подозрении, она не могла бы отыскать ни единого человека, у кого и во всех других отношениях характер не был бы в высшей степени бездеятельным и достойным порицания; утративши многие из достоинств собственного пола и наполнившись лишь худшими проявлениями благоглупостей и недостатков пола нашего, эти существа в *конце концов* оказываются не так гнусны, как смехотворны из-за чудовищного несоответствия: презирая и проклиная женщин, они всегда и во всем с них же и обезьянничают, перенимая у тех манеры, поведение, раскраску губ, семенящую походку, вообще всяческие мелкие ухватки и ужимки, какие женщинам все же подходят больше, чем этим бесполом мужелюбовницам.

Впрочем, хватит. Грязь с рук долой – и дальше, к основному моему рассказу, где самое время поведать об ужасной выходке Луизы: во-первых, я сама к ней причастна, а кроме того, надо бы морально поддержать и бедняжку Эмили. К тому же история эта к тысяче известных прибавляет еще один пример, подтверждающий мудрую мысль: стоит однажды женщинам сбиться с круга, как исчезает любой предел вольности, а то и распущенности, какой они способны предаться.

Однажды утром, когда миссис Коул и Эмили уехали на целый день, оставив дом на нашем с Луизой (не

считая прислуги, конечно) попечении, мы сидели в мастерской и убивали время тем, что глазели через витрину на улицу, сын бедной женщины, зарабатывающий на жизнь тяжким трудом (она перебивалась с хлеба на воду, штопая носки и чиня чулки в лавчонке по соседству), предложил нам букетики каких-то цветов, которыми полна была его корзиночка. Бедный малый продавал эти букетики, помогая матери содержать их обоих, ни на что другое в жизни он, скорее всего, не годился, поскольку был не только совершенно слабоумным, или идиотом, но еще и заикался так, что нельзя было разобрать и той полдюжины звуков, какие животные инстинкты толкали его произносить.

Мальчишки и прислуга в округе прозвали его *Дик-Добряк* за то, что сей простак делал все, о чем его ни попроси и к чему он был пригоден, по первому же зову, и за то, что по натуре своей он не был склонен предаваться горести; замечу к тому же, был он великолепно сложен, плотен, строен, высок и силен, как лошадь, вдобавок и лицом недурен. Так что не был из таких мужчин, кого можно было бы и вовсе со счетов сбросить и стороной обойти, если, конечно, ваша деликатность способна – при необходимости – примириться с лицом чумазым, космами, не ведавшими гребенки, и лохмотьями такими, что обликом своим Дик мог бы потягаться с самым языческим из всех философов.

Малого этого мы видели часто и покупали его букетики из чистого сострадания, ничего больше. Но в тот раз, когда он обратился к нам, протягивая свою корзиночку, Луизе неожиданно взбрело что-то в голову, фантазия ею овладела, и, не посоветовавшись со мной, она пригласила Дика войти, стала перебирать его цветы,

выбрала среди них два букетика – один себе, другой для меня – и, вытащив монету в полкроны, ничтоже сумняшеся подала ее малому на размен, словно и впрямь считала, будто он способен разменять деньги. Дик почесал в затылке и принялся жестикулировать, изъясняясь в своей неспособности знаками вместо слов, которых он, как ни силился, произнести не мог.

Луиза же на это сказала: «Что же, дружок, пойдем со мной наверх, там я тебе дам, что тебе причитается», – и в то же время мне мигнула, призывая следовать за ней, что я и сделала, заперев только перед этим входную дверь и предоставив приглядывать за ней и за мастерской домашней прислуге.

Пока мы поднимались, Луиза успела мне шепнуть, что ее одолело чудное желание проверить на этом слабоумном, справедливо ли общее правило и насколько щедро восполнила природа дарами телесными то, чем так явно обделила его в дарованиях умственных; при этом она умоляла меня помочь ей удовлетворить свое любопытство. Недостатком сговорчивости я никогда не страдала и была очень далека от того, чтобы помешать экстравагантной забаве, ведь и меня уже точил тот же червячок сомнения, а в любознательности я никогда и никому не уступала, так что – заговор состоялся, заговорщицы поняли друг друга сразу и весьма охотно.

Мы добрались до Луизиной спальни, и, пока она отвлекала Дика выбором букетиков, я принялась за дело и сходу ринулась в атаку. Нет никакого смысла ходить вокруг да около, примериваясь, когда имеешь дело с существом абсолютно естественным, а потому я сразу же повела себя с этим дитем естества совсем вольно, но первая моя попытка проникнуть в те места на его теле,

где женских рук не бывало, вызвала у него удивление и замешательство, так что, хотя в порыве застенчивости он и отступил, тем не менее мое наступление провалилось. Пришлось ободрять Дика взглядами, игриво ерошить ему волосы, по щекам поглаживать и другими разными хитростями успокаивать, добиваясь своего. Скоро он ко мне привык, и я смогла сыграть для всех его членов сладостную тревогу: он так возбудился и настолько ощутил сам их готовность вступить в битву, что после всех ухмылок и улыбок, какие я пыталась у него вызвать, мы наконец заметили пламя в его глазах, огонь которых, казалось, перекинулся на щеки, заалевшие румянцем. По лицу дурачка было ясно видно, как все жарче разгорается в нем животная радость, хотя, пораженный новизной ощущений, он понятия не имел, куда смотреть, куда двигаться, – прирученный и безвольный, он недвижимо стоял, в идиотском восторге полуоткрыв рот, позволяя мне выделять с ним все, что мне только заблагорассудится. Корзиночка выпала у него из рук – Луиза ее подобрала.

Я уже – после нескольких попыток – отыскала и ощупала его ляжки, кожа которых казалась чище и приятней наощупь из-за соседства с грубой шершавой, а то и просто в грязи вываленной одеждой; так зубы негров кажутся белее на фоне окружающей их черноты. Что ж, Дик-Добряк, обделенный нарядом, обделенный разумением, был несказанно богат сокровищами интимными: плотью упругой, плотной, насыщенной соками юности, развитыми, хорошо подогнанными конечностями. Пальцы мои добрались-таки до истинно-нежного, в самом деле чувствительнейшего ростка, который от прикосновений не только не увядал, а буквально рвался им навстречу, раздаваясь под

живительной лаской и вширь и в рост. Все говорило о том (и говор этот мне был приятен), что вот-вот произойдет открытие, какое нас интересовало и волновало, подготовка к нему зашла так далеко, что доказательству сделалось тесно в заточении и оно грозило вырваться оттуда, порвав все оковы. Я расстегнула Дику пояс, подобрала рубаху и выпростала наружу мужское отличие идиота во всей его красе и гордой вздыбленности возбуждения, но только... нет, какво! Размеры настолько невообразимые, что мы, настроенные увидеть нечто замечательное и необычное, не верили глазам своим: это безмерно превосходило все наши ожидания. Даже меня это поразило, а уж я-то в ремесле нашем на мелочи не разменивалась. В *общем*, попробуйте представить потрясшую нас картину: громаднейшая головка окраской и размером смахивала на обыкновенное овечье сердце, на широченной спинке можно было спокойно бросать кости, ствол длины чрезвычайной, а завершал картину большой – под стать длине – и богатый придаток мешка для сокровищ, испещренный морщинами. Воочию увидели мы доказательство, что обладатель всего этого не попусту дитя естества: открывшаяся картина как нельзя лучше свидетельствовала, что он унаследовал – и в изобилии – достоинства величия, отличавшие это во всем другом бездоленное существо. На память тотчас приходит простонародная поговорка: «Дурака побрякушка для леди – игрушка».

Не без смысла высказывание, поскольку, вообще-то говоря, в любви, как и на войне, ценится то оружие, что подлиннее. В *общем*, природа столько сделала для Дика в интимной части его тела, что, по-видимому, считала

себя прощенной за ту малость, какую она утрудилась для его головы.

На том роль моя (а я искренне стремилась не заводить шутку слишком далеко, достаточно было удовлетворить свое любопытство единым видом прелестей) кончилась: я вполне довольствовалась тем, что взметнула сей майский шест, вешать же на него венок предоставляла кому-нибудь другому, даром что к тому времени уже различила у Луизы в глазах отблеск пламени бурных желаний. Я свою скромную роль сыграла и создала ей все условия, какие кого угодно могли бы вдохновить довести начатое до конца, она же никакой иной забавы и не желала. Я решила досмотреть все и объявила, что останусь зрительницей до конца спектакля, – это, конечно же, было вызвано желанием распотешить вновь появившееся любопытство взглянуть, что способны сотворить естество действенное в сочетании с дитем естества, когда их вместе сводит природа.

Луиза (а аппетиты у нее разгорелись) подобно трудолюбивой пчеле, казалось, нимало не гнушалась взять медоносную взятку с редкой красоты цветка, пусть и росшего на навозной куче, и была всецело готова воспользоваться плодами того, что начато мною. Ощутимо понукаемая собственными хотениями (и поощряемая мною), она сразу же решила рискнуть и свести нежную свою плоть с мощным членом идиота, который к тому времени был достаточно распален всеми теми раздражителями, какие мы использовали, чтобы удовлетворить ее замысел и пустить в действие основной движитель утех. А у того каждая жилка струной вытянулась до полного натяжения – и он взметнулся, жесткий и напряженный, взорваться готовый от

распирившей его крови и мощи... что за громадина! Нет! Этого мне никогда не забыть!

Луиза, взяв в руки эту столь манящую, притягивающую к себе прекрасную рукоять, потянула за нее, словно за огромный рычаг, податливого юношу на себя, отступая к постели. Дик все больше попадал под воздействие инстинкта и постепенно отдавался власти возбуждающего желания.

Остановившись у кровати, Луиза, как то всегда ей нравилось, упала навзничь, откинувшись насколько могла и по-прежнему крепко держала то, что она держала. Падая, она позаботилась о том, чтобы одежда ее удобно задралась, чтоб ноги как следует раскинулись и приподнялись, открывая полную перспективу сокровищ любви; разомкнувшиеся розовые губы нежной плоти обозначили средоточение цели так четко, что было бы неестественно даже для дитя естества пройти мимо нее. Он и не прошел. А Луиза, горя нетерпением и желанием, направляла его могучее орудие, предвкушение услады обуяло ее. Партнеры рванулись вперед, и оба сделали выпад с такой силою и резкостью, что Луиза в голос закричала, будто пронзило ее так, что и терпеть нет мочи, будто смерть ее пришла. Только было уже поздно – буря разыгралась не на шутку и обрушилась на нее со всей силой. Чувственная страсть правила уже этим человеком-машиной, благодаря ей почувствовал он свое преимущество и превосходство, ощутил вдобавок впившееся в него жало удовольствия с такой невыносимой мукой, что, обуреваемый ею, все больше и больше в утехх впадал в неистовство, какое заставляло меня дрожать от страха за чересчур хрупкую Луизу. В их поединке Дик казался еще огромнее, чем был на самом деле, на лице его, обычно таком бессмысленном и

постном, теперь отражалось величие и важность исполняемого им действия. Короче, это был уже не тот человек, с которым можно было дурака повалить, я сама (и сие поразило особенно приятно) ощутила в себе нечто похожее на уважение к нему, разглядев, как украшает воителя ужасная мощь его движений: глаза его метали искры огня, лицо охватило пламя страсти, осветившее его светом иной жизни, зубы его скрежетали, все тело сотрясала ярость вырвавшегося на свободу неистовства, все в нем подчинилось буйству брачного инстинкта, овладевшего слабоумным. Пронзая и тараня перед собой все, взбешенный и дикий, будто разъяренный бык, он врезался в нежную пашню, бесчувственный к жалобам Луизы. Ничто не могло остановить, ничто не могло сдержать свирепости, подобной этой: именно свирепо, иначе и не скажешь, попав куда надо головкой, стал он прокладывать путь всему остальному, в слепом возбуждении пронзая, расщепляя и сметая все препятствия. Измученная, пронзенная, пораненная девушка кричала, билась, звала меня на помощь, пыталась выскользнуть из-под молодого дикаря или стряхнуть его с себя, но – увы! все попусту: она скорее сумела бы дыханием своим остановить или вспять обернуть зимнюю вьюгу, чем всеми своими силами отбить бурный его натиск или сбить с пути, которым он продирался. К тому же усилия ее, сопротивление ею оказываемое, было так беспорядочно, что скорее еще глубже втягивало ее в битву, еще крепче зажимало ее в клещах его могучих рук – и это вынуждало ее, сойдясь в тесной рукопашной, сражаться с таким же пылом, словно ей смерть угрожала. Диком же настолько овладела сила инстинкта, лицо его порой приобретало выражение такой зверской свирепости, что пугало куда больше, чем

поцелуи, больше похожие на укусы, – следы от них не сходили потом у Луизы со щек и с шеи еще несколько дней.

В конце концов бедная Луиза вынесла все лучше, чем того можно было ожидать, и пусть ей пришлось пострадать – и пострадать крепко! – все же, преданная старому доброму занятию, страдала она с наслаждением и упивалась своею болью. Вскоре под натиском, умноженным возбуждением, чудовищное орудие, ураганом метавшееся туда-сюда, неистово рвануло вперед до самого упора и – уже ей не оставалось ни бояться чего, ни чего бы то ни было еще желать. И вот,

«Набив утробу лакомством,

С каким мне нечего сравнить на свете»

(Шекспир)

Луиза лежала, обрадованная всей душой, довольная так, что и выразить невозможно, ликовала в ней каждая частичка той нежной плоти, что едва не рвалась от растяжения на дыбе радости. Орудие это с избытком испытывало ее чувственность, пока неистовство дикого наездника не передалось ей и она не разделила его бешеный восторг: разум ее испарился, все чувства до единого переметнулись в излюбленную ею часть тела – только там, только в ней ныне обитало целиком ее существо, отдавшееся упоению этих порывов, этих исступленных чувств, так ярко выразившихся в пламенных взорах, в пунцовом полыхании ее губ и щек, в глубочайших вздохах, когда, казалось, сама душа ее исходила наслаждением. Короче, она сама обратилась в пышущую движением машину и столь же мало владела своими действиями, как и само дитя естества, их

неуемные чресла содрогались в неистовой битве утех, пока порыв наслаждения не взметнулся до высоты невероятной и не обрушился жемчужным дождем, утихомирившим этот ураган. Невинный чувствительный идиот впервые исторг из себя эти слезы счастья последних мгновений, впервые агонией восторга и даже почти ревом исступления сопровождал он исходившие из него струи. Не менее чувствена была и радость Луизы, составившей партнеру компанию и в согласии с ним исходившей собственным половодьем, что свидетельствовали все те же старые симптомы: упоительное забытие, конвульсивное тремоло дрожи и исторгающий душу последний вздох: «*О-о-о!*» Теперь, когда битва закончилась и орудие нападения было убрано, девушка лежала, убаюканная наслаждением, вновь и вновь впитывая в себя его пленяющую сладость, истомленная и прерывисто дышащая, не было в существе ее иных ощущений жизни, кроме по-прежнему дрожащих и звучащих радостью струн восторга, по каким, столь туго натянутым природой, еще недавно наносились яростные удары и в каких уже звучали умиротворяющие чувства аккорды.

Что до слабоумного, чей удивительный механизм так достойно себя проявил, то произошедшие в его облике перемены носили характер трагикомический: лицо обрело выражение печальной вызревшей дурости, сверхъестественным образом дополнившей естественные для него бессмыслие и идиотизм, когда он стоя взирал на собственное мужское отличие, уже опавшее, размягченное, успокоенное, шлепавшее по ляжкам и едва до колен не достававшее, ужасное даже в падении своем. В унынии духа и плоти, естественно последовавшем, он обращал взор на поверженный свой

штандарт, а потом жалобно переводил его на Луизу, казалось, он требовал получить из ее рук то, что им ей было отдано и чего теперь столь опустошающе не хватало. Однако, сила естества вернулась быстро и преодолела взрыв бессознательности, который – по общему для всех закону наслаждения – обрушился на него: вот уже и корзиночка снова стала главной его заботой, я отыскала и вручила ее малому, пока Луиза приводила в порядок платье. Потом она порадовала идиота, забрав у него из рук все букетики цветов и заплатив за них столько, сколько тот просил; вероятно, какой-либо подарок обрадовал бы его меньше, скорее даже озадачил бы: за что, мол? – глядишь, и других заставил бы выяснять, за что да почему.

Повторяла ли Луиза такое увеселение – про то мне неизвестно, сказать правду, я верю, что – нет. Каприз она свой удовлетворила, любопытство свое в порыве наслаждения насытила вдоволь, последствий у приключения не было никаких, если не считать того, что бедный малый, у кого остались лишь смутные воспоминания о случившемся, завидев ее, некоторое время еще по-идиотски расплывался в улыбке, в которой сияли радость и узнавание. Впрочем, скоро он забыл о ней ради следующей женщины, которая решилась, прослышав про его достоинства, испытать их.

Сама Луиза после того приключения недолго оставалась у миссис Коул (ей мы, между прочим, поостереглись похвалиться своим подвигом, пока полностью не прошел страх перед всеми возможными последствиями): сама собою подвернулась оказия доказать молодому парню свою любовь, доказать расставанием с нами, – и она в полдня собралась и уехала вместе с милым за границу. С тех пор я потеряла

ее из виду совершенно, так никогда и не узнала, что случилось с нею.

Несколько дней спустя после того, как Луиза нас покинула, два очень симпатичных молодых дворянина, бывшие в особенном почете у миссис Коул и имевшие свободный доступ в ее академию, легко получили у нашей наставницы согласие на то, чтобы Эмили и я повеселились на пикнике утех в небольшой, но уютной усадьбе, расположившейся неподалеку от города на берегу Темзы.

Все было условлено и устроено, и прекрасным летним днем (правда, день выдался из жарких) после обеда мы собрались и часа в четыре пополудни отправились на свидание. На месте Эмили и меня встретили наши господа, предложили руку и препроводили в миленький и веселенький павильон, где мы пили чай в оживлении и непринужденности, к чему естественно располагали нас красота пейзажа, прелесть погожего дня, а также ласковая галантность бойких кавалеров.

После чая, когда мы направились в сад, мой суженый, бывший хозяином усадьбы, кто и помыслить себе не мог, чтобы наш пикник прошел чопорно и сухо, предложил (с откровенностью, какую позволяли ему короткие отношения с миссис Коул) ввиду жаркой погоды искупаться всем вместе. Специально для этой цели было приготовлено удобное укрытие у речной заводи, с которым павильон соединялся через боковую дверь, — там мы могли спрятаться от посторонних глаз и безо всяких помех предаться забавам в совершенном уединении.

Эмили, которая никогда ни от чего не отказывалась, и я, всегда любившая купание и не желавшая показаться равнодушной ни к человеку, предложившему его, ни к утехам, какие, как легко было догадаться, оно сулило, – обе мы позаботились о том, чтобы не уронить чести школы миссис Коул, а потому изъявили полное свое согласие со всем достоинством, на какое были способны. После чего, не теряя времени даром, все тотчас же вернулись в павильон, одна из дверей которого открывалась в шатром разбитый навес, служивший прекрасной защитой от солнца или плохой погоды, к тому же шатер хорошо укрывал и от чужого любопытства. Шатровая обивка, сверху донизу разрисованная, изображала дремучий лес, тем же материалом были обиты узкие пилястры, меж которыми расставлены были вазы с цветами, так что, куда ни повернись, повсюду картина радовала глаз.

Под шатром можно было зайти довольно далеко в реку, он же прикрывал и приличный кусок сухого берега, на котором стояли лежанки, удобные для того, чтобы положить на них одежду или... или... короче, кроме отдыха, их еще кое для чего можно было использовать. Стоял тут и стол, ломившийся от всяческих яств, закусок и бутылок с вином, наливками и ликерами – хорошими средствами, чтобы согреться после прохлады речной воды или силы подкрепить, чем бы упадок их или истома ни были вызваны. Словом, кавалер мой, знавший толк в *ch #232;re enti #232;re* и обладавший вкусом (даже если этот его образчик Вам и не понравился), который вполне помог бы ему стать устроителем утех при каком-нибудь римском императоре, не упустил ничего из того, что служило удобству и роскоши.

Когда мы осмотрелись в чудесном этом местечке и все предварительные приготовления к уединению были закончены, словно команда прозвучала: «Одежду долой!» – и послушные ей оба молодых дворянина принялись раздевать каждый свою партнершу, являя в исповедальной наготе все наши тайные прелести, какие обычно скрываются под платьем, разоблачение их нам отнюдь не повредило и наших достоинств никоим образом не умалило. Правда, руки поначалу сами собою ринулись прикрывать самые интересные части наших тел – от упругих грудей и ниже, но потом, по желанию молодых людей, мы их убрали и занялись тем, что можно было счесть ответом любезностью на любезность: помогли мужчинам избавиться от одежды. Стоит ли говорить, что все это сопровождалось всяческими увеселениями, забавами и играми, вы можете представить себе какими.

Суженый мой, вскоре оставшийся в одной сорочке, смеясь, показал мне на ее перед, что раздувался, будто живот беременной обтягивал, или ходуном ходил от движений чего-то под сорочкой упрятого, вскоре, впрочем, сорочка была сброшена и, обнаженный словно Купидон, кавалер показал мне, что под нею скрывалось, – оружие уже взметнулось в боевой стойке столь решительно, что я готова была поверить, будто оно тут же в сражение и кинется. Однако, хоть вид и прекрасные размеры орудия пламя во мне разожгли, прохлада воздуха (я ведь стояла в чем мать родила) и желание прежде искупаться помогли мне пригасить пыл и успокоить молодца, кому я заметила: небольшая отсрочка не повредит, а, напротив, обострит наслаждение. Подавая пример нашим друзьям, в ком заметны были все признаки нетерпения и торопливости,

мы рука об руку вошли в реку и зашли на глубину, пока вода не укрыла нас по горло. Ничто не освежает так восхитительно от летнего зноя, как благодатная речная прохлада, вода успокоила мои чувства, придала бодрости, радости и, соответственно, еще больше оживила меня, готовую и открытую для чувственных испытаний.

Я плескалась, баловалась в воде или резвилась в речке вместе с моим кавалером, предоставив Эмили тешиться со своим. Мой, не удовлетворяясь тем, что загонял меня под воду с головой, не переставал обдавать меня водопадом брызг, был неистощим на всяческие штуки и фокусы, и меня весельем своим втягивал в эти водные забавы, где я, замечу, у него в долгу не осталась. Словом, предались мы ребячьей радости, только и в шалостях не преминул он руками пройтись по всему моему телу – шее, груди, животу, бедрам и всему прочему, столь сладостному для воображения, – под тем предлогом, что мне необходимо помыться-пополоскаться. Мы стояли в воде по пояс, но это не мешало ему игриво ощупывать пробойну, отличавшую наш пол, которая оказалась на удивление непроницаемой для воды: пальцы его напрасно пытались раскрыть, раздвинуть ее, чтобы впустить внутрь не столько воду, сколько огонь, если говорить безо всяких околичностей. В то же время кавалер дал мне почувствовать, как хорошо заведен и налажен его собственный механизм: тот и в воде пребывал в боевом состоянии и даже вознамерился проникнуть в места мои сокровенные – однако, хотя я и почувствовала приятное растяжение водою сокрытых губ, но все же отстранилась, не столько потому, что полагала утехи такого рода ужасными, сколько – и это главное – я не могла не остановить его для того, чтобы

он полюбовался на жаркую схватку между Эмили и ее кавалером, который, устав от дурачеств в купальне, вывел свою нимфу к одной из лежанок на зеленом берегу, где с пылкой сердечностью продолжал учить ее различать шуточки от забав настоящих.

Он усадил девушку себе на колени и одной рукой заскользил по поверхности ее гладкой, тонкой, белоснежной кожи, сверкавшей после купания двойным блеском и наощупь воспринимавшейся, скорее всего, как нечто похожее на одухотворенную жизнь слоновую кость, особенно в тех увенчанных рубиновыми сосцами полушариях, прикосновение к которым вызывало искрящийся ток радости. Радость явно овладела молодым человеком, ибо он решил пустить в ход свой мужской механизм тут же, протискивая его меж ног сидевшей у него на коленях девушки. Эмили же, не ведавшая никаких изысков и ухищрений, кроме тех, что подсказывались самой природой, стремилась избежать всяческих искусственностей – и делала это не менее пылко, чем тогда, когда отбивалась от нападков маскарадного забавника, хотя, понятно, и по совсем другим причинам.

Между тем влажные от купания тела их были словно сиянием охвачены, оба в равной степени белые и гладкокожие, они так переплелись в любовных объятиях, что с трудом можно было бы различить, где кто и что где чье, если бы не размеры и не рельефная крепость мускулов у сильного пола.

Очень быстро движитель утех попал в желанное лоно и тем связаны оказались все концы любовного узла; пришел момент – и прощайте все мелочные изыски и утонченности, пришел момент – и прощай всякое, пусть

дружеское, но притворство! У Эмили не стало не сил, ни нужды прибегать к какому бы то ни было мастерству или искусству, да и какое искусство не отошло бы в сторонку, когда самое естество, смеясь с соперником, проникло в средоточие ее чувственности, охваченное бурей и отдавшееся на милость гордого завоевателя, с триумфом и неудержимо вторгшегося в сокровенные владения? Вскоре, однако, и он принужден был платить дань: сражение разгоралось все жарче и жарче, перешло в рукопашную, и вот уже она вынудила его выплатить естеству драгоценный долг; только победу торжествовать она не смогла, как дуэлянт, повергший противника к своим ногам, но сам при этом получивший смертельную рану: Эмили едва успела с ликованием победительницы обрести его дань, как снова тут же изошла тою же истомой, те же вздохи издала, похожие на испускание духа, так же смежила веки и вытянулась всеми напряженными членами, – короче, выказывала все признаки, что все должное произошло.

Я, со своей стороны, стоя в воде, наблюдала за горячим этим делом отнюдь не в безмятежном спокойствии. Нежно прильнув к своему кавалеру, я взглядом вопрошала, что он об этом думает, он же, более склонный дать удовлетворительный ответ не словами и взглядами, а действиями, пока мы, разбрызгивая воду, выбирались не берег, держал меня под прицелом орудия любви, столь рьяно рвущегося в бой, что не терпело ни минуты промедления и требовало немедленной разрядки. Ну, как можно было в том отказать, если юноша едва не лопался от натуги, если средство исцеления было у него буквально под рукой, а разрядка требовалась нам обоим?

Так что мы оказались на лежанке, а Эмили и ее кавалер, словно божества, порожденные морем, встали у стола и подняли бокалы с вином за наше счастливое путешествие, и – вовремя: ветер утех надул все наши паруса, и мы помчались по волнам наслаждений так стремительно, что очень скоро завершили наш вояж на Цитеру^[4] и разгрузились в старинной гавани священного для любовников острова. Обстоятельства, событие это сопровождавшие, новизной не блещут, потому от описания их я воздержусь.

Только позвольте, Мадам, здесь же принести Вам извинение, какое, сознаюсь, я давно должна бы вам принести, за слишком выпретенный и фигуральный слог, хотя, разумеется, он нигде так не уместен, как в предмете, столь явно обитающем в куцах поэзии, даже не так! олицетворяющем самое поэзию, что несет в себе все цветы воображения и метафоры любви, так что, если и – из уважения к моде и звучанию – приобретает неестественность выражений, то исключительно оттого, что необходимость к тому понуждает.

Возвращаюсь к своему повествованию. Возможно, Вам приятно будет узнать, что, повторив сражение достаточное число раз (и, между прочим, какое-то природой подсказанное чувство говорило нам, что повторы эти пришлись по вкусу всем) и пройдя весь нежный круг разнообразных утех, мы не упустили ни мгновения радости за все время, какое провели в усадьбе, а поздно вечером наши рыцари проводили нас домой, доставив к миссис Коул в целости и сохранности,

⁴ Остров, где древние греки воздвигли святилище Афродиты, богини любви и красоты. – Примеч. пер.

и, прощаясь, рассыпались в изъявлениях благодарности за компанию.

Это, увы, стало последней кампанией утех в нашем духе для Эмили: недели не прошло, как она – при обстоятельствах слишком тривиальных, чтобы утомлять Вас деталями, – была разыскана своими родителями, дела которых по-прежнему шли хорошо, но были они наказаны за свою пристрастную приверженность к сыну – они потеряли его из-за собственного, меры не знавшего, угождения ненасытному его аппетиту. Утратив одно чадо, они направили столь долго подавляемый поток забот на другое, на утраченное и бесчеловечно забытое дитя, которое они, не пожалей вовремя сил на поиски и расспросы, без труда отыскать могли бы давным-давно. Теперь же бурное счастье переполняло их, вновь обретших родную свою кровинушку, а потому, я думаю, не очень-то они старались выяснить всю подноготную дочери, а, казалось, сразу же удовлетворились тем, что единым духом, не разжевывая, заглотнули все, что сочла нужным поведать им серьезная и добропорядочная миссис Коул; старики даже вскоре прислали ей из деревни премиленькие свидетельства своей признательности.

Нелегко было восполнить в нашем сообществе потерю такого милого его члена, ибо, не говоря уж о красоте Эмили, была она из тех мягких, податливых существ, кого невозможно не любить, даже, не даря их уважением, что, к слову, не такая уж и плохая компенсация: никакому уважению не дано быть любви под стать. Все слабости ее натуры порождались добродушием и непреодолимой способностью оказаться во власти первого впечатления, у нее доставало ума понимать, как нуждается она в попечителе и поводыре, а

потому считала она себя очень и очень обязанной любому, взявшему за труд думать и решать за нее. Так что немного требовалось, чтобы сделать из Эмили послушную, во всех отношениях приятную, нет, самую драгоценную жену, поскольку зло и порок никогда не стали бы выбором или стезею ее жизни, если бы не случай, если бы не пример, если бы не зависела она от обстоятельств куда больше, чем от себя самой. Такое предопределение судьбы впоследствии подтвердилось: Эмили встретила себе ровню, парня из своей же среды, соседского сына, готового ради нее на что угодно и к тому же человека с умом и понятием, принявшего ее как вдову погибшего в море (так и случилось с одним из ее ухажеров, чье имя она себе взяла): она как в родную стихию втянулась во все заботы и хлопоты ведения домашнего хозяйства и отдавалась им с такой восторженной безыскусностью, с таким постоянством и прилежанием, словно с самой юности своей и не уклонялась с пути ничем не потревоженной невинности.

Понесенные потери почти на нет свели семейство миссис Коул: одна я и оставалась ей в утешение, и она хлопотала надо мною, как курица над единственным цыпленком. Только, как не упрашивали ее, как не понуждали набрать новое воинство, но надвигающаяся старость, а пуще того – мучения, причиняемые подагрой, от которой она не находила исцеления, вынудили ее отойти от дел и удалиться на скромное житье в деревню, куда я дала себе слово – твердо и неукоснительно – переехать жить вместе с нею, как только узнаю побольше о жизни и разовью то малое, чему научилась, знания и умения, которые дали бы мне в этом мире независимость, ибо отныне – спасибо миссис Коул! – я

была достаточно разумна, чтобы предвидеть такую необходимость.

Так вот и случилось, что я потеряла свою благодетельницу, а Любомудры столицы – Белую Ворону ее ремесла. Ведь, помимо того, что она никогда не обирала своих клиентов, чьи вкусы с таким знанием удовлетворяла, помимо того, что никогда не истязала она своих учениц немыслимыми излишествами, никогда не покушалась на тяжкий их заработок (а именно так она его и называла: заработок) под видом платы за науку и содержание, она к тому же была ярым врагом совращения невинности и мастерство свое употребляла только на тех несчастных молодых женщин, какие, утратя целомудрие, делались подлинными подданными Страсти, – и среди таких она отбирала тех, кто приходился ей по душе, их брала под свою опеку, спасая от бед публичных отстойников грязи и мерзости, устраивая их, заботясь о них, а как: к добру ли, ко злу ли – Вы это сами видели. Уладив свои дела, она уехала, самым нежным образом простившись со мной и оставив мне под конец несколько превосходных наставлений, раскрыв, по сути, мне глаза на меня самое с заботливостью совершенно материнской. Короче, она так меня растрогала, что по сию пору я испытываю неловкость от того, что заставила ее страдать хотя бы тем, что уезжала миссис Коул без меня. Только, очевидно, судьбе было угодно распорядиться мною по-иному.

Проводив миссис Коул, я сняла приятный и удобный домик в *Мэрибон*, за которым – так он был мал – легко было ухаживать и который я обставила опрятно и скромно. Там, имея восемьсот фунтов сбережений (результат моих расчетов за советы и консультации

миссис Коул), не считая одежды, кое-каких драгоценностей и немного из посуды, я почувствовала себя обеспеченной надолго, могла безо всякого нетерпения поджидать, когда случай или цепочка случайностей помогут обрести мне радость или пользу. Там, оказавшись в новой для себя роли молодой благородной женщины, чей муж отправился за моря, я определила для себя такие линии жизни и поведения, какие предоставляли мне осмысленную свободу действовать по своему усмотрению либо ради удовольствия, либо ради доходов, что все же обязывало меня строже держаться рамок здравомыслия, достоинства и осмотрительности: в сем предначертании Вы не можете не различить верную ученицу и последовательницу миссис Коул.

Немного времени прошло, я едва-едва успела как следует обжиться в новом своем жилище. И вот в одно прекрасное утро, довольно рано, я вышла насладиться утренней свежестью, прогуливаясь близ окрестных полей, взяв с собой только служанку, которую я недавно наняла. Мы блуждали себе беззаботно среди деревьев, как вдруг были встревожены громкими звуками жесточайшего кашля: обративши головы в ту сторону, откуда доносились эти звуки, мы увидели ничем не примечательного хорошо одетого пожилого джентльмена: охваченный внезапным приступом, он был настолько им угнетен, что принужден был, дабы справиться с недугом, опуститься на землю под деревом, так как кашель обратился в настоящее удушье, настолько сильное, что у джентльмена даже лицо сделалось совершенно черным. Озабоченная да и испуганная этим, я в мгновение ока подлетела к нему на помощь и, припомнив все, что я в подобных случаях видела,

развязала на нем галстук и заколотила его по спине. Не знаю, от моих ли потуг или просто потому, что кашель исчерпал себя, только приступ тут же прекратился, а джентльмен, вновь обретший способность стоять на ногах и дар речи, рассыпался передо мною в таких изъявлениях благодарности, словно я ему жизнь спасла. Естественно начавшийся разговор продолжался, джентльмен показал мне, где он жил, надо сказать, весьма далеко от того места, где я его повстречала, когда он, подобно мне, пленившись прелестью утра, совершил прогулку.

Позже, когда между нами уже наладились близкие отношения, начало которым положил тот случай на прогулке, я узнала, что он был старым холостяком, кому за шестьдесят перевалило, сохранившим, впрочем, такую свежесть и бодрость, что на вид ему и сорок пять дать было трудно: всю жизнь, замечу, он не изнурял и не истязал плоть, позволял хотениям своим брать верх над собственным разумом. В нескольких словах обрисую его происхождение и состояние. Родители его были люди, возможно, добрые, но неудачливые, единственное, что он знал о них достоверно, – они подкинули его на крыльцо приходского приюта: ему же пришлось честностью своей и изобретательным умом проложить в жизнь путь от благотворительной школы до купеческой конторы, откуда его послали в торговый дом в Кадисе, там талантом и неустанным трудом составил он себе состояние – и преогромное, – с каковым и вернулся на родную землю, где, несмотря на все старания, так и не смог выудить из мрака неизвестности, в какой родился сам, ни единого из своих родных. Почувствовав тягу к отдыху от трудов праведных и радующийся жизни, словно любовница темноте, он проводил дни в роскоши и

удовольствию, ни в малейшей степени не выставляя ни того, ни другого напоказ: приученный скорее скрывать, чем выказывать богатство, со спокойствием взирал он на мир, великолепно им познанный, сам оставаясь для мира – по собственному своему разумению – неизвестным и незаметным.

Впрочем, я намерена целое письмо к Вам посвятить удовольствию воссоздания в памяти всех деталей знакомства с этим незабвенным – для меня – другом, а потому здесь коснусь лишь того, что – подобно извести для цемента – послужит связующим звеном в моей истории и позволит Вам избежать недоумения: отчего это, мол, существо с такой горячей кровью и таким вкусом к жизни, как у меня, способно считать для себя удачей знакомство с кавалером втрое ее старше.

Снова возвращусь к основному повествованию и объясню, каким образом наше знакомство, естественно, поначалу невинное, неприметно поменяло свой характер и перешло в отношения неплатонические, как того и следовало ожидать, учитывая мой образ жизни и, самое главное, исходя из общего закона электричества, в соответствии с которым крайне редко столкновение двух противоположных полов не высекает искры, разгорающейся в пламень. Я только замечу Вам, что возраст не уменьшил его нежной тяги к нашему полу и не лишил его сил услаждать, поскольку, если он в чем-то и уступал восторженным безумствованиям юности, то возмещал или дополнял это такими преимуществами, как опыт и прелесть обхождения, а превыше всего – располагающими стремлениями затронуть душу близкую пониманием того, что в этой душе творится. Это от него я впервые узнала (неважно, с какой целью, зато не без бесконечного удовлетворения), что во мне есть кое-что

заслуживающее внимания и уважения: от него впервые получила поддержку и помощь в том, что дало начало процессу воспитания и возделывания этих качеств, который я с тех пор довела (и очень немного – уже без него) до состояния, в каком меня застали Вы. Это он был первым, кто выучил меня осознавать, что утехи ума превосходят утехи тела, но они отнюдь не оскорбительны и не противоположны друг для друга, понимать, что – наряду с прелестью разнообразия и переменчивости – одни служат для оттачивания и совершенствования вкуса у других до такой степени, до какой одним чувствам никогда бы не добраться.

Будучи сам рациональным любителем наслаждений, ибо мудрость не позволяла ему чураться человеческих радостей, он меня и в самом деле любил, но любил с достоинством, равно лишенным как кислятины и развязности, какими весьма неприятно характеризуется возраст, так и той ребячливой глупости, старческого слабоумия, какие его позорят: он сам бывало высмеивал эдакого старичка-бодрячка, сравнивая со старым козлом, пустившимся скакать молодым козленком.

Короче, все, что обычно есть непривлекательного в его пору жизни, в нем самом восполнялось столькими преимуществами, что он являл собою – во всяком случае, для меня – живое свидетельство того, насколько возраст вовсе не бессилён услаждать, если целью своей положит усладить и если (справедливости ради, следует принять во внимание) те, кто категории этой соответствуют, не станут забывать, что наслаждение должно стоить им больших усилий и больших забот, чем их требуется от юности, естественной весенней поры счастья и радости:

так фрукты, появляющиеся не в свой сезон, требуют для выращивания куда большего мастерства и ухода.

С этим джентльменом, который вскоре после нашего знакомства взял меня к себе домой, прожила я около восьми месяцев. За это время постоянная моя обходительность, послушание, мое желание стать достойной его доверия и любви, поведение, в общем, лишённое какого бы то ни было притворства и основанное на искреннем моем расположении и уважении к нему, так пришлось ему по сердцу и так привязали его ко мне, что, уже и без того щедро одарив меня всем, что позволяло мне жить благородно и независимо, и продолжая осыпать меня знаками своих милостей, он сделал меня – по подлинному, засвидетельствованному завещанию – единственной своей наследницей и распорядительницей всего своего имущества. Свершение этого акта, выразившего его волю, он пережил, увы, всего на два месяца: жестокая простуда отторгла его у меня после того, как, услышав ночью пожарную тревогу, он неосмотрительно подбежал к раскрытому окну и простоял возле него с грудью, открытой для смертоносного воздействия ночной сырости и холода.

Я отдала последний долг моему ушедшему благодетелю, почтила его непритворной печалью, которую время обратило в самую нежную, самую благородную память о нем – ее я сохраню вовеки. Не скрою, некоторое утешение я нашла в перспективе, что открылась передо мною: если не счастья, то, по крайней мере, богатства и независимости.

Я вошла в пору расцвета и торжества юности (мне ведь и девятнадцати лет еще не исполнилось), владела

таким большим состоянием, о каком и думать не смела даже в самых безудержных своих мечтаниях, куда больше того, на что я могла бы надеяться. И тем, что нежданное это возвышение не вскружило мне голову, я обязана усилиям, какие мой благодетель взял на себя труд предпринять, дабы меня к тому подготовить, он приучил меня к мысли о том, что мне управлять придется обширными владениями, какие он мне оставит, он терпеливо разъяснял и дополнял принципы благоразумной экономии, которым я обучалась у миссис Коул, моя опора на них внушала ему уверенность.

Только – увы! как горько и легко возможность – при нынешних-то средствах – наслаждаться величайшими благами жизни отравлялась сожалением об ушедшем, о покинувшем! Сожаление это было великим и праведным, поскольку его предметом был единственный, кого я по-настоящему любила, мой Чарльз!

Ждать я уже отчаялась, не имея с самого нашего расставания никакой о нем весточки (что, как позже выяснилось, было моим несчастьем, но не его невниманием, ибо он написал мне несколько писем, только все они пропали), но забывать его я никогда не забывала. При той жизни, какую я вела, глупо тратить слова на бормотание об измене ему телом, только ни единое из моих увлечений ни на вот столечко, ни на самый кончик булавочной иголки не затронуло моего сердца, вся любовная страсть которого была отдана ему.

Сделавшись хозяйкой неожиданного состояния, я как никогда остро почувствовала, до чего он был мне дорог: никакому богатству оказалось не под силу сделать меня счастливой, когда его не было рядом со мною. Так что первое, что я сделала, это попыталась навести хоть

какие-то справки о нем. Узнать удалось лишь то, что некоторое время назад умер его отец, так и не примирившийся с миром, что Чарльз добрался до порта назначения в *Южных Морях*, где нашел имение, за которым его послали присмотреть, разоренным гибелью двух судов, составлявших как раз большую часть дядюшкиного наследства, что собрал он то малое, что еще оставалось, и, вероятно, последовал добрым советам воротиться в Англию, что, если все обойдется благополучно, он сможет через несколько месяцев вернуться на родину, от которой был оторван уже (ко времени моих разысканий) два года и семь месяцев. Маленькая вечность в любви!

Вы и представить себе не можете, с какой радостью предалась я надеждам, таким образом обретенным, вновь лицезреть светоч души моей. Однако поскольку ждать предстояло месяцы, то, рассчитывая отвлечься от горячки нетерпеливого ожидания, когда же он вернется, я уладила свои дела так, чтобы они шли сами по себе легко и безопасно, и отправилась путешествовать в *Ланкашир* (взяв экипаж, соответствующий моему состоянию), намереваясь вновь побывать в местах, бывших для меня родными, к каким я не могла не сохранить огромную нежность. Естественно, не видела я греха и в том, чтобы показаться там во всем своем великолепии, какое ныне могла себе позволить, но было бы особенно эффектно и неожиданно после того, как *Эстер Дэвис* распустила слух, будто меня отправили на плантации: ничем иным ей и в голову не пришло объяснить, почему это я ни разу не обратилась к ней с того самого дня, как она столь поспешно бросила меня на постоялом дворе. Было у меня и еще одно заветное желание: отыскать кого-нибудь из родственников (хотя

никого, кроме самой дальней родни, у меня не было) и сделаться для них благодетельницей. Ко всему этому путь мой пролегал через местность, куда удалилась на покой миссис Коул: встреча с ней – не самое слабое из предвкушаемых удовольствий, на какие я рассчитывала во время своего путешествия.

С собой я не взяла никого, кроме скромной благовоспитанной женщины, ставшей мне вроде компаньонки, да слуг своих. Едва успели мы добраться до постоянного двора милях в двадцати от Лондона, где я намеревалась поужинать и переждать ночь, как разразилась жуткая буря, ветер и дождь хлестал с ужасающей силой, и я поздравила себя с тем, что успела оказаться под крышей до того, как началось ненастье.

Буря бушевала уже добрых полчаса, когда мне пришло в голову сделать несколько распоряжений кучеру. Я было послала за ним, но потом решила, что ему незачем топтаться грязными башмаками по чистейшему полу гостиной, и сама спустилась в холл-кухню, где кучер устроился на ночлег. Оттуда, разговаривая с ним, я краем глаза заметила двух всадников, которых под кров загнала непогода, ибо оба они вымокли до нитки, один из них как раз спрашивал, не найдется ли во что переодеться, пока их собственная одежда просохнет. Только... силы небесные! Способен ли кто выразить, что я почувствовала при звуках этого голоса, всегда волновавших мое сердце и теперь вдруг снова в нем отозвавшихся! Я обратила глаза на того, кому этот голос принадлежал, и они подтвердили то, о чем уши уже успели поведать, – обмануть их не могли ни долгая разлука, ни платье, какое будто нарочно для маскировки годилось: огромный кучерский плащ со стоячим воротником и кучерская же широкополая шляпа... но что

может укрыться от всепроникающей силы чувства, несомненно, направляемого самой любовью? Нет слов описать подхвативший меня порыв – это было превыше всяческих рассуждений и даже удивлений – в мгновение ока, с быстротой подгонявших меня чувств бросилась я ему на грудь, обвила его шею руками и из самой души исторгла восклицания вперемешку с плачем: «Жизнь моя!.. душа моя!.. мой *Чарльз!*!..» – не в силах больше вымолвить ни словечка, я упала в обморок, не перенеся возбуждения радости и удивления.

Придя в себя, я обнаружила, что нахожусь в объятиях милого, но уже в гостиной, где нас окружила целая толпа людей, привлеченных случившимся, которая, повинувшись сигналу осмотрительной хозяйки постоянного двора, сразу решившей, что Чарльз мой муж, без промедления очистила комнату и оставила нас одних предаваться восторгам воссоединения, счастье которого было доказано едва не ценой моей жизни куда сильнее, чем горечь нашего фатального расставания.

Первым, кого увидели мои глаза, когда открылись, был высший их кумир и самый желанный мой – Чарльз, преклонивший колени, крепко сжавший мою руку и взиравший на меня с выражением несказанной нежности. Заметив, что я очнулась, он попытался заговорить, затем собрал все свое терпение, дабы услышать мой голос и еще раз убедиться в том, что это – я, все же сила и внезапность удивления по-прежнему ошеломляли его, мешали говорить, он сумел вымолвить, запинаясь, лишь несколько не очень разборчивых, бессвязных, путаных фраз, которые уши мои жадно впитывали, распутывали, соединяли так, чтобы становился ясен их смысл: «Столько времени прошло!.. такая жестокость!.. разлука!.. милая, дорогая моя *Фанни!*!.. может ли быть

такое? ты ли это?..» И тут же он душил меня поцелуями, так что из уст моих, запечатанных его губами, не мог выйти ответ, какого он так ждал, чем вносился еще больший и восхитительный сумбур, в каком с очаровательным упоением чувств лишь одно терзало и сверлило сомнением с жестокостью занозы, отравлявшей это безбрежное счастье: то было не что иное, как мой страх – а не слишком ли все это великолепно, чтобы быть действенным? Меня в дрожь бросало – теперь уже из опасения, как бы не оказалось все не более чем сном, как бы, пробудившись, я и в самом деле не обнаружила, что сном был сон. Испуганная этим, воображая, будто близок уже конец неумемной радости моей, будто скоро она растает, как видение, как мираж, оставив меня, охваченную жаждой, снова в пустыне, не зная, как еще удостовериться в реальности происходящего, я прижималась к Чарльзу, вцеплялась в него, словно из последних сил старалась удержать, не дать ему снова исчезнуть от меня: «Где ты пропадал?.. как ты мог... мог покинуть меня?.. Скажи, что ты по-прежнему мой... что по-прежнему любишь меня... и вот так! вот так! (тут я впиалась в него поцелуями, как будто хотела срастить наши губы!). Я прощаю тебя... прощаю тебе тот тяжкий жребий, что выпал мне, ради того, что мы снова вместе».

Все эти словеса вырывались из меня в дикой запальчивости выражений, заменяющей красноречие в любви, и звали его отвечать тем, чего так желало очарованное им сердце мое. Наши ласки, наши вопросы, наши ответы какое-то время были беспорядочны – все мешалось, мы перебивали, мило при том смущаясь, друг друга, пока во взорах своих не обменивались сердцами, пока не подтвердили всесилия любви, не подвластной ни времени, ни разлуке: ни вздоха, ни словечка, ни единого

жеста с обеих сторон, но как было не понять то, что выражало себя с такой силой! Наши руки, переплетенные и стиснутые вместе, не раз сжимались в пожатиях самых страстных, так что жар их проникал прямо до сердца.

Поглощенная и охваченная необычайным восторгом, я забыла обо всем на свете, даже о том, что виновник моего восторга промок насквозь и рискует простудиться. К счастью, вовремя появилась хозяйка, в которой вид моего экипажа (о нем, между прочим, Чарльз понятия не имел) пробудил интерес к моей персоне, и прервала наши излияния, принесла приличную смену белья и платья. Появление третьего лица внесло хоть какую-то упорядоченность и успокоение, теперь я убеждала его поскорее воспользоваться услугой хозяйки с ласковой заботливостью и беспокойством о его здоровье, одна мысль о возможном вреде которому заставляла меня трепетать.

Хозяйка снова оставила нас. Чарльз стал переодеваться, проделывал он это с такой застенчивостью, с таким целомудрием, какие прекрасно подходили этим первым торжественным мгновениям нашей встречи после ужасно долгой разлуки. Я же не могла сдержаться и краешком глаза, незаметно любовалась на миг появившейся обнаженной кожей, неувядающая свежесть и красота которой наполняли меня ощущением нежности и счастья таким глубоким, что не имело смысла растрачивать его в угоду прихоти несвоевременного желания.

Скоро он облачился в одежду, которая ему и не шла, и в которой он вовсе не выглядел таким, каким рисовала мне его моя страсть, только тряпки эти, оказавшись на нем, приобрели вид даже благородный

под магией волшебных чар, какими любовь преображает все, к чему ни прикоснется. Прекрасным становилось все, что имело отношение к нему: ну, где бы отыскалась такая одежда, которой эта фигура не даровала бы благородства?.. Теперь, когда я разглядывала его, не скрываясь, я не могла не заметить некоторых изменений (явно пошедших ему на пользу), которые за время разлуки появились в его облике.

Черты лица его оставались все такими же правильными, все таким же рубином отливал ярко-красный цвет губ, все такой же свежей и цветущей была кожа, только теперь бывшие бутонами розы полностью распустились, ветры и солнечные лучи странствий сделали лицо более взрослым (прибавьте сюда еще и пробившуюся бородку), более мужественным, но, разумеется, ничуть не утратившим ни привлекательности, ни прелести. Плечи у Чарльза стали шире, фигура приобрела завершенность линий и налилась силой, по-прежнему оставаясь легкой и гибкой. Короче, передо мной был человек более зрелый, более крепкий, более совершенный для глаза искушенного, чем тот нежный юноша, с каким нас разлучила судьба; было же Чарльзу теперь чуть побольше двадцати двух лет.

Насколько я поняла из его сумбурного, часто прерывающегося рассказа, в данный момент он путь держал в Лондон, пребывая далеко не в радужном настроении и состоянии, ибо потерпел крушение у берегов *Ирландии* и потерял в нем даже то небольшое, что удалось захватить с собой из Южных Морей. Лишь после множества великих хлопот, преодолев немало трудностей, смог он отправиться в дорогу в компании с капитаном потерпевшего крушение судна. Таким образом, теперь (он уже знал о смерти отца и

обстоятельствах с этим связанных) весь мир был к его услугам, чтобы все начать сначала, все – по новому счету. Положение это, уверил он меня в порыве грустной искренности, какая, переполнив его сердце, проникла и в мое, особой болью ранит его душу оттого, что не в силах он ныне сделать меня такою счастливой, какой ему хотелось бы. Про свое нынешнее положение, как Вы изволили заметить, я пока ничего не говорила, положив порадовать самое себя сюрпризом, какой преподнесу в более спокойной обстановке. Что же касается одеяния моего, то оно никак не могло навести его на разгадку истины не только потому, что я была в утреннем туалете, но и вообще потому, что давно избрала для себя стиль, основанный на безыскусности и простоте, ему я и следовала с хорошо усвоенным искусством. Он мягко, хотя и настойчиво, пытался вызвать меня на разговор – и тем удовлетворить свое любопытство – и о моем прошлом, и о том, каково мое настоящее, что случилось в моей жизни за время, на которое он был разлучен со мной, однако я убедила его отложить вопросы до более подходящего времени, когда я поведаю ему о том, что произошло со мною за столь долгий срок; в чем-то я его убедила, во всяком случае, он избавился от нетерпения узнать все сразу, уверившись, очевидно, что я не перестала быть до конца откровенной с ним и что, когда придет время, сама расскажу ему обо всем.

Чарльз, вернувшийся в мои объятия, нежный, верный, в добром здравии Чарльз – уже это стало бы блаженством чересчур огромным, чтобы я могла его вместить. А тут – Чарльз в беде!.. Чарльз, низведенный, отброшенный вниз, туда, где опорой могла стать лишь природная личная доблесть и достоинство, – это уже становилось обстоятельством (с точки зрения чувств,

которые я к нему испытывала), выходящим за пределы любых моих желаний! Наверное, поэтому я была так заметно обрадована, так не ко времени и не в меру очастливлена его рассказом об отчаянном своем положении, что он мог оправдать меня только радостью встречи с ним, в какой потонули все другие мои чувства и заботы.

Между тем моя компаньонка сделала все необходимое, чтобы позаботиться о спутнике Чарльза, и, поскольку ужин был подан, капитана представили мне – я приняла его с уважением, каким всегда отличала знакомых и друзей своего любимого Чарльза.

Вчетвером мы весело поужинали, поздравляя друг друга, возможно, несколько шумновато, зато так приятно и душевно, как Вы только можете себе вообразить. Я была так возбуждена пиршеством собственных чувств, что не могла отыскать у себя в желудке ни единого свободного местечка во время щедрого застолья, но все же пыл юности взял верх и я немного поела, в основном, чтобы подать пример Чарльзу, кому, я считала, не мешало подкрепиться как следует после скачки под дождем; он и вправду ел, как заправский путешественник, хотя все время глаз с меня не сводил и обращался ко мне, как к возлюбленной.

Когда со стола было убрано и настало время почивать, Чарльз и я без дальнейших церемоний, как муж и жена, вместе последовали в очень уютную комнату и – всему свое время – в постель, которая, как утверждали, была лучшей на всем постоялом дворе.

И здесь, Благопристойность, прости меня! За то, что я еще раз нарушаю законы твои и оставляю занавес поднятым, за то, что жертвую тобою в последний раз во

имя доверия к ничем не стесненной правде, с какою я взялась рассказывать Вам о самых поразительных вещах и безумствах моей молодости.

Мы – в комнате наедине, мы – вместе, вот – постель, вызывающая в памяти картины первых наших радостей и приглашающая меня сейчас снова разделить их с милым обладателем девственного моего сердца, – от мыслей этих, промелькнувших в сознании, закружилась голова, в глазах потемнело, хорошо, что я прильнула к Чарльзу, не то ошеломляюще сладостная тревога опять довела бы меня до обморока. Чарльз, увидя мое смятение, забыл о своем собственном (а тут он мне если и уступал, то совсем немного) и все силы приложил, чтобы привести меня в чувство.

И уже истинная незамутненная страсть охватила меня всю целиком, с радостью обнаружила я в себе ее приметы: сладостную чувственность, робкую скованность, жаждущие любви позывы, смиряемые нежностью и застенчивостью, – все это отдавало естество мое во власть души, и как несравнимо дороже и сладостнее была эта власть, чем свобода опустошенного сердца, которой я упивалась долго, слишком долго! Ныне, начиная постигать ценности куда значительно, я, владелица пустой свободы, могла лишь сожалеюще вздыхать. Ни одна подлинная девственница не способна столько раз залиться краской стыда при виде брачной постели в непорочной своей невинности, сколько раз вспыхивала я от чувства вины и ощущения срама; я и вправду любила Чарльза слишком искренне, чтобы не терзаться болью из-за того, как я его недостойна.

Пока меня, поглощенную этими рассуждениями, то в дрожь, то в трепет бросало, Чарльз, охваченный

радостным нетерпением, не пожалел труда и раздел меня: среди всех треволнений и полного разора чувств, помнится, я с удовольствием внимала радостным восклицаниям, какими он выражал свое восхищение тем, что ему открывалось, особенно, когда, освобожденные от всяких стеснений груди мои поднялись в волнующей упругости, налитые, навстречу его сладостным прикосновениям – их трепетность выражала радость новой встречи со старыми знакомыми, уже развившимися и не утратившими былой твердости.

Скоро я забралась в постель и едва выдержала там те мгновения одиночества, которые милый мой партнер должен был потратить на раздевание, прежде чем оказаться рядом со мной под покрывалом. И вот уже руки его обвили меня своими объятиями, в возбуждении неопишемом обменялись мы поцелуями, приветствуя друг друга; мне чудилось, что душа моя поднялась прямо к губам и запечатлела на себе оттиск его уст; я погружалась в блаженство того нежного и чувственного настроения, секрет которого знал и умел возбуждать во мне один только Чарльз; именно в таком настрое видится смысл самой жизни и существо наслаждения.

Две свечи, горевшие на столике подле кровати, и веселое пламя, пляшущее над дровами в камине, освещали нашу постель, и не было у одного из пяти чувств – весьма существенного для наших утех – повода пенять нам на невнимание к себе и лишение его своей доли упоения: только видеть божественного моего юного любовника, только любоваться его видом в пламени страсти, согревавшей меня, – уже было счастьем, уже было восторгом, за которые и жизнь отдать не жалко.

Желания, если они, как наши, возбуждены до крайности, действия делают насущной потребностью. Чарльз, не затягивая предваряющих ласк, сбросил с нас все покровы и прижал обширное сокровище своей груди к моей – обе они затрепетали в нежнейшей из тревог: ощущение теплого его тела, обнаженно соприкоснувшегося с моим, возоблагодало над всеми моими мыслями, вдохнуло в каждую частичку моей души чувствительнейшую радость, которую я личность свою отличала бесконечно более определенно, чем отличием половым, в дело вступило осознавшее самое себя сердце, мое сердце навечно отданное Чарльзу, которое никогда и ничем не участвовало в жертвах, время от времени приносившихся мною на алтарь естества, послушания или интереса. Но – ах! что-то произошло со мною, власть чистой неги надо мною росла, я же не могла не чувствовать, как жесткий жезл, гордым трофеем которого стала некогда моя непорочность, твердо и требовательно уперся мне в бедро, а я никак не могла развести ноги, охваченная приступом самой настоящей стыдливости, какую возродила к жизни страсть чересчур подлинная, чтобы сносить любые ухищрения и трудности или примерять на себе самой маску шутливой застенчивости.

Помнится, где-то прежде я уже говорила, что в том, как ты ощущаешь это любимое воплощение мужского начала, в самой природе его, есть что-то неподражаемо патетическое: ничто не способно прикосновением доставить большей радости, ничто не отзовется в тебе более восхитительным чувством. Ну, сами посудите! как судит любовь, доверяя именно ему донести до конца порыв наших быстрейших чувств, к тому же – в главное их обиталище! И вот после такого долгого лишения вновь

почувствовало оно, как воспламенилось по мановению царственного скипетра; власть самодержавная повелевает всеми подданными, но особо – если знаки ее принадлежат любимому, милому моему, единственному и не сравнимому ни с кем на свете. Сейчас, в окостеневшей своей жесткости, скипетр сей воспринимался мною силой такой покоряющей, такой требовательной, такой твердой и приятной, что я не могу найти слов, дабы описать это; уже одно то, что принадлежал он бесконечно любимому юноше, порождало во мне столь приятное возбуждение, столь сильно воздействовало на мою душу, что та все чувственные ощущения свои направила в мой нежный орган блаженства, созданный для того, чтобы принять их. Собравшись тут в крохотную точку, словно лучи в прожигательном стекле, они разгорелись, они запылали сильнейшим жаром; пружины сладострастия оказались закручены столь туго, что я задыхалась от упоительного стремления к неизбежному наслаждению, я изнемогала от желания и, казалось, была неспособна в тот момент думать о двух вещах сразу, ибо одна-единственная мысль, какую я могла держать в голове и какая сводила меня с ума, была о том, что вот наконец-то одухотворена я прикосновением орудия наслаждения, великим этим знаменем любви. Мысль эта вбирала в себя все потоки сознания, сливающиеся в такой океан завораживающего блаженства, что становилось страшно за слабенький сосуд, слишком узкий, чтобы вместить все, – и я лежала ошеломленная, в забытьи, потерянная в пучине ликования, ни жива ни мертва оттого, что порою зовется неумеренным восторгом.

Чарльзу удалось вызвать меня из этого восторженного умопомрачения мягкими укоризнами (затерянными в толпе поцелуев) за положение, не

очень-то благоприятное для его желаний: он с настойчивостью, не терпящей отлагательств, требовал впустить его, я же эту настойчивость принимала с таким упоительным наслаждением, что наслаждения куда более желанные заставляла страдать и прозябать в ожидании... пусть так, но... о-о! до чего же сладостно исправлять ошибку вроде этой! Ноги мои, уже послушные повелениям любви и естества, охотно раскрылись и угодливо освободили нежный проход к вратам утех – я видела, я чувствовала прелестный бархат скипетра!.. входившего в меня во всем величии мощи, со всем... о-о! перо мое выпадает из пальцев в иступлении чувств, пробуждаемых услужливой памятью! Способность выразить все на бумаге в словах тоже покидает меня: не в силах воспарить, отдает она все на волю воображения. Правда, тут должно быть воображение, взметнувшееся полыханием того же пламени, что и у меня, способное по достоинству оценить сладостнейшее, упоительнейшее из всех чувств, с каким я приняла и провожала жесткое это проникновение на всем пути его до самого конца. Тут должно быть воображение, способное передать любовный огонь от искрящихся им глаз в каждую жилочку тела, в каждую пору его существа с тем, чтобы, как и во мне, все и вся стало воплощением радости и счастья.

Стрела любви целиком вошла в меня: от острия наконечника до оперения, – попала туда, где нужды не было наносить новую рану, ибо губы, обрамлявшие первородную рану естества, первым свободным дыханием плоти обязаны были драгоценному этому орудию. Словно выражая признательность, они обхватили его плотным лобзанием, плоть обволокла тело стрелы ласковым жаром, стиснула в порыве

восторженного буйства – то бы самый сердечный прием, какой только существует в природе: казалось, каждая клеточка плоти плотно прижималась к вошедшему в нее снаряду, торопилась пробиться среди других поближе, чтобы обрести свою долю блаженного прикосновения.

Какое-то время мы позволили плоти в покое наслаждаться высочайшей негой интимнейшего воссоединения, оставаясь недвижимой, вкусить побольше удовольствия, пока нетерпение, свойственное утехам, вскоре не обратило нас к движению. Суматошные выпады с его стороны, им ответствующие подъемы – с моей, слились в общем ритме, и эта слитная спешка к единой цели наполняла нас счастьем слишком огромным, чтобы его можно было выразить в словах. Органы нашей речи, чувственно сомкнутые, превратились в органы осязания... и о-о! какого осязания! как же упоительно оно!.. как остра его сладость! как сочна, как ароматна она!.. И вот! нет, не плотью, а всею душою своею ощущала я! ощущала изумительно острый клинок, которым любовь, творящая этот акт, пронзала наслаждение... любовь! ее можно счесть аттической солью удовольствия, без нее похоть, сколь бы велика она ни была, все же вульгарна и в короле и в нищем, ибо, сомнений нет, лишь любовь единая способна отточить, облагородить и возвысить страсть.

Так, осчастливленная – и в душе своей и в чувствах своих осчастливленная, – я и помыслить не могла, представить себе была не в силах восторг больший, чем тот, благам какого я ныне предавалась.

Чарльз, все тело которого дрожало от исступленного возбуждения, а в глазах трепетал нежнейший огонек любви, всем видом своим убеждал

меня в слитном единении наших радостей; он так глубоко вошел в меня, так затронул за живое, так всецело овладел мною, одновременно, казалось, целиком отдавшись мне, что пылкое воображение рисовало мне картину взаимопроникновения сердец и душ, при каком они сливаются и образуют едино тело и душу едину: я была он, а он стал – мною.

Любое удовольствие, как и жизнь наша сама, с первых же мгновений устремляется к собственной кончине, живя слишком резво, чтобы не торопить наступления восхитительного мига успокоения, – и вот уже приближение ласковой агонии возвестили обычные ее глашатаи, за сигналами которых быстро последовало истечение любви самой, вырвавшееся и ударившее так, что я его воистину почувствовала! да так, что в иссушенных страстью тайниках сладостное и целительное щекотание отверзло все шлюзы и мое исступленное половодье, слившись с его, успокоило зудящий пыл похоти, и в то же время захлестнув нас упоением счастья. А вскоре половодье повторилось! Чарльз, верный законам естества, единым духом исторгнувший и извергнувший, недолго томился в истоме, снова собрался с духом и быстро дал мне почувствовать, что воистину ретивые пружины его орудия утех были (любовью и, возможно, долгим воздержанием) закручены слишком туго, чтобы расслабиться за один раз – напружиненная стойкость по-прежнему была у него в друзьях. С новыми силами предавшись движению (Чарльз не исторгал царственного скипетра и не ввергал меня в печаль расставания со сладостным моим повелителем), мы вновь исполнили с ним ту же оперу с такою же очаровательной гармонией и таким же прелестным созвучием: страсть и пыл наши,

как наша любовь, не ведали истощения. Новый порыв – и новая волна радости для любимого моего, щедрого своими запасами; струйки, словно молоко из вымени ударившие, снова захлестнули меня обилием, исторгнутым из его овальных резервуаров живительной влаги, в то же время, истекая сама, я конвульсивно, послушная его воле и его радости, усиливала хватку, вызывая еще большее истечение и еще большее наслаждение. Это было настолько пленительное ощущение, что я всеми-всеми силами нежнейшей плоти моей ухватила и иссушила сосок Любви – с тою же инстинктивной жадностью и устремленностью, с какою (хотя и в меньшей степени, если сравнивать с эдаким величием) благая природа приучает младенцев к груди, используя удовольствие, какое они, двигая своими маленькими ротиками и щечками, испытывают, всасывая в себя молочный ток, уготованный для их питания и насыщения.

Силе Чарльза, казалось, конца нет, двойное извержение не угасило его желаний, даже не остудило их, а в его возрасте как раз желания и придают силу. Он с удивительным пылом готов был ринуться навстречу третьему триумфу (орудие его лоно пленительной битвы все еще не покинуло), однако присущая любви подлинной нежность вдохновила меня – на грани самоотречения – поберечь милого от перенапряжения и умолить дать себе и мне пощаду. В конце концов на краткое время сражение затихло и оружие было опущено, но не раньше, чем Чарльз вдохновенно убедил меня в том, что на уговоры мои он сдается стоя.

Остаток ночи и добрый кусок, отнятый нами у дня, мы провели в неизбывном пиршестве страсти, отмечая им торжество нашей встречи. Поднялись мы довольно

поздно утром – веселые, оживленные и бодрые, хотя отдых был неведом нам: утехи любви были для нас тем же, чем становится радость победы для любой армии – и отдохновением, и вдохновением, и всем.

Поездка в деревню теперь, конечно, была отменена, еще до ночи отданы распоряжения повернуть лошадей мордами на Лондон, так что сразу после завтрака мы покинули постоянный двор, естественно, перед тем щедрою рукой раздала я всем на дворе знаки своей признательности за испытанное счастье, какое я там нашла.

Чарльз и я поехали в моей карете, капитан с компаньонкой устроились в коляске, специально для них нанятой, так что мы вдвоем могли сколько угодно предаваться удобствам пребывания *t #234;te- #226;-t #234;te.*

Здесь-то, в дороге, когда буйный разгул чувств удалось несколько унять, я вполне овладела собою и, собравшись духом, рассказала Чарльзу обо всем, что довелось мне испытать, что толкнула меня пережить разлука с ним. Сказать, будто он был шокирован услышанным, я не могу: хотя сожаления и нежное его сочувствие ко мне были глубоки, но все же, видимо, рассудил он, в каких обстоятельствах я тогда оказалась, а потому не мог быть вовсе не готов услышать то, что услышал.

Только вот когда поведала я ему о размерах моего состояния, когда я – с искренностью, которая (в моих отношениях к нему) всегда присуща натуре моей, – стала умолять его принять от меня все богатство – на каких угодно условиях – в полное свое распоряжение, он... Возможно, Мадам, я кажусь Вам очень необъективной к

предмету страсти моей, пытаюсь воздать должное его щепетильности, а потому довольствуюсь тем, что заверю Вас: после того, как Чарльз наотрез отказался от ни к чему его не обязывавшего и ничем не обусловленного дара, какой я долго и безуспешно убеждала его принять, в конце концов я согласилась навсегда отказаться от увещеваний, подчинившись суровой его воле, ибо, само собою, я признала верховную его власть, какую любовь наделила Чарльза надо мной. Как я могла не подчиниться требованиям властелина души моей, даже если в чем-то и видела их несправедливость? Разве я не понимала, что должна избавить его от самоунижения, от необходимости пятнать репутацию согласиём во имя богатства променять собственную честь на худую славу и плату за разврат, согласиём назвать женой проститутку, которая сочла бы за большую честь для себя стать всего-навсего наложницей.

Любовь преодолевает все и снимает все возражения. Чарльз, покоренный достоинством моих чувств, в искренности которых ему не составляло труда убедиться: ведь он так свободно читал в моем навек для него распахнутом сердце! – обязал меня принять его руку. Это означало, что мне предстоит среди бесчисленного множества других блаженств даровать законное имя и отцовство тем прелестным детям (Вы сами их видели, Мадам), которые появились у счастливейшей из пар.

Вот наконец благополучно и добралась я до уютной обители, где, окруженная добродетелью, пожинала лишь неиспорченные и сладкие плоды, где, оглядываясь на путь порока, каким я проскочила, и сравнивая его льстивые и гнусные слащавости с бесконечно более возвышенными и сладостными радостями целомудрия, я

не могу не сожалеть (даже с точки зрения вкуса) о тех, кто, погрязнув в неумеренной чувственности, пребывают в бесчувствии к нежным прелестям ДОБРОДЕТЕЛИ. Ближе друга, чем она, нет даже у НАСЛАЖДЕНИЯ, как нет врага большего у ПОРОКА. Умеренность делает людей владыками тех удовольствий, неумеренность в которых обращает их в рабов: первая – источник здоровья, бодрости, плодородия, веселия и всех прочих желанных благ в жизни; вторая же – болезней, умопомрачений, бесплодия, самоедства и отвращения к самому себе, всяческого зла, свойственного человеческой натуре.

Вы смеетесь, должно быть, над этим, как над хвостиком морали, пришиваемом мною к туше безнравственных описаний. Поверьте, раздумья эти исторгнуты из меня силою истины, вынесены мною из сопоставления, выстраданного собственной жизнью. Должно быть, морализаторство под конец сочтете Вы неуместным, несвойственным моей натуре; Вы даже расцените его как жалкое оправдание или мелочное замалчивание грехов тою, кто пытается скрыть собственную приверженность Пороку под покровом фаты, бесстыдно похищенной из святилища Добродетели, – точно так же, как если бы кто-то вознамерился совершенно изменить обличье свое на маскараде, не меняя в своем костюме ничего, разве что сменив башмаки на домашние туфли; или как если бы некий писатель, заранее ограждая себя от навешивания ярлыка изменника, завершил бы свое произведение верноподданнической скороговоркой молитвы во славу Короля. Положим, у меня основания для самоуспокоения есть, ибо я знаю, что Вы лучше и справедливее цените мою искренность и мои чувства, и все же позвольте мне представить Вам еще одно соображение, а именно: такие

вот сомнения-представления даже более оскорбительны для Добродетели, чем для меня. Что ж, получается, будто она – при всем чистосердечии и добродушии – не может иметь никакой иной основы, кроме фальшивых страхов: мол, утехи, ею даруемые, не устоят в сравнении с теми, какие доставляет Порок? Нет уж, пусть истина возьмет на себя смелость высоко вознести Добродетель, высветить ее самым соблазнительным светом – и в его просветляющем потоке любой разглядит, сколь поддельны, сколь изменны и безвкусны, сколь низки эти порочные радости в сравнении с теми, каким благославление свое дарует Добродетель. Чувства, ею пробуждаемые, не гнушаются тем, что служат приправой к ощущениям, но – приправой высочайшего вкуса; в то время как Пороки, словно нечистивые гарпии, загаживают и грязнят любой праздник, любое пиршество. Пути Порока порою устилались розами, но ненадолго, зато они извечно славились обилием терниев и обилием гусениц. Дороги же Добродетели выстланы чистыми розами, и розами вовек неувядающими. Отнесясь ко мне по справедливости, Вы поймете, что я совершенно неукоснительно и последовательно воскуряла фимиам пред лицом Добродетели. Если я и расцветила Порок всеми его самыми радужными красками, если я и увила его цветами, то для того только, чтобы выглядел он более привлекательной жертвой, какая торжественно приносится Добродетели.

Вы знакомы с мистером К***О***, знаете о его положении, его богатстве, его здравом смысле. Сможете ли Вы назвать, назовете ли дурными намерения (во всяком случае, его), когда беспокоясь о моральном воспитании сына, имея целью обратить его к добродетели и внушить юноше стойкое, осознанное

неприятие порока, он снизошел до того, что стал церемониймейстером сына и за руку провел того по всем примечательнейшим борделям столицы, где позаботился, чтобы сын познал и увидел всяческие сцены распутства, все оргии, способные вызвать тошноту у приличного вкуса? Опыт сей, пылко возразите Вы, опасен. Это правда, но – для дурака. А стоят ли дураки такого внимания и такой заботы? Скоро, надеюсь, я увижу Вас, а до той поры не держите зла и думайте обо мне с чистым сердцем. Верьте, что навсегда, МАДАМ, остаюсь Вашей и проч., и проч., и проч.

Остров, где древние греки воздвигли святилище Афродиты, богини любви и красоты. – Примеч. пер.